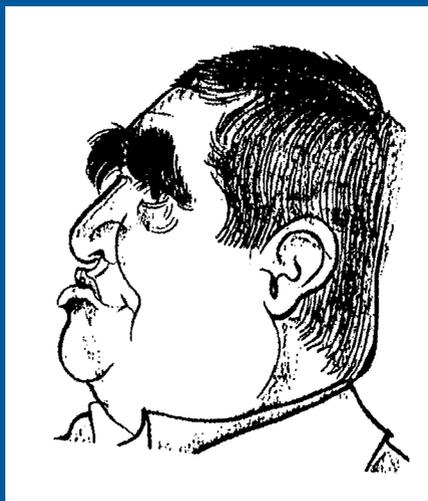


Алексей МАНЕВИЧ



ЯВКА
СТОВЯННОЙ,
или 88-С

Алексей Маневич

ЯВКА С ПОВИННОЙ, или 88-С

Алексей МАНЕВИЧ



ЯВКА
СТЮБИННОЙ,
или 88-С

УДК 616-036.882-08
ББК 53.77
М23

Маневич Алексей Зиновьевич

ЯВКА С ПОВИННОЙ, или 88-С / Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Москва, 2014 г. – 260 с.

Воспроизведение данного издания любым способом РАЗРЕШАЕТСЯ.

Автор за свою долгую жизнь встречался со многими выдающимися людьми разных профессий – хирургами, анестезиологами-реаниматологами, актёрами, балетмейстерами. Он был одним из первых врачей, создававших в нашей стране современную интенсивную терапию, реаниматологию и анестезиологию. Автор даёт своё определение термина «здоровье», своё понимание национальной идеи и утверждает необходимость продолжения усилий по оживлению, даже если поставлен диагноз «смерть мозга».

Оглавление

Пролог	7
Детство	9
Отрочество	30
Юность	42
Шёл матрос с фронта	64
И пусть будет Рязань	77
На Волге широкой	90
Возвращение на Итаку	101
Учитель	115
Стиль	123
Возвращение в детство	136
Первородство продано	161
Десять лет до	177
18 лет после	198
Моя, моя вина (вместо эпилога)	224
С ярмарки	226
Хотелось бы всех поимённо назвать	237
Прощание еврея	242
Post mortem	253
Приложения	255

Светлой памяти мамы

Пролог

*Я вернулся в Париж через 25 лет.
То, что было, то сплыло, и прошлого нет.*

Я прощался с Парижем. Устал безумно. Через каждые сто метров искал место, чтобы присесть. Но упорно шёл, показывая Париж сыну. Я обещал ему это четверть века назад, когда в 75-м году прошлого века побывал в Париже. Сын уезжал на русское кладбище, в Версаль, на какое-нибудь шоу. Я оставался один в тёмном номере нашей малозвёздочной гостиницы, почти в самом центре Пигаль. За окном громко торговались чернокожие обитатели Парижа. И под этот аккомпанемент я начал прокручивать прожитую жизнь. Сначала последние четверть века. Потом погружался всё глубже. До самого детства.

Почему я начинаю с конца? Даже не с вершины, а с крутого спуска. «С ярмарки», как сказал Шолом-Алейхем. Наверное, потому, что теперь мне не нужно что-либо скрывать. На худой конец, ежели кого обижу, не придут на могилу. Впрочем, на могилу всё равно, рано или поздно, перестанут ходить. Заброшенным и стёртым могилам на земле нет числа. Я очень удивил служителя, когда пришёл положить цветы на могилу Мопассана. За долгие годы, сказал он, эту могилу никто не посещал. Только нерукотворные памятники вечны. Или, по крайней мере, долгоживущи.

Но мне не удалось создать такого. Мои монографии уже и сегодня никому не нужны. Другие юноши поют, то, бишь, читают другие руководства. Да что там мои опусы! Несколько лет назад один мой знакомый, замечательный хирург, оперировал по моей просьбе больную. Операция прошла великолепно. Мне очень хотелось отблагодарить его. Но ни денег, ни даже коньяку он бы с меня не взял – я многократно консультировал его друзей и родных – поэтому решил подарить ему одну из драгоценных для меня книг. Это были «Этюды желудочной хирургии» великого русского хирурга Сергея Сергеевича Юдина. Сказав ему, что книгу Юдина привезёт его пациентка, услышал: «Да, я с Игорем работал!». Действительно, был такой хирург, хороший хирург, хотя и не такой

необыкновенный, как его дядя – Сергей Сергеевич. Но в ответ на моё «Нет, это Сергея Сергеевича!» – услышал: «А это кто?».

Так что же, эти «мемуары» – попытка сохраниться после смерти? Нет, это попытка осмыслить жизнь. Подвести мой предсмертный баланс. Почему же это началось в Париже? Да потому, что это единственная осуществлённая мечта. Мечта каждого русского (с...ь я хотел на всех этих микророзенбергов, причисляющих к русским только подонков типа рогозиновых, шафаревичевых, шевцовых!). В мечте «увидеть Париж и умереть» всё смешалось: Версаль и Бастилия, королева Марго и Эдит Пиаф, д'Артаньян и Сен-Жюст, Париж Маяковского и Париж Эренбурга («Боковой видеоискатель»), Гаврош и Гобсек, Жорж Дюруа и Стена коммунаров, Лувр и собор Парижской Богоматери. Перечислять можно до бесконечности.

Все остальные мечты не сбылись. Жизнь или я сам не позволили, цитируя Михаила Светлова, «...увидеть хоть издали Северный полюс». Я не стал философом. Даже тогда, когда появилось время и возможность заняться философией. Подписавшись на журнал «Вопросы философии» со всеми приложениями – сочинениями русских философов, я смог осилить только один том Флоренского. Хорошо, что эти тома, кажется,годились моей внучке, пытающейся заняться модной профессией – социологией. Я не стал Белинским или Лотманом. Не стал, к счастью, даже Ермиловым. Я не только не стал Николаем Ивановичем Пироговым, или Сергеем Сергеевичем Юдиным, или настоящим хирургом, как Борис Алексеевич Королёв или как мои двоюродный брат Виктор Львович Маневич, но я попросту продал право первородства за «чечевичную похлебку» – бросив хирургию ради карьеры анестезиолога. Более 40 лет я отдал специальности, которую не любил, а в последние годы работы в клинической медицине – и не уважал.

Я изменял всем и всему. Мечте – полярник, литератор, хирург – став анестезиологом, а потом и вовсе невропатологом. Образу идеальной женщины – Гончарова (Пушкина), Ладынина, Одри Хепбёрн. Вере – безбожник, православный христианин, христианин-экуменист (но атеист). Впрочем, хожу я в любые храмы – в костёл и православную церковь, в синагогу и в мечеть. Не был в пагоде, но просто потому, что не встретила в моих путешествиях по миру. Кредо – пионер (почти как Павлик Морозов), комсомолец, член ВКП(б), КПСС (к чести своей – не КПРФ), антикоммунист. Никогда я не изменил лишь двум вещам: России и чёрному хлебу.

Я хочу добраться «...до самой сути / До сущности прошедших дней, / До их причины. / До оснований, до корней. / До сердцевины». Что помешало? Отсутствие таланта или лень? Обстоятельства или желание *Dolce far niente*? В общем, я ищу ответ на вечный вопрос о том, что ожидает меня у врат Петра.

Детство



День моего рождения точно не установлен. Мама говорила, что родился я в городе Николаеве в ночь с 25-го на 26 октября 1926 года. Сколько я себя помню, день моего рождения отмечали 25-го. Но... в 1952 году, памятном делом «врачей – убийц в белых халатах», не помню по какой причине, нужно было менять паспорт. Ни мой старый паспорт, ни воинский (я уже отвоювал в Великую Отечественную и Японскую войны), ни партийный билет не удовлетворили наши недрёманные органы. Запросили метрику в Николаеве. Зачат я был в Москве, но рожать моя мама поехала на родину, к маме. Несколько лет мой родной город был оккупирован. Сожгли, разбомбили, взорвали и разграбили в нём немало зданий. Но архив загса уцелел. В метрике мой день рождения был обозначен 24 октября. Правда, того же 26-го года.

Так что теперь день моего рождения отмечается два дня. Старые, пока ещё живые, друзья приходят 25-го, доедая и допивая остатки от 24-го, когда приходили мои бывшие ученики и коллеги. Благодаря им, 25-го и выпивки, и закуски значительно больше, чем я выставлял на стол 24-го. Слава Богу, все мои ученики не живут за чертой бедности. Олигархов, правда, среди них нет (а жаль, ибо для меня так называемые олигархи – просто по-настоящему талантливые люди), но все они могут себе позволить принести в дар пару бутылок хорошего коньяка, коего я не пью, текилы, фирменного шампанского и т.д. Потом всё это раздаётся, так как мои старые друзья, как и я, пьют только водку. Впрочем, пьют, как евреи-алкоголики: четвертинка на троих, 100 граммов дворнику и ещё остаётся опохмелиться.

Пробуждение сознания

Месяца через два-три маме нужно было вернуться на работу – меня перевезли в Москву. Говорят, что жили мы тогда в Замоскворечье, в деревянном домике на Большой Татарской улице, на том самом месте, где теперь стоит дом, в квартире коего я прописан, или, как теперь говорят, зарегистрирован. С 1985 года.

А случилось это так. После долгих скитаний по Москве (об этом ниже) я был прописан в доме на окраине Москвы. В одну из суббот в Институт нейрохирургии, в котором я тогда заведовал одним из отделов, поступил ребёнок по поводу черепно-мозговой травмы. Оперировать его было не нужно. Дежурные анестезиологи-реаниматологи быстро улучшили его состояние, и – мест в реанимации всегда не хватало – ребёнка перевели в отделение нейротравмы. Через несколько часов состояние ребёнка ухудшилось. Его опять перевели в нейрореанимацию. К утру понедельника ребёнок мог быть снова переведен в специализированное отделение. Как сообщили мне дежурные врачи, родители ребёнка всё воскресенье пытались найти заведующего, то есть меня. Дежурные стояли насмерть, заявляя, что «Зинович» живёт далеко, устаёт за неделю, и дайте ему отдохнуть».

Родители ребёнка поймали меня в 07:55. Это было ежедневное точное (почти Кант!) время моего прибытия (в 08:15 начинался обход отделения) у входа в институт, умоляя оставить ребёнка в реанимации. Оставили. Выходили. Выписали домой. Недели через две в те же 07:55 меня встретили родители. На их вопрос: «Почему я живу так далеко от института?» – ответил: «Съесть-то он съест, но кто ему даст?». Через день мне позвонили из Моссовета и предложили вместо моей квартиры на окраине – квартиру на выбор в одном из реконструированных домов в центре Москвы. И я выбрал родное место. Вот так, благодаря моим сотрудникам, я вернулся туда, где был зачат. Кто читал Новый завет, помнит, что Иисус был зачат в Назарете, но родился в Вифлееме. Так что, хотя я совсем не Иисус, но для себя – коренной москвич, а моя малая родина – купеческое Замоскворечье. Хотя если депортируют, то на Украину.

Я помню себя месяцев с 9-10. Говорят, что «этого быть не может потому, что этого не может быть никогда». И всё же я отчётливо помню тот день, когда мне надели красные пинетки, и я ПОШЁЛ! Ильей Муромцем я не был. Так что это было далеко не в 33 года. Заго было ковыряние оштукатуренных стен. Вероятно, во мне уже зарождался будущий врач. Так я лечил свой остеопороз, о коем в те годы и слыхом не слыхивали. Да и теперь некоторые «профессоры» отвергают сие заболевание. Увы, оно есть. И не только у женщин в постменопаузе. И у детей, и у подростков. Жаль только, что исследование – лучше всего мочи – стоит дорого.

За дырявливание стен меня и ругали, и забинтовывали пальцы, подавляя мой инстинкт. Но моя генетическая память оказалась сильнее. Инстинкт животного – а судя по моей теперешней комплекции, я произошёл от бегемота (после болезни жены похудел на 20 кг), хотя лет до сорока все полагали, что от изголодавшейся обезьяны, – хранил и храню как самый драгоценный дар.

Судите: дожил до 80 лет (уже – 2014 год – до 87!). Переболел всеми детскими болячками, десятки лет мучился от туберкулёза, схваченного в 43-м в болотах под Питером; гипертония, сахарный диабет, ожирение и... импотенция (в старости!). Но бодрость духа и аппетит – отменные. Утро начинается



*Родители. «Только песне нужна красота, красоте же и песни не надо».
Природа отдохнула на сыночке*

с песни («Он пел по утрам в клозете») и двух-трёх бутербродов с салом, ветчиной и сыром на хлеб, намазанный сливочным маслом. Обед не менее калорийный, как и ужин.

Но! Одно «но»! Выбор основан сугубо на инстинкте: нравится – не нравится, хочется – не хочется. Позвоночник сломан ещё в 44-м, но, бывает, продельваю путь, о котором никто из моих самых молодых учеников и помыслить не может. Главное – получить задание: пойти туда, не знаю куда, купить то, не знаю что. В сумме – километров 10 – туда и обратно. Обратно с высокой сумкой, в которой умещается купленное весом также килограммов 10, а то и поболее. Правда, сумка на колёсиках. Фирменные колёсики под тяжестью сломались почти сразу по приезде в Москву – сумка была приобретена за рубежом, – но наши «левши» поставили новые колёсики, маааленькие! Но идти далеко и с грузом могу, только если задание реальное! Не физкультура, не тренажёры. А так, всегда следовал принципу Черчилля: «Никогда не ходить, если можно стоять, никогда не стоять, если можно сидеть, и никогда не сидеть, если можно лежать».

Слава инстинкту и... провидению. Оно, как бы Оно ни называлось, – Бог, Б-г, гены, – но это есть. Кончик, самый кончик пальца Его всегда спасал меня. У Киплинга в «Боливаре» есть такие строки: «Мы верили: держит палец на нашем штурвале Бог!».



В 1994 г. у Стены плача в Иерусалиме я попросил по-русски простить моим родителям этот грех

Но сперва у меня было два бога – красавица мама и бабушка Дуняша. Маму видел редко. Она была машинисткой. Работала с утра до ночи. Приходила, когда я уже спал. Но её поцелуи всё равно помню. А бабушка Дуняша была со мной всегда. Она пахла ржаной лепешкой. Иногда она уезжала к себе в деревню и обязательно привозила ржаную лепёшку. Их и теперь продают в хлебных киосках. Но они не пахнут. Совсем не пахнут. А запах тех лепёшек – как утраченное счастье детства. А ещё бабушка Дуняша пела. Что-то вроде: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. А то с края упадёшь, себе носик разобьёшь». Потом я это пел и своим детям, и внукам. А вот мамину колыбельную «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни...» я принял лишь года в четыре. Но зато, наверное, с этой песни началась моя любовь к Моцарту.

До сих пор не могу понять, как моя мама, родившаяся в местечковой еврейской семье, пела мне только русские романсы, русские песни, рассказывала русские сказки. Но она обделила меня, не научив еврейскому языку, еврейским обычаям.

Удивительнее всего то, что её родители, моя бабушка Сарра и мой дедушка Гриша, были абсолютно правоверными, соблюдающими все законы еврейской веры. Но... в их арендованном жилье в Николаеве в сенях был столик, в тумбочке которого хранилось сало, ножи и вилки, и всё необходимое для русских и украинских друзей их детей – тёти Ели, дяди Миши, моей мамы Гени и тёти Блюмы.

Да и назвали меня Лёшей в честь папиного друга в Гражданскую войну, который потом стал лётчиком и бесследно исчез в 37-м. Мне даже не сделали обрезание. Не думаю, что мои родители были столь дальновидны, что и 26-м году могли предположить расцвет в стране через 20 лет государственного антисемитизма. Поэтому, вероятно, не нашлось, как и у балерины Истоминой, микроскопа. Ах, как я люблю пушкинские эпиграммы! Почти как «Евгения Онегина» и «На холмах Грузии...». Бедный Александр Сергеевич, как ему было бы трудно жить с этими думскими фарисеями – райковыми и «киже» с ними.

Впрочем, необрезанность мне не помогла. В 56-59-м годах я был аспирантом великого учёного, создателя современной анестезиологии в нашей стране Исаака Соломоновича Жорова. О нём я расскажу потом. А сейчас – об обрезании. Мой учитель страстно мечтал отправить меня учиться за рубеж. Тогда в Копенгагене открылись Высшие курсы анестезиологов. А так как Жоров, несмотря на его 5-пунктный недостаток, вынужденно признавался лидером в этой гонимой области медицины, то его рекомендация дорогого стоила. Рекомендовал он меня. Но... вмешалась моя «интеллигентность». Диссертацию я частично делал в одной из детских больниц. Видит Бог, на меня обычно женщины не западали. Но так как в детских больницах мужского контингента явно не доставало, то «на безрыбье и рак – рыба». Женщины-хирурги меня всячески опекали. Не только проявляли плёнки записанных мною у детей кардиограмм – да-да! – тогда были такие электрокардиографы! – но давали мне поспать на дежурствах и повышали мой культурный уровень походами в кино. Увы, я забыл, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Закончив заданный мне шефом цикл исследований, я вернулся к взрослым больным и забыл милых хирургинь. К несчастью, у одной из них брат оказался чинном в соответствующих органах. И меня «зарубили», о чём через несколько лет поведали её доброжелательные коллеги. Вместо меня поехала будущая заведующая кафедрой анестезиологии ЦИУ (я был оппонентом на защите ею докторской диссертации). Переживал не я, а учитель. Он, как говорят на Востоке, «потерял лицо». И вновь и вновь пытался отправить меня за рубеж. То в Англию, то снова в Копенгаген. Однажды он вызвал меня и сказал, что мне нужно оформляться в США. Для чего отвезти в Минздрав 3 анкеты, 3 листка по учёту кадров, 6 фотографий. Я заявил, что никуда не поеду, так как в Минздраве есть 18 моих фото, 9 анкет, 9 листков по учёту кадров.

Как Архимед, сделавший открытие, шеф воскликнул: «Да, я совсем забыл, вам же путь за границу обрезали при рождении!» Потупив глаза, я заявил, что мне ничего не обрезали. Очки шефа взлетели на лоб. Он перегнулся через стол. Указательным пальцем дотронулся до ширинки моих штанов и вскричал: «Это вы им, идите, покажите!».

За границу я всё же попал в 1964 году. Но это уже другая история.

Пробуждение любви

Лет до 11-12 сексуальные проблемы меня не волновали. Хотя влюбляться я начал с трёх лет. В детском саду. Её, как и мою последнюю жену, звали Люся. Хотите – верьте, хотите – нет, но через много-много лет, уже после войны, я случайно встретил мою первую любовь и узнал её. Узнаванием, в отличие от других талантов, природа наградила меня. В начале 60-х годов на нашей кафедре оказался очень добрый аспирант, обладавший главным достоинством: он бы женат на племяннице очень номенклатурного человека. Да и отец его был хозяином одной из южных областей. По субботам туда летал самолёт. На нём и мы иногда летали «на халяву». Однажды мы были там, в гостях у матери тогда второго человека в стране. Добрейшая старушка, превосходно готовившая и от души угощавшая дарами юга, помимо этого угощала нас альбомом с фотографиями своего великого сына и его родных. Ни большой человек, ни его родные меня не заинтересовали. Кроме одной очаровательной женщины. Разумеется, имя её я узнал. Она также оказалась племянницей, живущей в это время за рубежом с мужем-торгпредом. Мы улетели в Москву. Но спустя пару лет в операционную одной из клиник, где мы подрабатывали анестезиологами, вошла группа курсантов. Разумеется, в шапочках и в масках. Видны были только глаза. И я узнал эту прелестную знакомку, назвал её по имени, чем несказанно удивил и..., как писал Маяковский: «я скромный, и я пасую».

Узнавание по одной характерной детальке – обязательное свойство врача. Хорошего врача. А я был врачом хорошим. Поэтому терпел насмешки сотрудников, когда нюхал больных или лез пальцем в прямую кишку пострадавшего с черепно-мозговой травмой. Этому меня научила жизнь. В начале моей хирургической ипостаси у меня погиб больной с такой травмой от кишечной непроходимости. Диагноз запоздал. Томографов тогда не было, а «симптом Обуховской больницы» я не проверил. А на боли пострадавшие с черепно-мозговой травмой не жалуются! Так что у всех больных без сознания я ищю не только классические неврологические симптомы, но и симптомы поражения нашего грешного тела. Правда, перед манипуляцией исследования прямой кишки надеваю перчатки. А вот замечательный хирург Рыжих – лучший специалист в те далекие годы по болезням прямой кишки – перчаток не надевал. Как-то генерал-полковник, главный хирург Советской армии А.А. Вишневский спросил его: «Неужто не брезгуешь?». На что Рыжих ответил: «А что мне ею брезговать? Она же меня кормит».

Вобщем, брезговать в своей выбранной специальности – лучше этой специальностью не заниматься. Я бы не смог быть судебным медиком. Не смог бы быть политиком. Не представляю себе общения с зюгановыми, явлинскими, жириновскими. Но, оперируя однажды непроходимость кишечника, обнаружил,

что её вызвал большущий клубок глистов. Надо было или резецировать около полуметра кишечника, или удалить сей мерзкий клубок через разрез. Выбрал последнее. Хотя ещё пару дней есть не мог, толькопил всяческие жидкости.

Свою первую любовь я вскоре потерял. Нас с отцом свалила скарлатина. Я попал в Морозовскую больницу – теперь детская клиническая больница №1 Москвы. Долгие годы она была для меня если не единственной, то главной детской больницей. Году в 60-м у сына заболел живот. Было похоже на аппендицит. Я уже был кандидатом наук, знаком с лучшим детским хирургом Станиславом Долецким, поэтому позвонил ему. Он сказал: «Вези срочно! Жду». Был уже вечер. Я повёз. Разумеется, в Морозовскую больницу. Где ещё мог работать лучший детский хирург? Сына приняли, отвезли в хирургию. Но, к моему удивлению, Долецкий не появился. Выпросив в приёмной разрешение, звоню Станиславу. На его вопрос: «Где же твой сын?» – отвечаю, что он уже в отделении. Но Долецкий, ждавший в приёмном покое Русаковской больницы, на базе которой была его кафедра детской хирургии, утверждал, что никто в его приёмный покой не поступал. Недоразумение скоро выяснилось. Сына удалось перевести в Русаковку. Аппендицита не оказалось. Но...

Мифы живучи. Противоречия пословице: добрая слава лежит, а худая бежит. Увы, и мифы о добром царе, о счастливой прошлой жизни, о том, что раньше и снег был белее, и трава зеленее, и водка, как и дружба, – крепче, только мифы. Вред такого мифа заставил меня порвать пуповину, связывавшую меня с институтом, коему я отдал 16 лет, пожалуй, самых творческих лет моей жизни.

Но об этом уже потом. А пока о первой утраченной любви. Бог наградил меня знанием, кое не умножило, а уменьшило скорбь. Лежал я в боксе, ограждённом стеклянными стенками. В соседнем боксе лежал мальчик, у которого были книжки с картинками. И, главное, с большими буквами. Сосед показывал через стекло страницы, и я научился читать. Было мне тогда три с небольшим годика. А это умение читать превратилось в любовь. Сменялись мои любви к женщинам и профессиям, городам и весям. Но любовь к книге, особенно новой, пахнувшей клеєм, с чуть-чуть слипшимися страничками, открывавшими неведомое, способствовавшими «обливанью слезами над вымыслом» или заставлявшими хохотать до увлажнения, пардон, штанов, – осталась навсегда. Долгие годы лучшим подарком мне были книги. Да и сейчас, когда изредка попадаю в большой книжный магазин, готов был бы купить все книги. Тем более те, иметь которые я и помыслить не мог: тома Цветаевой и Ахматовой, Пастернака и Платонова, Ходасевича и Набокова. Не покупаю. Ставить некуда. Много макулатуры и просто ненужных книг, купленных по огромному благу в годы дефицита. Покупали всё, что удавалось достать.

В мир входящий

Из больницы меня отвезли к бабушке в Николаев. Тогда добираться из Москвы нужно было долго, с пересадкой в Харькове. Самым ярким, оставшимся на всю жизнь впечатлением были продававшиеся на остановках палки, обвитые вишнями. Всю довоенную жизнь я мечтал об этих вишнях. Они были самые сладкие, самые красивые, самые вкусные,

У бабушки при доме, в котором они много лет снимали комнаты, был садик. Вишен в нём не было. Зато были абрикосы. Они не были такими красивыми и вкусными, как вишни. Зато у них были косточки. Если эти косточки долго тереть о шершавый камень, то в косточке появлялась дырочка, через которую можно было по кусочкам вынуть мякоть ореха, а потом свистеть в эту дырочку. Страсть к «выковыриванию» сохранилась на всю жизнь. Вот почему мне хотелось и хочется до сих пор добраться «...до оснований, до корней, до сердцевины». И я выковыривал не только сердцевинку абрикосовых косточек, но и камешки из асфальта у дома. Асфальт был тёплым, мягким, а камешки разноцветные. Даже лучше, чем те, которые привозили родители из Крыма.

Но самым большим счастьем была подаренная мне большая книга в твёрдом синем переплёте. Называлась она «Красные дьяволята». Поразило меня самое начало. В нём герои мечтали о том, чтобы кому-то – имя было густо зачёркнуто – принести голову Махно. О! Махно я знал хорошо. Это была семейная легенда. Мой дедушка, как и его средний сын Миша, были невероятно сильными. Дед до революции и во время нэпа торговал сеном. Говорили, что дед мог одной рукой забросить на полати мешок муки, едва ли не пятипудовый. В Гражданскую войну, когда Николаев заняли махновцы, какой-то бандит, наставив на деда два нагана, чего-то грозно требовал. Дед вывернул ему обе руки и вышвырнул налётчика. Но при этом выстрелил один из наганов, пробив деду щеку. На всю жизнь образовался слюнной свищ. Поэтому дед всегда носил чёрную повязку, закрывавшую отверстие в щеке, через которое во время еды выступали кусочки пищи.

Повязка делала деда похожим на пирата. Но пиратом он не был. Был добродушен, оптимистичен и жизнелюбив. Командовала в доме бабушка Сарра. И дед, и бабушка были правоверными иудеями, соблюдая законы этой веры. Соблюдался и закон «не есть мяса ягнёнка в молоке его матери» – кажется, так? После обеда закрывали ставни, и наступал «серебряный», как говорил князь Болконский, отдых. Комната погружалась в тишину и пастернаковский кафедральный мрак. Только бой часов прерывал тишину каждые полчаса. Не знаю, через какой промежуток времени правоверный иудей, евший мясо, может пить молоко. Кажется, через 12 часов? Но уже после первого получасного боя дед кричал: «Сарра, сколько уже прошло?». Бабушка не ложилась отдыхать. Мыла на кухне посуду, что-то стряпала к ужину и отвечала: «Полчаса». Дед замолкал, но, не дожидаясь следующего получасового боя часов, вновь вопро-

шал: «Сарра, сколько прошло времени?» Ещё через полчаса бабушка сдавалась: «Пей уже, пей своё молоко!».

Верю, что Бог – какой бы веры он ни был – простит моим бабушке и дедушке этот обман. Они были святые люди. Вырастившие прекрасных красивых детей. Прощавшие им безверие. Их другую, непохожую жизнь, в которой нужно было то вписывать в календарь кого-то, то вычеркивать отовсюду. В «Красных дьяволятах» вычеркнут был Троцкий. В Гражданскую войну он был главным военачальником, и в Николаеве его особенно чтили (евреи) как уроженца этой черты оседлости. Но в город Троцк переименовали не Николаев, а, кажется, Гагчину. Потом не только это имя было вычеркнуто из книг, но и уничтожены сами книги. Несколько лет спустя, ещё до школы, значит, году в 32-33-м, дед вытащил из погреба томики собрания сочинений Льва Троцкого в жёлтых картонных переплётках, сжёг их на моих глазах. Так что книжные костры и костерки в нашей стране были до кострищ нацистов в Германии. И не «квартирный вопрос» заставлял и очень хороших людей совершать это. Страх. Более страшный для моего деда, чем страх погромов и махновских банд. Это был страх за судьбу детей, давно уже покинувших родной дом, но никогда не перерезавших пуповину, связывающую их. Сколько я себя помню, все дети из своих скудных заработков помогали бабушке и дедушке. А потом, перед войной, перевезли их в Москву. Увы, дед не вынес перемены климата и вскоре умер. Бабушка дожила до зимы 41-го и умерла во сне, в эвакуации.

Но пока, до школы, я летом обычно жил у бабушки. Меня откармливали фруктами, куриным бульоном, мал мала меньшеими желтками будущих яиц, вытасценными из куриного яйцевода, блинчиками с «шоколадом» (по-особому пережаренной мукой), а в праздники, в день приезда кого-нибудь из их детей – фаршированной гусиной шейкой. Моя супруга умеет готовить все еврейские блюда. Кроме этой шейки. Мой папа говорил, что, когда разбогатеет, то купит себе 100 граммов конфет. Я же, когда разбогатею, пойду в еврейский ресторан и съем такую шейку. Только бы не разочароваться! Впрочем, разбогатеть мне не грозит. Вот одни из моих последних виршей:

Ответ ученику, сделавшему карьеру

Кровать, два стула; щей горшок...

Александр Пушкин

Аз был еврей. Но русским дворянином жил:

Влюблялся. Воевал. Корыстью не грешил.

Иерусалим, 1995 г. – Москва, 2003 г.

Не упрекай меня без нужды,

Что не скопил я ни гроша.

Я рос в семье, которой чужды

Блага тугого кошелька.

Но было: книги и доклады,
Я с кем-то вечно воевал,
Стремился получать награды,
Карабкался на пьедестал.

Всей этой мишуры не надо,
И жизни я подвёл итог:
Достойна лишь одна награда –
Свобода, честь и шей горшок.

Разумеется, и карьера моего ученика, и моё бескорыстие преувеличены. Живу я вовсе не в хижине, а в прекрасной (по моим представлениям) двухкомнатной квартире. Питаемся мы с женой отменно. Этот мой ученик каждый раз, навещая нас, восклицает: «Неужто вы всегда так питаетесь?». Всегда. Последние 13 лет. После реформ Гайдара. Правда, за все эти годы ни разу не смог купить мой самый любимый деликатес – куропатку. Видел. Не рискнул истратить сумму, равную примерно полупенсии моей жены.

Нет, я не жаден. Просто и уже очень давно, прочитав «Лезвие бритвы», уверовал и стал адептом принципа Оккама: «Не умножать число множеств». Даже книг. Даже пластинок, а теперь – дисков. Многое теперь у нас не самое-самое. Но вполне достаточное для наших нужд. Хотя я понимаю тех моих друзей, которые вынуждены тратиться на очень дорогие автомобили, мобильные телефоны, одежду. Это их мир. Краешком и мы соприкасаемся с этим миром. Миром не «потребления», как его прозвали философы «слева», а миром «производителей». Все эти чудеса техники, полиграфии, медицины сделаны нами – человеками. Правда, я не знаю в этом сегодняшнем мире Толстого и Блока, Ахматову и Цветаеву. Но ведь они рождаются очень редко. Уверен, что они уже родились. В этом более удобном для жизни, простой жизни, мире. Вообще, великие писатели и поэты могут родиться только в добрых обеспеченных семьях. Детство должно быть счастливым. Как у Цветаевой и Блока, Толстого и Пастернака. Исключения только подтверждают правила.

Среда обитания

Осенью меня увезли в Москву. Но не в Замоскворечье, в нашу комнату с любимой бабушкой Дуняшей, а в какой-то огромный дом с широким подъездом в центре и лестницей вокруг квадратной пустоты. Был вечер. Мама, задыхаясь, несла меня на руках, останавливаясь на каждой площадке. Отец, чертыхаясь, нёс вещи. Вещей было много. Приходилось вновь спускаться за очередным чемоданом и тючком. Думаю, что подъём на 5-й этаж занял не менее часа. Я уснул на руках мамы. И проснулся среди ночи уже в кроватке от каких-то уку-

сов. Закричал. Зажгли свет. Вся моя кровать была усыпана красными жучками. Это были клопы. Квартира и дом кишмя кишели ими. Сколько я себя помню, до войны и после войны шла «столетняя война» с этой мерзостью.

Довлатов пишет, что главная мерзость в США – тараканы. Мол, гадостей в его родном городе было много, но тараканов не было. В нашем доме на огромной кухне тараканов и жёлтых, и чёрных, было очень много. Но по сравнению с клопами! Вероятно, с этих пор клоп – воплощение всего самого мерзкого. Любимая моя пьеса – «Клоп». Моя мечта – посадить гигановых, рыгозиных, ускоглазевых в зоопарк, придуманный Маяковским. Увы, это так же несбыточно, как две мои последние мечты. В честь моего 75-летия в институте, из которого я ушёл 15 лет назад, устроили научную конференцию. Я сказал, что на неё не пойду. О причинах – ниже. Но накануне её на мой первичный день рождения пришли не только мои ученики и бывшие сотрудники, но и директор института. Отметили три четверти моего века отменно. Уходя, Александр Николаевич спросил: «Может быть, Вы всё-таки придёте?». На что я ответил: «Если сможете выполнить два условия: приказать Путину отменить гимн на музыку Александрова и слова Михалкова и уговорить Джулию Робертс уделить мне одну ночь».

Вот такие у меня на старости лет несбыточные мечты. Впрочем, есть ещё одна – экскурсия на Северный полюс. Но даже ради этого я не готов посвятить остаток дней своих обогащению.

И всё же в моём детстве была эта прекрасная комната, прекрасная квартира, прекрасный дом, прекрасный переулок. Дом находился между Новинским бульваром (Проточным переулком) и Арбатом. Поэтому в нашем житье-бытье дружно сочетались интеллектуально-демократический Арбат и хулиганствующая «Смоляга». Но вначале о нашей комнате. Потом – о квартире. А уж потом – об улице.

Комната

Это была самая большая комната в квартире – 32 квадратных метра. Два окна, а посередине балкон. Комнату разделили перегородкой из больших листов фанеры. На большую, с балконом – гостиную, и длинную узкую – спальню. Окрасили перегородку зелёной краской. Другой, наверное, не было. Такой цвет я видел потом только в городских туалетах. Но, к счастью, вскоре стены оклеили обоями. Так что туалетная зелень не окончательно испортила мой эстетический вкус. Зеркальный славянский шкаф (гордость родителей), привезенный отцом из командировки в Архангельск, делил спальню на две полукomнаты: мою (у окна), и на родительскую с ложем – традиционным полосатым матрацем на коротеньких ножках, под которое прятали судно. В коммунальной квартире туалет далеко не всегда доступен, а я часто болел и не мог садиться даже на горшок!

Моя часть была только моей. Мне разрешалось всё, кроме «не убирать кровать». Убирать её категорически запрещалось и нянюшкам, и гостившим у нас родственникам. Зато стены были разрисованы мною всеми дарёными мне карандашами и акварельными красками и обклеены портретами вождей, вырезанными из газет. Периодически родители почему-то срывали портреты. Очень было жалко портрета какого-то Чубаря. Кто он, я не знал, но фамилия напоминала игру в чурки. На места сорванных вождей наклеивались новые вожди. В те годы это происходило достаточно часто, так что неопределённость жизни рано вошла в мой детский мозг.

Но напротив кровати у перегородки стоял ломберный столик. Точнее, его половина. Над ним висела фотография Ленина, читавшего «Правду». А на столике в деревянной рамке раскуривал трубку усатый бандит. Тогда, да и долгие годы потом – великий вождь и учитель. Из песни слова не выкинешь.

Зато у меня была этажерка с моими, только моими, книгами. Моя первая библиотека. Наверное, я бы мог и сейчас назвать все эти книги. И сказки Пушкина – тоненькие книжки в гладких потёртых обложках. И «Крокодил» какого-то загадочного овоща – Корнея. И «Загадки магнита» о Фарадее. И «Школа» Гайдара, и «Робинзон Крузо», и «Гулливер». Потом мне подарили очень толстый том Пушкина. Очень тяжёлый. В обложке цвета бутылочного стекла. Я сразу выучил наизусть «Песнь о вещем Олеге». Её я и читал на 1-м туре в училище МХАТа. Очень боялся я толстого тома «Мифы Древней Греции». Особенно рисунка, на котором Язон воюет с выросшими из-под земли воинами. Боялся, но, преодолевая страх, читал и перечитывал. Наверное, поэтому я легко вошёл в мир греческого эпоса и греческой трагедии, когда стал экстерном учиться на факультете русского языка и литературы.

Самой любимой книгой, когда я стал старше, была «Жизнь и приключения Роальда Амундсена». Я даже попытался лет десяти дойти пешком до Северного полюса, но дошёл только до Лоси, где прошедшим летом жили на даче. Сын хозяев категорически отказался от сего путешествия. А пока я уговаривал сверстника на роль Пятницы, добросердечные его родители сумели дозвониться до моей мамы (слава Богу, не до отца), и в ближайшем Подмосковье «мой закончился поход». Но мечта о льдах и торосах, белых медведях и унтах, пеммикане и морзянке осталась. Ах, как я хотел быть достойным Амундсена и Нансена, Седова и Пирри. Быть закалённым, как они, спать зимой с открытым окном. Увы, это было невозможно. Окно плотно закрывали. Щели затыкали ватой, а между рамами Паня клала какие-то тряпки, укрывала их тонким слоем ваты, украшенной бумажными звёздочками, кружочками и ленточками. Только утром приоткрывали форточку. И родители, и Паня были южане. Холода не любили. И я, в отличие от моей жены, вырос мерзляком. С большим трудом, как и наши теперешние гости, переношу оксфордский холод нашей квартиры.

Укладывали спать меня рано. Но если приходили тогдашние гости моих родителей, я долго не засыпал. От изголовья кровати были видны входная дверь

и краешек стола, за который рассаживались или играть в преферанс, или ужинать. Самое яркое и до боли обидное воспоминание: как-то гостей угощали любительской колбасой. Это было большой редкостью в нашем небогатом доме. Колбаса изумительно пахла. Ах, как мне хотелось её отведать! Но, увы, обо мне никто не подумал. Наверное, это была не единственная обида в детстве. Но запомнилась только эта обида, оставившая маленький рубчик на маленьком сердечке.

Квартира

До революции это была барская квартира. Комнат в ней было много. Не 38, как «...на 3-й Мещанской, в конце». Но много. Наша была самая большая. Но не главная. Главными были комнаты, в которых жил наш домоуправ с женой и двумя детьми – мальчиком Женей и девочкой Зоей. Женя вскоре умер. Кажется, от туберкулёзного менингита. Зоя дожила до моего пятого класса и умерла от аппендицита. Обвиняли жившего этажом ниже, в точно такой же квартире, профессора медицины, который не пришёл вовремя осмотреть девочку. Наверное, поэтому я готов, как пионер, бежать по любому зову заболевших друзей и соседей. Зойка была косой, старше меня лет на пять. Но, когда я уже стал первоклашкой, то решал ей задачки по математике, задаваемые в её 5-м классе. Можно судить о трудности школьной науки в те годы.

Наш домоуправ Фёдор Иванович был, кажется, партийцем. Ну как минимум членом профсоюза. А пиво (и не только пиво), как известно из «12 стульев», выдавалось только его членам. Но командиром и воинским начальником и своих комнат, и всей нашей квартиры был не он, а его супруга Екатерина Степановна. Она определяла всё: и порядок уборки мест общего пользования, и плату за электричество (потом и за газ), и места на кухне, и пользование нашим большим, но совмещённым туалетом.

Женщина она была строгая, но абсолютной доброты и щедрости. Вечерами семьи, с которыми она «дружила», собирались в одной из двух её комнат. Чаще всего играли в лото и пели песни. Русские народные. До сих пор я помню их все. И «Хасбулат удалой», и «Степь да степь кругом», и «По Дону гуляет...». Список был бы, пожалуй, длиннее списка кораблей, который Мандельштам дочитал только до половины.

Самым большим событием были вечера, когда Екатерина Степановна гадала. Чаще всего на картах. Но иногда – на воске и на свинце. Щедрость её не имела границ. Для гадания на свинце она ломала горельефы каких-то вождей, запечатлённых в этом металле. А может быть, это были уже и не вожди? Но именно от неё я услышал и запомнил частушку: «На 17-м партсъезде раздаются голоса: «Кто последний? Я за вами брить на ж...е волоса». Екатерина Степановна мне прощала всё. Даже истыканную лыжной палкой дверь. Мы вечно воевали с Зойкой. А может быть, это была любовь?

Не всех соседей я знал. Тем более что они часто менялись. В одной комнате, у кухни, жили сёстры и брат Грибановы. Говорят, что они были немцами и учили немецкому языку больших начальников. Брат вскоре исчез. Сестры жили до войны. Иногда дарили мне какие-то фантастически хорошие ненашенские игрушки. Одна лягушка под зонтиком сохранилась до моей демобилизации. Но сёстры исчезли. Оставив в ванной какие-то сундуки, содержимое которых со временем тоже исчезло, как и сами сундуки.

Рядом с нашей комнатой была комнатка Коршуновых. В комнатке было метров восемь. Но жило в ней человек пять. В комнате, почему-то не на кухне, когда Екатерина Степановна уходила на работу, жарили селёдку. Когда я стал постарше и уже знал о каннибалах из «Робинзона Крузо», мне казалось, что так пахли поджариваемые каннибалами жертвы. Наверное, поэтому до 19 лет мог есть рыбу, только будучи очень голодным.

Было всякое. Но особых скандалов и склок не было. Уверен, что благодаря моей маме. Она была громоотводом. Даже для Екатерины Степановны. Громоотводом она была и для моего отца, который вечно ругался с кем-то из её родственников и своих друзей. А когда в 1950 году у нас появился телевизор, наша комната стала постоянным вечерним клубом. Набивалось в неё человек десять. Так что ни маме, ни папе, ни мне места не хватало. Впрочем, это был мой последний год в Москве. Потом были, как пел Вертинский, «другие города».

Дом

Заканчивали его строить перед Первой мировой войной. Поэтому не достроили. Был квадратный пролёт для лифта. Но лифта не было. Лестница ограждала пролёт перилами на красивейших чугунных штыхрях с медными набалдашниками. Краешек ступенек выступал за ограду, нависая над пролётом-бездной. И все мы, мальчишки нашего дома, храбро спускались и поднимались над бездной. У меня всегда был страх высоты. Преодолевал. У Цветаевой: «Говорят, тягою к пропасти измеряют уровень гор». Через много лет я перефразировал царя Соломона: «Незнание – источник оптимизма». Никто – ни Ромка Голубовский, учивший меня в 70-х годах водить авто, ни Димка Щукин, отец которого однажды навсегда уехал в «командировку», ни я – не сорвался в эту пропасть. Незнание – клад для тренеров. Дети не ведают страха. И расплачиваются калечеством и смертью, как «гуттаперчевый мальчик» в одной из любимейших книг детства, как в жизни – талантливейшая гимнастка Мухина.

В доме было четыре этажа, по две квартиры на площадке. Но в бельэтаже была только одна квартира – то ли из 14, то ли из 18 комнат. До революции это была знаменитая гимназия Брзожовской. У всех жильцов были её «останки»:

стулья и настольные лампочки, бювары и, главное, книги. У меня был «Маленький лорд Фаунтлерой», у Ромки «За что?» Лидии Чарской, у Димки – «Маленькие женщины» и «Княжна Джаваха».

Может быть, они, эти книги, сохранили в нас пятнышки сострадания. Хотя детьми мы были жестокими. В подвале жила старуха. Говорили, что она была владелицей этого дома. И мы, как могли, боролись с нею, воплощавшей воспитанную в нас ненависть к царскому режиму. Господи, прости нас, ибо мы не ведали, что творили.

Улица

Точнее, переулок. Параллельный Садовому кольцу. Той его части, где теперь вход в туннель (или тоннель? Путаюсь с тех пор, как прочел Келлермана), на крыше которого – неприметный памятный знак Комару, Кричевскому и Усову. Дома нашего давно уже нет. Долгие годы на его месте высились разновеликие стропила. Теперь вроде бы что-то начали строить (построили!). Нет и переулка. А тогда он, замощённый булыжником, с одноэтажными, кроме нашего, домами, с кучами камней, в которых можно было найти чёртов палец – окаменевший след доисторических эпох, был огромным государством со сложной иерархической структурой.

Во главе её был король. Не оруджавский Лёнька Королёв, а Султан. Он был лет на семь старше нас. Жил во дворе. Отец многочисленного его семейства был дворником. Мал мала меньше брата Султана были неприкасаемыми, как нынешние депутаты. Но всё же, когда вспыхивали драки, Султан по каким-то ему понятным приметам точно определял зачинщика, и расправа наступала даже виноватую родную кровь. Ссоры обычно были из-за нарушения регламента игр в лапту, в городки, в ножички и, главное, на деньги – в «расшиши» и в «пристеночку». Лучшей битой был царский медный пятак. Пятак был мой. Но только номинально. После конца игры. А так – в очередь. Мои попытки заявить внеочередные права на личную собственность оканчивались затрепачной Султана. Рёв не помогал. Приходилось смириться. Воспитывалось чувство коллективизма – наследие крестьянской общины. Зато потом на флоте я сразу вписался в его традиционно коллективный мир.

Ближнее вокруг

За пределы переулка до школы меня выпускали только со свитой. В будни – с «принцессой Турандот». Так звали мою няню, бежавшую в Москву с Украины в голодомор. Слова я этого не знал. Никогда ничего об этом не рассказывала и Паня. Только иногда бесстрашная Екатерина Степановна

проклинала всех и вся. Паня, как я понял, вернувшись после войны, была очень некрасива. Но для меня она была самой красивой, почти такой же красивой, как моя мама А ещё она, как все на Украине, превкусно готовила. Лучше всего – борщ. С плавающими кусочками сала и пахнувшим на всю квартиру чесноком. Как не стать гурманом?

Мир за пределами переулка был огромен и прекрасен. Главным был «Кружок» – садик у дома американского посла, дома более известного как «особняк в переулке». Внутрь его я попал в середине 70-х на какой-то приём, работая в Институте нейрохирургии. А в моём детстве это было одним из табу. О доме посла Буллита говорить было не принято.

Садик был ограждён. И нянюшки предоставляли детям полную свободу в пределах ограды. Главное для нас – похвастаться сокровищами: «золотой» пуговицей, крымским камешком, мячиком на резинке, «уйди-уйди». Их, как и ныряющего чёртика, покупали на Смоленском рынке. Находился рынок там, где теперь запруженная автомобилями площадь, между высоткой МИДа и гостиницами «Белград». А тогда рынок разрывал бульвары Садового кольца. Его центром была карусель, украшенная стеклярусными подвесками. Сказочной красоты и недоступная из-за полного отсутствия денег у Пани. А в выходные дни мои интеллигентные родители на рынок меня не водили. Хотя даже зоопарку, даже цирку я бы предпочел стеклярусную карусель. Увы, наши детские желания далеко не всегда понимают взрослые. Как мне хочется верить, что я сохранил это понимание детских желаний. Надо бы спросить у внучки. Но боюсь разочароваться в себе.

Иногда вместо кружка мы ходили гулять на Собачью площадку, уничтоженную Новым Арбатом. Собак на этой площадке не было. Зато была керосиновая лавка. В ней чудесно пахло той жидкостью, которую наливали в консервные банки, в которых стояли ножки моей кровати. Эти крепостные рвы ограждали меня от главных врагов детства – клопов. Вообще, керосин и до войны, и в войну был главным и осветителем, и просветителем. Им заправляли керосиновые лампы на даче, им заправляли примуса (до войны) и керогазы (в войну). Когда сегодня страдают от повреждённого или выключенного электричества, я понимаю несоответствие этого нашему электрифицированному и газоснабжённому веку. Но – судите и казните – полного сочувствия у меня нет. Слишком много лет мы жили со строго лимитированным электричеством, с минимальным количеством отпускаемого керосина, с «буржуйками», которые топили «мокрыми, тощими дровинками, чуть потолще средней бровинки». Моя жена вот уже лет 10 пытается избавиться от японской керосиновой печки, привезенной нам другом-летчиком. Не даю и не дам. А бывая в хозяйственных магазинах, с нежностью посматриваю на керосиновые лампы и на долгогорящие свечи. Впрочем, пара таких свечей у меня есть. Но это в моей личной записке.

Такова моя страна. И другой страны (не знаю, как у других) у меня не будет!

Шире круг

Москва была уютной. Все родные и друзья родителей жили рядом. Легко было, даже малышу, дойти пешком. Через «Кружок» проходным двором мы шли в гости к маминим сестре и брату. Они жили в арбатском переулке у театра Вахтангова. В полуподвале. Теперь над этим полуподвалом хоромы модной целительницы. Мамина сестра тётя Еля была красавица. С огромной косой. Увы, закомплексованная, почти глухая после какой-то болезни, перенесенной в юности. Она никогда не была замужем, хотя однажды с гордостью призналась мне, что она – Женщина! Всю жизнь она проработала в одном и том же институте туберкулёза, считая мазки крови. Всю жизнь она писала кандидатскую диссертацию, так и не написав её, хотя тратилась на математиков. Но потребности у неё были минимально-аскетичные. И умерев, она оставила 5000 рублей. Не родным. Фонду мира.

Полной противоположностью был дядя Миша. Он был инженер, носивший и летом, и зимой фуражку с чёрным околышком и кокардой из перекрещенных молотка и гаечного ключа. Сколько помню – главный электрик «Главсахара». Силы он, как и его отец, мой дед, был необыкновенной. Расходовал он её щедро: загребным на восьмёрке, альпинистом на Ужбе, партизаном в Отечественную. Как и сестра, никогда не был женат. Но был всегда облеплен обожавшими его женщинами. Даже перед смертью – умер он, не дожив до 70, – полупарализованный был обихожено двумя или тремя очень симпатичными женщинами разного возраста и разного социального статуса.

Он оставил наследство: 25 рублей, гранату и бутылку водки «Столичная» с белой головкой. Правда, водка почему-то порозовела. Может быть, от стыда за его бедность. Но мой сын всё же выпил её за здоровье этого удивительного человека. Он, родившийся в Николаеве, был москвичом, вросшим в Арбат. Ему много раз предлагали квартиры. Одну – на Калужской (теперь Октябрьской) площади – мы даже смотрели. Но дядька сказал, что с Арбата он никуда не уедет. Гранату (слава Богу, без запала) его сестра – моя мама – выбросила на помойку.

Тётя угощала меня дорогими конфетами «Мишка на лесоповале» и «Мишка-полярник». Обычно одной. На выбор. Вкуснее казалась зелёная. Но фантик синенькой («Мишка-полярник») ценился выше. За него можно было получить десяток фантиков обычных конфет, даже «Раковых шеек». Дядя же вынимал из тумбочки свои сокровища – книги. Это был том Маяковского и большие тетради «Рейнеке-Лиса» с чудесными иллюстрациями, кажется Каульбаха. Пока я рассматривал картинки, дядька читал Маяковского. Что-то я запомнил с ходу – «Левый марш», что-то откладывалось в детской головке. И когда у меня появился свой Маяковский – четыре синеньких томиков – не составило труда, прочитав, запомнить всё содержимое томиков навсегда. Даже под мои 80 я помню почти всё. Спасибо вам, родные мои!

Ездили в семью старшего брата мамы дяди Лёвы. Они только что вернулись из Англии, где дядя Лёва занимал какой-то важный пост. Важные посты он занимал почти всегда, даже 37-м и 52-м годах. Всегда чем-то руководил, что-то строил. И, наверное, очень хорошо. В страшные 50-е годы его всё же арестовали. Но через несколько недель вынуждены были выпустить: без него разваливалось окончание строительства «Детского мира» в центре Москвы. Дядька достроил его в срок, а усатый, к счастью, к окончанию стройки сдох.

В комнате дяди, а потом в первой увиденной мной отдельной квартире были: его строгая аристократическая жена, рояль, альбом с открытками, – репродукции картин Верещагина, – и мой двоюродный старший (на три года) брат. В бриджах, гольфах и почти не говоривший по-русски. Потом он стал одним из лучших наших хирургов. Но тогда представлялся чуждым мне инопланетянином. Признаюсь, часто доставлял ему неприятности, особенно в нашу бытность в одном престижном медицинском учреждении. Какое-то время мы получали «оклад жалованья» в одном и том же учреждении – ЦИУ или, точнее, ЦОЛИУв – Центральный ордена Ленина институт усовершенствования врачей. На одном из партийных сборищ я пытался охмурить очень симпатичную рентгенологиню. Пошутил: нам с братом разрешили открыть «частную клинику братьев Маневичей», ну как знаменитую клинику братьев Мэйо, описанную С.С. Юдиным. Шутка обошлась дорого не мне – брату. Его утверждение заведующим кафедрой хирургии задержалось на несколько месяцев. Проверяли шутиху. От друга я «своё» получил.

К друзьям отца, жившим в другой стороне от Арбата, в Гранатном переулке, я стремился всей душой. У них была смешная, не лошадиная, а птичья фамилия – Куриц. Целых три комнаты в большой коммунальной квартире. И девочка, почти моя ровесница. Как ни странно, но в неё я не был влюблён. Но очень хотел выпендриваться перед ней. И выпендривался, демонстрируя свою необычайную память, читая наизусть десятки механически выученных стихов. У девочки было два достоинства: она терпеливо, не прерывая, слушала меня и умела играть на пианино. А я потом мог хвастаться – хвастаться я любил и тогда, люблю и сейчас – перед Ромкой, Димкой и вообще всеми ребятами с нашего двора этой необыкновенной знакомой. Никто из нас играть на пианино не мог. Да и «пианинов» у нас не было. Не было даже гитар и гармошек.

Зато у меня был велосипед. Подарок моих богатых родственников. Это был единственный велосипед не только в нашем переулке, но и на «Кружке», на Собачьей площадке и, наверное, во всей округе. Но, как и мой медный пятак, велосипед был всехний. И не только когда катались, но и когда стаскивали и втаскивали его на пятый этаж, когда накачивали вечно сдувавшиеся шины. Уже перед школой я узнал, что у моего драгоценного велосипеда был существенный недостаток: рама у него была скошенная, женская! Я даже его стал стесняться. Но о велосипеде с мужской рамой мог только мечтать. В отличие от мечты Галича моя мечта никогда не сбылась.

Зато перед школой я уже прекрасно читал, знал все четыре (и даже больше) правила математики, научился хорошо кататься на «снегурках» (были такие коньки) и начал заниматься акробатикой. Так что был готов к заветной школьной жизни.

ШКОЛА

В школу я пошёл поздно. В 8 лет. Школа была по ту сторону Арбата, в Плотниковом переулке. В старом дореволюционном здании. На Арбате ходил трамвай. Поэтому с большим трудом я отвоевал право идти в школу и приходить из школы без сопровождения. Под трамвай я не попал, зато как-то у «Кружка», рассказывая своему школьному другу Саше Тарбову одну из своих фантазий, попал под лошадь, отделавшись, как Остап Бендер, лёгким испугом.

Это мой единственно оставшийся в живых друг той поры. 1-го сентября 1934 года нас посадили за одну парту. Но не вдвоём, а втроём. Третьей была очень красивая девочка Таня Кузнецова. Но влюбился в неё не я, а мой уже упомянутый друг. Видимо, в моём эстетическом воспитании были какие-то пробелы. Обычно я влюблялся не в самых красивых – красивых москвичек и в школе, и в институте, и на работе, и «в метро» было очень много, а в не самых красивых, но очень и очень милых «соседок по парте». Так, уже в другой новой школе, куда нас перевели через год, я влюбился и был влюблён аж по седьмой класс, в круглую отличницу Валю Лобанову. Но зато, будучи уже стариком, через 70 лет, в зале ожидания военной стоматологической поликлиники, узнал Таню. Она была там на законных основаниях, как жена генерала (с её красотой могла бы быть и женой маршала!), а я – на основании полузаконном. Когда-то в этой поликлинике я разрабатывал новый метод обезболивания. О чём далее.

Учиться было неинтересно. Всё это было давно пройдено с Зойкой. Поэтому, как говорила мама, я больше сидел не за, а под партой. К счастью, от посещений этой школы меня избавила первая большая болячка – аденоиды. Из-за них я часто болел. И было решено радикально решить проблему – удалить их. До сих пор помню тот страшный день и того страшного доктора. Даже его фамилию – Шапиро. Я не помню его лица. Но помню толстый смазанный йодом палец, коим он залез мне в рот и очень быстро выковырял какой-то кровавый комок. Потекло отовсюду: изо рта и носа – кровь, из штанишек... Зато потом меня накормили мороженым от пуза, да и от школы я надолго избавился.

Это была замечательная школа. На Большой Молчановке. Замечательна она была многим. Во-первых, над ней шефствовал МГУ. Поэтому нас водили в его музеи. Нас опекали какие-то фантастически красивые и умные студенты и студентки. Во-вторых, у нас были замечательные учителя, водившие нас не только в детские театры, но и в Музей изящных искусств, в Исторический и Политехнический музеи. В-третьих, у нас был замечательный класс. В нём было три лидера: Серёжка Кузнецов, Муля Стеккель и... я. Правда, Муля, или Мулька, соперничать со мной мог только в учёбе. В остальном соперником был один, Серёжка. Он был выше меня на голову. С седой прядью в густых каштановых волосах, бесстрашный, не мне чета. Убегая с уроков, он по карнизу (класс был на 3-м этаже) перебирался из одного окна в другое, где была водосточная труба и спускался по ней. Я этого сделать не мог. Страх высоты был сильнее. Зато я лучше читал стихи. И лучше «доводил» учителей. Так как страх быть любимчиком был сильнее страха высоты. И, наконец, у нас был драматический кружок. Я был в нём главным героем-любовником, играя Пьеро. Главной актрисой была Лиля Сребник – одна из моих будущих жён. Земля ей пухом.

Второй класс пролетел как одно мгновение. В третьем классе мы с моим другом (увы, уже давно умершим) Вилем Шерстобитовым стали посещать Дом пионеров. Он – изостудию. Я – географический кружок. От наших арбатских переулков до улицы Стопани мы шли пешком бульварами. И – хотите верить, хотите нет – но в 5-м классе заключили письменный договор: написать роман, повесть, рассказ, поэму и... венюк сонетов. Да-да. Уже в 5-м классе мы знали этот самый трудный поэтический жанр, хотя ни он и ни я ещё не написали даже простенького четверостишия. Зато в географическом кружке я сделал доклад о своём любимом Амундсене. Это был хороший доклад. Поэтому, когда наш кружок посетил Иван Дмитриевич Папанин, меня удостоили чести приветствовать его. И он пожал мне руку! Недельку я её не мыл. И мечта – стать полярником – казалось, воплощалась в жизнь.

Увы. Я мог только мечтать. В одно далеко не прекрасное лето мы с мамой поселились под Николаевом в украинском селе на Южном Буге. Жили мы в мазанке с земляным полом, устланным какими-то прекрасно пахнущими травами. Мазанка была окружена фруктовым садом. Рядом был заливчик, в тёплой воде которого плавали чёрные юркие рыбки. Через несколько дней, к полному моему восторгу, я научился плавать. И, к ещё большему восторгу, мне подарили огромный том приложений к «Ниве» бог весть какого года. После ненормированного, до посинения, купания я располагался с какими-то фруктами в шезлонге и погружался в мир войн, преступлений и любовей.

Но, как у Блока: «Нас всех подстерегает случай...». Однажды на меня с неба начали падать арбузы. Далеко в небе они были маленькими. Приближаясь ко мне, становились всё больше и больше, а у самого лица – громадными.

Дальше – трясущаяся тишина. Малярийная кома. Я подхватил «терциану». 7 суток был без сознания. Как говорится в анекдоте, после этого или умирают, или остаются идиотами. Знаю. Сам болел. Три года с изнуряющими ознобами. Практически «выпал в осадок». Лечили и в Николаеве, и в Москве, и аллопаты, и гомеопаты, доценты и профессора. Превратился в скелетик, обтянутый кожей. И, наверное, мумифицировался бы заживо, если бы не великий врач – профессор Кассирский. Он отменил все микстуры и порошочки, назначив взрослую дозу хинина. Малярию он уничтожил. Но ещё несколько лет я был почти глухим (этим оправдываю моё неумение играть ни на одном инструменте) и полностью не способным координировать любое мало-мальски сложное движение. Кончилась акробатика, кончились коньки, кончился велосипед.

Зато за эти три года я прочитал столько книг – от Брет Гарта. Жюль Верна, Герберта Уэллса, Фенимора Купера, Джека Лондона до Достоевского, Толстого, Чехова. Мамина-Сибиряка, Гарина-Михайловского и даже Шеллера-Михайлова. Все эти книги были потрёпанными – приложения к каким-то дореволюционным журналам, в бумажных переплётках, и немного оскорбляли моё нарождавшееся эстетическое чувство. Ведь в промежутках между приступами ознобов я пытался рисовать, посещая изостудию в 69-й школе. Наверное, потому что в эту школу перевели моего лучшего друга, так как художнического таланта у меня явно не было. И всё же я упорно рисовал Зевса в Греческом зале Музея изящных искусств, хотя мечтал рисовать Лаокоона и Давида.

Но были и другие книги. В коленкорových переплётках. Толстые и почти новые. Всё смешалось в доме... то бишь в малярийной головке: чёрные «9 точек» Юрия Казакова чередовались с оранжевым томом «Дон-Кихота». Да ещё с иллюстрациями Доре. «Хулио Хуренито» и «13 трубок», Эренбурга с «Записками охотника», «Преступление и наказание» с «Отверженными», «Война и мир» с «Гаргантюа и Пантагрюэлем», «Мальчик Мотл» и «Тевье-молочник» с «Борьбой за огонь», «93-й» с «Агасфером» и «Нашими знакомыми» (ещё не испорченными правкой) Юрия Германа. «Очерки Бурсы» со «Школой» Гайдара, «Домби и сын» с «Войной и миром», «Дети капитана Гранта» с «Человеком-невидимкой», «Три мушкетера» с «12 стульями», а «Том Сойер» с «Пещерой Лаихтвейса». И всё это – не считая Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Некрасова. Хватило надолго и стало основой досрочной демобилизации. А потом была война.

Отрочество

18 июня 1941 года я приехал в Новосибирск к отцу. Ехал трое суток. Дорога была скучной. Никаких вишен не продавали. Да ещё в Москве остались две новые только что купленные на сбережённые личные деньги книги – толстый том избранных повестей Достоевского и толстый том Маяковского с красным профильным портретом на обложке. Взять их мама не разрешила, полагая, что они будут нужнее мне в 8-м классе, когда я вернусь в Москву после летних каникул.

Не было бы счастья

Отца сослали в Новосибирск в 1939 году. Именно сослали. Хотя ссылка была «добровольной». Незадолго до этого отец, наконец, окончил институт и работал в наркомате боеприпасов. В Новосибирске этот наркомат строил комбинат, и отцу предложили – добровольно в принудительном порядке – какую-то довольно большую должность. Как я теперь понимаю, было два выхода: соглашаться и не соглашаться. Последствия отказа родители хорошо знали по 37-му году, хотя никто из наших родных репрессирован не был. И отец под вопли и плач вавилонский поехал в далёкую Сибирь. Я тогда не знал, что «Россия будет прирастать Сибирью», но догадывался, что это другая страна. Почти как «таинственный остров». Догадка подтвердилась. В разговоре коренные сибиряки всегда задавали один и тот же вопрос: «Как там у вас, в России?»

Зато мы сразу поднялись на высокий социальный уровень, став почти богачами. Отцу дали какие-то большие подъёмные. На них мне купили эпидиаскоп, папе – хрустальный синий графин на хрустальном подносе, с шестью хрустальными рюмками, а маме – шкурки каракуля с золотыми печатями на коже. Кожу эту почему-то называли мездрой. Из шкурок маме пошили шубу с муфтой и шапочкой. И полстолетия это была единственная шуба, верно служившая моей маме. Даже тогда, когда можно было бы её сменить – мои профессорские доходы, даже минус алименты, вполне это позволяли – мама отказывалась.

Полагаю, шуба хранила память о несчастье, ставшем спасением для многих её и папиных родных.

Поезд прибыл вечером. Встретил посолидневший отец. Строившийся комбинат и дом, в котором папе дали квартиру, были не в самом Новосибирске, а на другой стороне Оби, в Кривощёкове. Добрались мы до дома поздним вечером. Взобрались на 6-й этаж, который был всё же ниже нашего пятого в Москве, и я обалдел. Квартира была из трёх больших комнат. Да ещё с большой кухней и большой кладовой. Но почти пустая. В самой большой комнате вообще ничего не было. В папиной – кровать, солдатская тумбочка и пара стульев. В моей – кровать, стул и очень маленький столик. Зато на этом столике лежала толщенная книга – Горьковский «День мира». Когда-то так Алексей Максимович воплотил одно из своих мечтаний, собрав всё, что произошло в тот день, уж не помню какой, и в нашей стране, и в самых дальних, даже чуждых нам странах.

А под кроватью лежал ящик с соевыми батончиками. Думаю, что килограммов пять или шесть. Больше ему (то есть мне, видимо, решил отец) не съесть. Действительно, съесть я смог чуть-чуть больше половины, но книгу дочитал до конца. Читал я тогда со скоростью чапаевского максима. Уснул под утро, утешившись книгой и батончиками от разлуки с Москвой. На кухонном столике лежала записка с наставлениями до вечера. Свидание с сыном, которого не видел два года, не могло быть уважительной причиной отгула. В записке было указано явиться на 1-й этаж, к жене папиного сотрудника, которая накормит и напоит меня.

Дабы не опозорить Москву, я не только умылся, но даже почистил зубы. Спустился. Жена сотрудника оказалась женщиной лет 30. Полноватой, но очень красивой сибирячкой: румянец на щеках, карие чуть раскосые глаза смеющийся рот и ослепительно белые ровные зубы за влажными розовыми губами. Влюбился я немедленно. Она была почти такой же красивой, как моя детская любовь – Марина Ладынина. Мне даже понравился её хнычущий сынок, дошкольного возраста. Я был готов даже играть с ним, только бы не уходить из этой квартиры.

Но сынок держался за мамин подол. Играть со мной не хотел. Повода оставаться не было, и я отправился открывать неведомый мир. Чувствовал я себя если не капитаном Куком, то Миклухо-Маклаем. Самой малой опасностью полагал бродящих по этой Сибири медведей. Но оказалось, что асфальт у нашего дома не отличался от асфальта московского, дома были даже повыше и поновее, а на пустоватом рынке с противоположной стороны дома были смолка (нынешняя жвачка) и кедровые орешки. Для тогдашнего москвича всё это было равносильно африканским бананам и мексиканским ананасам. Последние были знакомы мне из Маяковского – «Моё открытие Америки», поразившее тем, что продавцы ананасов, подплывавшие к кораблю на лодочках, ругались по-русски: «Куда ты прёшь со своей ананасиной, мать твою так!» Это было начало моего коллекционирования ругательств – единственная коллекция, сохранившаяся у меня и в старости.

Но на рынок я пошёл уже не один. Меня ждали местные мальчишки и девчонки. Людской телеграф работал быстро и точно. Я был первый москвич – их сверстник. С ними я и совершил экскурсию по самым достопримечательным местам Кривощёкова. Так что к опекавшей меня Галине Николаевне вернулся только к ужину. Тем более, что влюблённость в неё сменилась более сильной влюблённостью в Гулю Алексееву, живущую в доме напротив.

В пятницу и в субботу продолжалось освоение открытого мною материка. Отец возвращался с работы очень поздно. Выходной день тогда был только один. Его я ждал, «как ждет любовник молодой минуты верного свиданья». Мне было обещано, что в воскресенье мы поедем в Кудряшовский бор, а до этого в Новосибирске купим мне настоящий велосипед.

Вначале всё сбывалось. Как в сказке. 22 июня утром, часов в семь, – разница по времени с Москвой тогда в Новосибирске была 4 часа – мы с семьёй папиного сотрудника поехали в Новосибирск. В универмаг мы попали к самому открытию. Выбрали самый лучший велосипед. Правда, не сверкавший никелированными своими рулем и зубчаткой, так как они были густо смазаны тавотом. Оплатить и забрать его договорились по возвращении из Кудряшовского бора, куда и отплыли на пароходике. В 4 часа пополудни пароход отправлялся обратно. И тут на пристани, прерывая гудок подплывавшего парохода, из чёрного репродуктора раздался голос Молотова.

Началась война. Когда мы вернулись в Новосибирск, все вклады в сберегательных кассах были заблокированы. И я уже никогда не имел взрослого велосипеда с прямой мужской рамой.

Отец немедленно ушёл на комбинат. И появился дома лишь через неделю, на несколько часов. Мои попытки вернуться в Москву и попасть на фронт были пресечены. Я был предоставлен себе и Галине Николаевне и стал (позор!) эвакуированным.

Собращение

Мне и моим сверстникам думалось, что война продлится неделю. Ну от силы – две. «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». Даже сводки не разочаровывали. Думали, что фашистов заманивают в ловушку, как заманивали Барклай и Кутузов. Веру укрепила победа под Ельней. Мы даже распили с тогдашним моим приятелем бутылку портвейна №19. Правда, заесть уже можно было только «Чаткой», это были последние и единственные продукты – консервы из крабов, отпускавшиеся без карточек. Вскоре и их не стало. Но пока голода не было. Отец оставлял столько денег, что их хватало и Галине Николаевне на мою кормёжку, и мне на кино и на книги. Оказалось, что в Новосибирске есть книжные магазины – и обычные, и букинистические. А в них были даже такие книги, которых в Москве я и не видывал. Первой я

купил «Столицы мира» – огромный фолиант с прекрасными иллюстрациями. Вторую – эстампы Пиранезе. А потом были книги от букинистов: три огромных тома Байрона и пять или шесть томов Шиллера в издании Брокгауза и Эфрона. Денег стало не хватать, и я начал продавать на рынке наше скудное имущество, главным образом простыни. Их за большие деньги покупали приезжавшие эвакуированные. Закончился мой бизнес большой головомойкой. Но моя вторая библиотека была уже больше и лучше московской.

Даже наши поражения, не говоря уже о друзьях, отошли на второй план. Я не выходил из дома, любясь, листая, читая и перечитывая мои сокровища. Отрывала меня только моя опекунша на моё кормление и необходимую помощь ей. Дело в том, что её сын был «писун». Поэтому почти ежедневно ей приходилось менять матрасы и сушить описанные. Сушили матрасы на чердаке. Прямо над нашей квартирой. Там же сушилось выстиранное бельё. Натянутые между стропилами верёвки подпирала рогатинками. Меня просили помочь. И я помогал. Рогатинки были нестойкими. Падали. И однажды упали вместе с нами. Так я лишился девственности. К сожалению или к счастью, это было не часто. Мешал её сынок, вечно цеплявшийся за подол и вечно болевший. Да и к нам, и к ним стали прибывать эвакуированные родственники. И я надолго (за очень коротким исключением) забыл, как это делается.

Ковчег загружается

Первыми прибыли эвакуированные из Николаева, нелюбимые мною родные отца: его сестра с мужем и сыном, бабушка Клара и брат отца – Дудик. Он был на 19 лет моложе отца. Значит, в 41-м ему было 19 лет. Как и почему он не был на фронте, не знаю, думаю, путями неправедными. Но приходилось терпеть в моей (!) комнате и моего двоюродного брата (он был на 9 месяцев меня моложе, но не я виновник его рождения), и этого моего дядьку. Потом приехала тётя Блюма. Её чудесный муж погиб при защите Одессы. Потом приехали из Москвы тётя Сима, жена старшего брата мамы Лёвы (он был на фронте) и друзья моих родителей из Гранатного переулка. А мамы всё не было. Она с бабушкой Саррой и тётей Елей (любимый дядя Миша партизанил) приехали только в ноябре, пережив исход москвичей 16 октября.

Но до приезда мамы терпеть это нашествие было не вмоготу. Да и разгром фашистов почему-то затягивался. Мои попытки вернуться в Москву и добраться до фронта закончились провалом. Надо было помочь фронту. Я мог быть только той мышкой, которая помогла вытащить репку. Хотя это была не репка, а турнепс. В школе, в которой мне предстояло учиться, если к осени не разобьют фашистов, организовали отряд для работы в совхозе. Я ещё не был комсомольцем, но был добровольцем. Работали в совхозе, убирая турнепс, по-крестьянски – от зари до зари. Кормили бесплатно. Два раза в день. Правда,

только молоком и чёрным хлебом. Спали в сарае, на соломе. Зато можно было не чистить зубы и почти не умываться.

Бабушка говорила, что её дед землю пахал, пока его не выгнали за черту оседлости. В Белоруссии. Все Маневичи, даже великий разведчик Лев Маневич, из маленького одноимённого местечка. Но, видно, до меня гены крестьянина не дошли. Скис дней через десять. К счастью, среди высыпавших чирьев один был «агромальный». И меня срочно увезли в город. Антибиотиков и даже стрептоцида тогда не было. Лечили народными средствами, прикладывая столетник. И «зелень (без ласки) выходила глазки». Выжил, ожил и пошёл учиться.

Занятия в 8-м классе начались 1 октября. Но идти в школу мне было не в чем. Из Москвы я приехал в летней одежде и только на лето. Отец был на казарменном положении. Галина Николаевна с приездом родных опекать меня перестала. Папины родственники меня недолюбливали. Помогли друзья родителей из Гранатного переулка, перешив мне какие-то папины брюки (вельветовая курточка у меня была) и на что-то выменяв романовский полушубок. Полушубок был с застёжками на левую сторону. Но тяга к знанию была сильнее стыда за немужественное одеяние.

Я – еврей

Класс был наполовину из местных, наполовину из эвакуированных. Задавали тон ленинградцы – Боря Потупов, Вовка Шур. Но принцессой была москвичка – Люся Горхивер. Каким-то образом она и её кузина каждый день приходили в блузках одного фасона, но разного цвета. Уже через много лет после войны я узнал, что достигалось это тушью разных цветов. Так что – «если хочешь быть красивой, будь ею». Родные Бориса были хотя и эвакуированные, но какие-то персоны. Поэтому даже в те трудные времена жили в отдельной квартире. Правда, всегда отсутствовали. Поэтому вечера мы с большим удовольствием проводили у Бориса. Танцевали. У него был патефон и «самые-самые» пластинки того времени: «Брызги шампанского», «Рио-Рита», вальс «12 часов ночи». Главным развлечением была «бутылочка». Вряд ли нынешнее поколение знает эту упоительную игру: бутылочку вращали, как современные крупье рулетку, правда, на полу. Горлышко бутылки указывало на ту, с кем вращавшему посчастливилось целоваться. Как ни странно, но целоваться с Люсей Горхивер чаще всего доводилось мне. Она в меня не была влюблена, как и я в неё. Потому что безнадежно влюбился в училку.

Это была Лариса Николаевна Андреева. Наверное, с неё в «Хождении по мукам» списал Катю Алексей Николаевич Толстой. Преподавала она литературу, кутаясь в тонкий шерстяной белый платок. Не знаю, сколько ей было лет. Думаю, что около сорока. Но какое значение для любви имеет возраст? Влюблены в неё были все. Но я – больше. И шансов на взаимность у меня было больше: у

меня были книги, которых у неё, эвакуированной, не было. Да и читал я стихи (до войны занимал призы на всех районных и городских конкурсах!) лучше всех, и мои сочинения были лучшими.

И вот эта моя любовь нанесла мне первую рану. Нужно сказать, что незадолго до этого какой-то незнакомый паренёк, когда я пробирался сквозь метель из школы домой, обозвал меня жидом. Хотите верьте, хотите нет, но этого слова я не знал. В моём интернациональном арбатском дворе национальные проблемы не возникали. Нет, я знал, что Султан – татарин. Но это была не национальность, а скорее принадлежность к особой высшей касте. И всё же я полез драться. Не помню, кто кого подмял. Но вернулся я домой без шапки, с разбитым носом и оторванными от своего романовского полушубка крючками. Уж не помню, как я получил объяснение дефиниции «жид», но понял, что в моё отечество уже пробрались фашисты-диверсанты. Задача была ясна: найти и уничтожить. Разумеется, передав диверсантов в руки наших доблестных чекистов.

Но в один непрекрасный день моя любимая Лариса Николаевна заставила меня вслух – это была моя награда за любовь – читать то место в «Тарасе Бульбе», где детально и не без удовольствия описывается еврейский погром. «Тараса Бульбу» я, разумеется, читал, когда болел малярией. Но погром воспринимал с сочувствием. Не к евреям, а к угнетённым ими храбрым казакам. А тут вдруг всё сошлось. Я отказался читать, самовольно ушёл из класса, за мною выскочила Марта. Не знаю, как бы это закончилось, но на этом моя учёба в школе фактически завершилась – нас вызвали в обком комсомола.

Круглые, карие, горячие до тари

В ноябре 41-го в класс пришла Марта – девочка, эвакуированная с Украины. Ни Беатриче Данте (я уже прочитал «Божественную комедию», правда, в плохом переводе Ольги Чуминой), ни Лиля Маяковского, ни Татьяна Пушкина не могли сравниться с нею.

«Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете...» красоты украинской девушки. Под шёлковой каштановой шапочкой волос, увенчанной толстенной косой, открывался высокий чистый лоб, отчерченный чёткими полумесяцами бровей. Длиннющие пушистые ресницы оттеняли огромные карие глазки. Высокие скулы, как у Джулии Робертс, бледные щёки, Неёловские губы, только ещё красивее и розовее, фигура и стать Улановой... Моё перо непрофессионального литератора описать эту красоту не в состоянии.

Она затмила и Люсю Горхивер, и её сестру, да и всех девушек и нашего, и всех других классов. Даже Ларису Николаевну. Разумеется, надеяться на её взаимность мог только Борис Потупов. В крайнем случае, Вовка Шур. Не я, с моим низким лбом и... «Если у Мотеле что большое, то это только нос». Остальное не считается. И я страдал. Был грешен. И завистью, и желанием

смерти соперникам. Однажды, выбираясь из поезда, мой товарищ по овладению премудростями железнодорожной науки попал между буферами сцеплений. На мгновение они сдавили его, а он в это время казался мне главным соперником, и я, да простит меня Господь, пожелал его смерти. К счастью, торможение закончилось. Буфера раздвинулись. Вовка остался жив, а на моей улице наступил праздник. Но до этого мы – мужчины нашего класса – стали рабочим классом.

И мы приходим на завод

В комсомол я вступил сразу, как только мне исполнилось 15 лет, 26 октября 1941 года. Много лет спустя дядя Миша сделал меня героем известного анекдота, утверждая, что, когда бабушка Сарра узнала, что я вступил в ВЛКСМ, она причитала: «Ох, этот Лёша! Вечно он куда-то вляпается, вечно куда-то вступит!».

В обком вызвали только «мужчин». Нам предложили идти мотористами на авиационный завод. Немедленно и добровольно согласился один я. Но попытки других продолжить учёбу были быстро ликвидированы предложением «положить на стол комсомольские билеты». Разумеется, согласие уклонистов было получено. Через несколько дней безо всяких проверок на наличие у нас родных – врагов народа мы были причислены к классу-гегемону.

Ездить на этот завод из Кривощёкова нужно было на «передаче» – так назывался поезд от нашего пригорода до Новосибирска. Вставать нужно было не позже пяти утра, идти пешком сквозь пургу и мороз на вокзал, трястись в ледяном вагоне, ждать холодного автобуса и работать в заснеженном поле, расчищая его. Но зато нам были сразу выданы ватники. Так что я избавился от позорившего меня романовского полушубка. Выдали не только куртки, но и ватные брюки. Даже через месяц, когда нас перевели уже на наш комбинат, обмундирование нам сохранили. Правда, ничего не заплатив за месяц работы. Но это не уменьшило моего патриотизма.

На комбинате меня назначили в лабораторию механических испытаний. Это было счастье. В лаборатории было тепло, а абсолютно женский коллектив всячески опекал меня. Увы, счастье продолжалось недолго. В конце месяца начался аврал – отправка сработанных снарядов на фронт. Из светлой тёплой лаборатории я попал в погрузочный цех. Тёплый, но полутёмный. На ручной конвейер – передавать снаряды из одного места склада в другой, где снаряды укладывали в ящики. Моего энтузиазма и сил хватило часа на четыре. Потом был перерыв с каким-то постным супом. И я свалился, уснув на каких-то ящиках. Кончик пальца Бога оберегал мой сон. Проснулся под утро и с удвоенным энтузиазмом включился в конвейер. Даже не покраснел за объявленную благодарность.

Так продолжалось месяца три. Но вдруг пришло избавление. Весной нас отпустили. В школу мы не вернулись, но начали ездить бесплатно в Новосибирск, на курсы по подготовке в МИИТ (Московский институт инженеров транспорта), дававшие право на аттестат 10-летки. Больше прогуливали. Но почти овладели началами высшей математики. Никакой другой, насколько помню, на курсах не преподавали, как не преподавали ни литературы, ни истории, ни географии. Главным предметом было черчение. Собственно говоря, это и есть моё самое наисреднейшее образование. Другого не получил. Да оно меня и не интересовало. Потому что Марта жила не в Новосибирске, а в Кривошёркове, а значит, увидеть её я мог, когда она возвращалась из школы, или вечером на тусовках, как теперь говорят, у Бориса. А там я, страдавший от комплекса неполноценности, стусевывался так, что отказывался целоваться с Мартой даже тогда, когда фортуна горлом бутылочки указывала на неё.

Но никто не знает трёх вещей: пути птицы в небе, рыбы в воде и мужчины к сердцу женщины.

Любовь

Старый анекдот: Франция. Мальчик спрашивает отца: «Папа, что такое любовь?» «Любви нет», – отвечает отец. «Но вчера нам читали в лицее повесть Тургенева «Первая любовь». Ответ отца безапелляционен: «Это русские выдумали, чтобы не платить женщинам деньги». Но хотя я генетически не русский, утверждаю: любовь есть. И это – самое главное, ради чего стоит жить и, если придётся, умереть, то только ради этой любви.

Марта вошла в наш класс в ноябре 41-го. Они с матерью, старшей сестрой и номенклатурным отцом были эвакуированы с Украины. И вошла любовь. Та любовь, которая бывает у каждого россиянина, – первая, светлая, чистая и... несостоявшаяся.

Нет, состоялась взаимность. Весной 43-го поздним вечером мы шли с тусовки у Бориса. Жили мы в одном доме. Её подъезд был ближе моего. Поэтому обычно я как бы и не провожал её. А так, по дороге. Но на сей раз осмелился. И у её подъезда напомнил, что она – моя должница. Задолжала она мне за «бутылочку» поцелуев десять. Долги были ликвидированы с процентами. Начались тайные встречи. Мы тщательно скрывали нашу любовь и от родителей, и от однокашников. А они в свою очередь делали вид, что ничего не знают.

Мы выбирали укромные места – ближний загород, пустыри, – а иногда, наши комнаты, если изредка оставались одни. И целовались, целовались, целовались. Не знаю, как у Марты, а у меня и мысли не возникало о другой близости, несмотря на опыт, который у меня был, пожалуй, у единственного из нашей компании. Наверное, это всё же случилось бы, но...

Разлука, ты, разлука...

Отец в конце 42-го был послан куда-то на Север строить новый оборонный завод. Обитатели нашего ковчега постоянно менялись. Родные отца получили жильё в другом доме (дядя Миля был действительно великолепный специалист). Тётя Сима куда-то уехала с дядей Лёвой, ненадолго приехавшим с фронта. Бабушка умерла. Тётки устроились на работу с жильем. А в нашей квартире, заняв самые большие комнаты, поселился суровый мужчина в полувоенной форме. И очень скоро он организовал нам разрешение на отъезд в Москву. Думаю, что об этом, если бы они тогда жили у нас, мечтали и Маркс, и Энгельс. Победа уже была реальностью. О Курской битве мы, разумеется, не знали, да и всё равно бы не поверили в другой её исход. Поэтому разлука с Мартой казалась не страшной. Кроме Марты, самым дорогим тогда были мои книги. А они оставались у Марты как основа нашей будущей наисчастливейшей семьи.

Потом был вокзал. Апрельский дождь. Бесконечные поцелуи, сладость которых я сохранил все четверо суток до Москвы.

Москва — как много в этом звуке...

Но в Москве, встретившись с моим первым другом, я немедленно, несмотря на комендантский час, отправился повидать мою «допервую» любовь — Валю Лобанову. Мой визит оценён был весьма негативно, и я на долгие годы забыл о своей детской мечте — нести её портфель. Лишь много, много лет спустя — нам было далеко за пятьдесят — она вспомнила обо мне, предложив поехать куда-нибудь отдохнуть вместе. Но тогда я был близок с... её дочкой.

Все годы войны несколько моих школьных друзей не уезжали из Москвы. Самым близким и самым серьёзным был Сашка (в его честь назван мой сын). Самым богемным был Виль, участвовавший в работе какой-то театральной студии. Самым деловым — Борис.

Сашка убедил меня продолжить учёбу. И мы ходили учиться в какую-то школу на Якиманке, в которой год засчитывался за два. Если учесть, что фактически в 8-м классе я учился лишь полгода, то стахановское прохождение 9-го и 10-го классов за три месяца могло бы войти в Книгу рекордов Гиннесса. Проблем с гуманитарными науками, правда, для меня не было, но алгебру на выпускных экзаменах за меня сдавал директор школы. Эх, тройка, птица-тройка, как я тебе благодарен! Аттестат был получен. Путь в науку — а единственной наукой тогда, какой я хотел посвятить жизнь, была философия — был открыт.

Этим я был обязан Борису. За годы лихолетья он собрал библиотеку, превосходящую на порядок мою, новосибирскую. Он показал мне путь в

букинистические магазины, и я быстро восполнил утраченные книжные сокровища. Книги почти ничего не стоили. На все деньги, которые присылал с далекого Севера отец, я накупал десятки и сотни книг. У меня были все (!) сочинения великих, вышедшие когда-то в издательстве Брокгауза и Эфрона. Все тома Льва Николаевича Толстого. Пять томов из 6-томника Достоевского (не было «Дневника писателя»). 8 томов Блока. Все дореволюционные издания Ахматовой, Гуро, Маяковского, Белого. Великолепное in folio издание «Ада» в переводе Лозинского. Мне шёл 17-й годок. Через 17 с небольшим лет, в период моей очередной неудачной влюблённости, я вновь вернулся к Данте:

Земную жизнь, пройдя до половины...,
Я продолжаю путь и не сверну.
Ни райские, ни адские картины –
Ни сердцу человека, ни уму –
В себе самих и ад, и рай таим мы:
То – бездны подлости и подвигов вершины.

Как не хранит скупец своё добро,
В подвалах памяти их бережно храним мы.
Но ночью понять – беспощадно, зло –
Терзает сердце нам неумолимо.
И не к кому усталое чело
Склонить.

А через 35 лет мне посчастливилось побывать в Италии. Равенна не входила в программу экскурсий. Но я всё же добрался до неё, помолился у могилы Данте и подумал об ожидавшей меня вечности у могилы Теодориха.

Но главными тогда были даже не Данте, не Блок и не Ахматова, а три тома великолепно переплетённого Фейербаха, несколько томов Гегеля, томик Шеллинга, «Пролегомены» Канта. Даже не могу теперь представить, какая каша была в моей голове. И поступать я решил только в МГУ и только на философский факультет. Хотя честно признаюсь, запомнить весь цикл «Кармен» или все «Чётки» мне было значительно легче, чем действительно понять страницу гегелевской «Философии истории» или полстраницы Канта.

Нужно было готовиться к экзаменам, но моё театральное прошлое – Пьеро – и Виль затащили меня в какую-то театральную студию. А оттуда – на экзамены в школу-студию МХАТа. Душа, по Высоцкому, «разрывалась напополам». В МГУ я сдал все экзамены довольно прилично, во МХАТе дошёл до третьего тура. Но вдруг случайно, как у Блока, – «Нас всех подстерегает случай», – узнал, что открылись при Главсевморпути курсы ПОЛЯРНЫХ работников! Разумеется, я немедленно поступил туда, на отделение метеоро-

логов. И через несколько месяцев должна была сбыться моя мечта – стать полярником.

Нужно было только взять аттестат из МГУ. А там в приёмной комиссии была очередная влюблённость, студентка 2-го курса. Дом её был недалеко от моего. Полагаю, что только это да моя библиотека заинтересовало её. Да и меня, несмотря на её красоту, больше интересовали её отец и его книги. Это было Евангелие, это была Библия. Разрешено мне было читать их только у них на дому. Не прошло и месяца, как я был крещён в какой-то домашней церкви. Не знаю, что это была за церковь. Поэтому на всякий случай, будучи в Израиле, окунулся в воды Иордана, осенив себя справа налево трёхперстным крестом и прочитав по-русски «Отче наш».

О стыд, ты в тягость мне!

Занятия в МГУ должны были начаться в октябре. Пока я иногда ходил на курсы. Но большую часть времени занимался бизнесом: мы с Вилем покупали днём «оптом», в упаковке по сотне – папиросы «Казбек», а вечером у кинотеатра «Художественный» продавали их в розницу. Прибавочную стоимость Виль тратил на краски (он был талантливый художник), я – на книги. Хотя мечтали мы о том, что купим себе приличную одежду. Периодически я встречался с моей «крёстной» из приёмной комиссии МГУ. Однажды моя мама достала нам билеты в оперетту. Было это уже после победы под Курском, после самых красивых салютов и, главное, после отмены комендантского часа. Достать тогда билеты в оперетту было несравненно сложнее, чем сегодня получить приглашение на встречу Нового года с Президентом. Но это была моя еврейская мама, которой потом, в 1944 году, удалось прорваться к своему Лёшику на форт «Красная горка».

Проблему отсутствия мало-мальски приличной одежды я разрешил, надев без согласия родителей отцовский габардиновый макинтош, прикрывавший часть обнажённого, прилипшего к позвоночнику животика. Полотняные брючки могли прикрыть или причинное место, обнажив при этом сантиметров на 20 тощенькие голени, или наоборот. Удовольствие от оперетты мы получили громадное. И не только от музыки и игры артистов, но и потому, что в антракте в буфете без карточек продавали солодовый напиток. Полагаю, что сладость ему придавал сахарин. Насладившись искусством и пьянящим напитком, мы пошли по ночной Москве. Я, разумеется, читал стихи, перемежая Блока с Маяковским, Пушкина с Баратынским, Есенина с Багрицким, Ахматову с Некрасовым. Хотя от театра оперетты до её дома в Трубниковском переулке было не так уж и далеко, но шли мы долго. Приближаясь к её дому, почувствовал непреодолимое желание. Но не поцеловать её, а, прошу прощенья, помочиться. Полагаю, что она испытывала то же самое. Поэтому, подойдя к

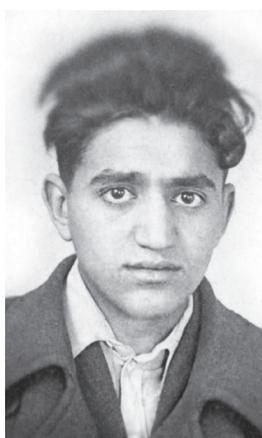
дому, сказала, что ей на минуту нужно подняться к себе. И когда она скрылась в подъезде, моё непреодолимое желание исполнилось. Мои штанишки были промочены тропическим ливнем. Понятно, что ни о каком ожидании моей попутчицы речи быть не могло. Я позорно бежал, как Гораций с поля боя. И больше никогда не видел мою очаровательную крёстную.

Юность

В сентябре 1943 года был объявлен призыв 26-го года. И отрочество закончилось. Я вступил в юность. Как в той пионерской песне: «Сотни юных бойцов...»

Храбрый Янкель

Так обозвал меня отец Марты, узнав о моём «героическом» поступке. А я мечтал. Не будучи идиотом, узнавший целомудренную и нецеломудренную любовь, был невероятно инфантилен, не понимая, что на войне ведь «...и вправду стреляют». В мечтах я уже видел себя в тельняшке, в надетой набекрень бескозырке, всерной автоматной очередью уничтожающего если не самого Гитлера, то уж точно Геринга как более удобную из-за его габаритов мишень. Полагал, что в райвоенкомате меня встретят с фанфарами и барабанным боем, немедленно выдадут все необходимые атрибуты матроса и немедленно самолётом отправят на самый ответственный участок фронта.



Оказалось же, что призыву я не подлежу, так как по незнанию в автобиографии написал не только о моём 10-летнем образовании, но и о том, что я сдал экзамены в МГУ и сверх того учусь на курсах полярных работников. Мои уверения, что без меня война затянется надолго, пробудили в военкоме сочувствие, и он таинственным шепотом сказал, что если я принесу справку о том, что нигде не учусь и не работаю, то он сможет помочь осуществить мою мечту.

Я достал такую справку, украв из маминих запасов два драгоценных куска хозяйственного мыла, обме-

Комсомолец-доброволец (сентябрь 1943 г.)

няв их на пол-литра водки, и вручив эту первую мою взятку нашему домоуправу. Путь к славе был открыт. Постриженный наголо, я обрадовал маму до обморока. Все её попытки доказать в военкомате мой обман не принесли желаемого для неё результата. И я, при росте 162 см и массе тела (весе) 54 кг (ровно в два раза меньше моей нынешней – 2004 год – массы), из которой большую часть составлял нос, был направлен в ряды дважды Краснознамённого Балтийского флота. Мои попытки совместить обе мечты – Арктику и фронт (я просился на Северный флот) – были безуспешными. Свободных вакансий на Севере не было. В моём вещевом мешке помимо вложенных мамой тёплых вещей и предметов гигиены были три книги: 3-й том Блока, 1-й том Лермонтова и «Бунт» из Роллановского «Жан-Кристофа». Разумеется, это были самые необходимые вещи воина.

Судя по единственной сохранившейся, карандашом написанной открытке со станции Вологда-2, в первых числах ноября 1943 года отбыл в Ленинград. Везли нас в теплушке. Суток трое. И очень скоро меня причислили к флотской элите, зачислив в школу связи им. А.С. Попова, в роту радиотелеграфистов.

Туре-точка-туре

О морзянке я, разумеется, слышал, как и знал (заочно) главного радиста нашей страны – Эрнеста Теодоровича Кренкеля. Но до морзянки было далеко. Вначале я хлебнул все прелести строевой подготовки, нарядов и караулов, драянья шваброй палубы, то бишь полов в казарме.

Как ни странно, но самой лёгкой для меня оказалась строевая подготовка. Сказались сибирская закалка и любовь к песне. На команду: «Запевай!» – я запевал одну из многочисленных дворовых песен. Знал я их на порядок больше, чем в спектакле Марка Розовского «Песни нашего двора». С песней действительно до немецкого кладбища (есть такое в Кронштадте) шагать было споро. Особенно если навстречу нашему строю шла женщина. Тогда я запевал любимую:

Ах, зачем ты меня целовала,
Жар безумной любви затая,
Ненаглядным меня называла
И клялась...

Я выдерживал паузу и выкрикивал: «Дуня!», а строй подхватывал во всю силу молодых глоток: «Х... на!». После чего я заканчивал: «...я твоя, я твоя». Песню, удваивая, утраивая, учетверя «Ах», можно было продолжать бесконечно.

Но женщина быстро оставалась позади нашего строя, и мы переходили на «пиратские» или сугубо патриотические песни.

Ползанье по-пластунски на немецком кладбище было не труднее последующей чистки шинели, отмывания и натирания дёгтем «говнодавов» (так мы

называли наши кирзовые ботинки) и надраивания зубным порошком наших «золотых» пуговиц. Терпимы были даже дневальства по камбузу – чистка до поздней ночи пары ванн мёрзлой картошки.

Но благодарностью (для меня – неблагодарностью) за моё запевание на марше стало унижение: при распределении постов в карауле меня назначали в офицерский гальюн! Меня! Исповедующего девиз ибсеновского Бранда «Всё или ничего!» Готового повторить подвиги вместе взятых Зои Космодемьянской, Гастелло и Гуманенко. И я менялся на любой пост, даже на изнурительный «Пост у знамени». Суть: два часа через шесть часов по стойке «смирно» у знамени нашей школы. Единственное послабление – приветствие офицеров «по-ефрейторски на караул». Попробуйте. Мало не покажется. Я выдерживал. И пару раз обмен мне удавался. Но командир смены (почему-то так назывался в учебном отряде взвод) разоблачил меня. И я был направлен в офицерский гальюн.

Брезгливо держа двумя пальчиками квач, я пытался устранить пятно нечистоты в этом тёплом, сверкавшем белым кафелем и почти стерильно чистом гальюне. Стоял я спиной к двери в позе датского принца, решавшего, «быть или не быть», то есть «восстать на море бед и кончить жизнь борьбою». И вдруг мне под ноги плеснули ведром воды. Обернулся на 180 градусов и понял, почему Лот (о нём я знал не из Библии – тогда я её прочитал только по диагонали, – а из стихов Ахматовой) превратился в соляной столб. Засучив рукава кителя, драил пол кто-то из главного офицерского начальства. Кажется, сам командир учебного отряда контр-адмирал Лежава. Остолбенение сохранилось и после того, как, выжав швабру, вымыв и вытерев руки, отвернув рукава кителя, офицер ушёл. Очнулся я уже на полу от звона в голове. То ли от звучащей стены, в которую влетела моя голова, то ли раскатов большого морского загиба командира моей роты. О том, что Маневич вынудил командира отряда драить гальюн, морской телеграф доложил по инстанции мгновенно. Кровь изо рта и раны на подбородке испачкала только что надраенный гальюн. Остался шрам, но главное, осталось глубокая благодарность морской науке: не бывает стыдной и грязной работы – руки всегда можно отмыть. Совесть – далеко не всегда.

Я – антисемит

Во всяком коллективе возникают элита и парии. Я входил в элиту, вместе с лучшим нашим танцором – Борькой Осиповым, самым сильным – Алькой Саламыкиным, самым красивым – Рэмом Расниковым и самым ловким – Колькой Бирючковым. Алька и Рэм были правофланговыми. Мы с Борисом и Колькой – почти замыкающими. На правом фланге был и некий Гусев, а предпоследним – Амусин. Они были позором нашей смены (взвода). Возвращение со строевых или полевых учений заканчивалось метрах в пятидесяти от ворот школы командой: «Строевым!». И мы, сжав зубы, распрямившись, отвертика-

лив винтовки, печатали строевым шагом эти 50 метров. Увы, Гусев и Амусин, завалив винтовки, едва отрывали ступни от брусчатки (Кронштадт вымощен ею). Строй возвращался к началу 50-метровой отметки. Раздавалась команда: «Смирно! Строевым!». И всё повторялось с тем же неуспехом. А ведь до обеда можно было ещё минут двадцать согреться в тёплом кубрике, точнее – в казарме. Эти 20 минут и крали у нас наши недотёпы.

Понять, что не всем дано, нам дано не было. Травили мы их по-страшному. Дедовщины в нашем славном учебном отряде не было. Все мы были одногодки. Наверное, спортсмены знают, что такое удар носком кирзово́й обуви по икроножной мышце. Гусев в строю был за Алькой, за ним – Рэм. На левом фланге за мной – Амусин. За ним – Борис или Колька. Дальнейшее объяснения не требует.

И вот однажды мне было приказано явиться к замполиту нашей школы – капитан-лейтенанту Аблину. Доложил о прибытии по форме и услышал: «Товарищ Маневич, вы – еврей?» Услышав мой положительный ответ, замполит сказал, что Амусин обвинил меня – не Осипова, не Расникова, не Бирючкова – в антисемитизме. Оказалось, что у нашего Амусина был старший брат, офицер, служивший в штабе Военно-Морского флота. Получив письменный вопль своего братика, приняв меня за белоруса (имя – Алексей, фамилия, оканчивающаяся на «вич»), он, видимо, доложил высокому начальству о сей официально осуждаемой идеологической диверсии. Нужно сказать, что на флоте наряду с Героями Советского Союза Гуманенко и Осиповым весьма чтили и Фисановича – первого нашего подводника, прорвавшегося на подлодке в занятый фашистами порт Петсамо и потопившего сразу два немецких транспорта. Убеждён, что недоразумение разъяснилось бы и без моего объяснения: строевые и полевые учения ещё больше втянули мои щёки, но уж совсем безобразно увеличились мой нос. И Амусина, а заодно и Гусева куда-то от нас перевели. И мы добились нашего долгожданного получасового продыха после строевых занятий. А уж пройти с песней 50 метров для нас, московских школяров, было как щёлкать семечки. Теперь, правда, говорят: «Как два пальца обо...».

Из ледяного плена

Помимо строевой, боевой и политической подготовки, нас, что тешило мои мечты, готовили почти в полярники. В доках Кронштадта ремонтировали корабли. Как делалось в Одессе, мы знаем от Бабеля. А вот как это делалось в Кронштадте: корабль вводили в док даже зимой, залив в док воду. Сколько-то воды удавалось слить. Остальная вода превращалась в лёд. И корабль, и дно дока обрастали его толстым слоем, как корабль капитана Гаттераса. Вот этот лёд мы скалывали. Я сразу же сверзился метров с трёх. Но моего энтузиазма это не остудило. До обеда, хотя болела нога, я орудовал ломом, таскал тачку со льдом кверху по сходням со дна дока и дошёл в строю запевалой до люби-

мого кубрика. По снятии робы было обнаружено, что моя нога превратилась в толстую колоду. В госпитале был обнаружен перелом. Как я теперь понимаю, поднадкостничный малоберцовой кости. Наложили гипс. И я попал в рай.

Не знаю уж почему, но положили меня то ли в офицерский госпиталь, то ли в офицерскую палату. Может быть, потому, что в госпиталь я захватил томик Есенина, выменянный мной незадолго до этого на буханку чёрного хлеба. Буханка была куплена на деньги, присланные мамой. Томик пошёл по рукам сестричек. Я же взамен получал дополнительную порцию каши. С маслом! По возвращении месяца через два мой «героизм» был оценён. И я, как герой Чехова, был увековечен в печати.

Примерный краснофлотец

Точнее, «Маневич – примерный краснофлотец» – так называлась заметка в нашей газете «За кадры», написанная командиром смены. Думаю, что это была попытка взятки. Случилось так, что, учитывая мои почти маресьевские и запевальческие заслуги, меня отрядили в хор. Самодеятельность – непрменный атрибут идеологического воспитания в вооруженных силах (и лагерях ГУЛАГа). Слуха у меня никакого. Поэтому хормейстер немедленно хотел отчислить меня. Но самодеятельность избавляла от таких нарядов, как чистка картошки и вечерние политзанятия. И я пошёл ва-банк, попросив разрешения выступить с моим коронным номером – чтением. Правда, вместо «Боя с барсом» из Лермонтовского «Мцыри», коим я завоевывал премии на районных конкурсах, я интуитивно прочитал «Вступление» к «Медному всаднику». Мои успехи на этих конкурсах и подготовка на театральное училище не пропали даром. Я был оставлен в самодеятельном ансамбле. Более того, я был назначен заместителем заведующего клубом, в обязанности которого входил допуск офицерского и старшинского состава на вечерние киносеансы. Командир нашей смены был всего лишь старший матрос. Поэтому попасть на эти киносеансы мог только с моего соизволения. Но между моим назначением и этой позорящей меня заметкой прошло почти два месяца. А за это время я открыл клад.

Мари Франсуа Аруэ Вольтер

Оказалось, что в учебном отряде есть прекрасная библиотека. Наверное, основанная ещё Великим Петром или его сподвижниками. Сколько я там ни бывал, никого, кроме старенького мичмана-библиотекаря, в ней не видел. «Она его за муки полюбила...». Он меня – за мою страсть библиофила. Я мог брать любые книги. И первой книгой был один из томов Вольтера. Издание конца XVIII века. В великолепном кожаном переплёте с золотым тиснением. Вольтера

я до того не читал. Поэтому сразу усвоил, не поняв иронии: «Все лучшее – в этом лучшем из миров».

И действительно, почти два месяца всё было прекрасно. Даже постоянное чувство голода отступило. Во всяком случае, оно не было столь мучительным, как в Новосибирске, когда голод умирался только «чаем» – кипятком, заваренный какой-то травой. Мой рекорд 13 стаканов на одну конфету-подушечку. Кормили нас в учебном отряде по тем временам прекрасно: 500 граммов чёрного, 400 граммов белого хлеба. Это к приварку. Да ещё 1200 граммов сахара, который, правда, съедлся немедленно, но всё же оставлял какой-то след, уменьшавший голод. Мы ведь росли. К демобилизации в 47-м я вырос со 162-х до 177 см. Правда, оставаясь в боксёрском разряде «пера» или «мухи».

Но возможностью пользования книжными сокровищами не исчерпывалась моя номенклатурная (пожалуй, единственная в моей жизни!) должность. Иногда мне давали билет на какой-нибудь концерт в главном клубе Кронштадта. И случилось чудо: мне и Борису Осипову (лучшему танцору нашей самодеятельности) дали билеты на концерт Утёсова. Это ведь не купить билет на какого-то Киркорова или даже на Маккартни. Но! Концерт был в часы обеда. Конечно, мы знали, что пайку хлеба, порцию второго и даже компот кореша для нас возьмут. Пропадал суп. А любая еда, даже сегодня, для меня – святое. Кто не испытал голода, не поймёт. Искусство требует жертв. Мы выбрали Утёсова. И не прогадали. Концерт был великолепный. Тогда я впервые услышал и с ходу навсегда запомнил: «Вдоль Кронштадта, вдоль Кронштадта взвод шагал...». Был убеждён, что это песня о нас, о нашем взводе, пусть он называется сменой.

Но и это было не всё счастье. В кубрик нам не дали подняться девчата – линейные связистки (были у нас и такие курсантки), дежурившие в тот прекрасный день по камбузу.нас едва ли не силой затащили в раздатку и выставили нам лужёный бачок, рассчитанный на 8 матросов, до краёв полный кашей из саго, заправленной банкой свиной тушенки. Хотя рассказывал в основном я, но Борис честно оставил мне половину бачка. Вкусноты и сытности это было необычайной. И всё же, поднявшись в кубрик, мы продолжили пир, съев принесённую корешами пайку хлеба, ту же, но крохотную порцию саговой каши с редкими вкраплениями тушёнки, запив всё это компотом. Рассказ о концерте продолжался после отбоя, едва ли не до утра.

Изгнание из рая

Наступала пора окончания учёбы. Мои и Бориса достижения в боевой и политической подготовке сыграли с нами злую шутку. Нам было предложено остаться в школе помощниками командиров новых смен (взводов). Это грозило тем, что подвигам, ради чего мы отказались от учёбы: я – в университете, Борис – в каком-то автомобильном институте – нам не совершить. В армии

подчиняются приказам. Казалось, выхода не было. Мечты рушатся. А мечтали мы, что будем воевать или на торпедных катерах (оптимальный вариант), или, в крайнем случае, в морской пехоте. Только грубое нарушение устава могло нам помочь. Была выбрана гауптвахта. О ней у меня были самые благоприятные впечатления. Я уже побывал на ней.

Отец моего друга Рэма был большой военачальник на 3-м Украинском фронте. По нашим письмам родители Рэма и мои познакомились и подружились. Поэтому, когда отец Рэма приехал в Кронштадт повидаться с сыном и получил разрешение забрать Рэма на несколько дней в Ленинград (по-нашему – в Питер), то прихватил и меня. Остановился генерал в гостинице на Садовой. Вверху – номера, внизу – гарнизонная гауптвахта. Немедленно мы отпросились в кино. На Невском в кинотеатре шёл какой-то цветной американский фильм. Но отец Рэма был не осведомлён о «протоколе» отпуска нижних чинов. На выходе из кинотеатра нас задержал патруль и препроводил на гауптвахту, коя находилась именно в том здании, где расположился генерал. Наши попытки убедить начальство гауптвахты, что мы не шпионы, не дезертиры, что посещали кинотеатр с разрешения генерала, воспринимались как плохой анекдот (не по Достоевскому). Правда, относились к нам абсолютно вежливо (вдруг мы немецкие резиденты!). Даже накормили и напоили. Лишь поздним вечером отец Рэма разыскал нас, и мы из полуподвала были подняты в наши номера, в бельэтаж. Так что воспоминания о гауптвахте у меня были самые приятные.

Было ещё одно полезное, но очень неприятное воспоминание. На следующий день пребывания в Ленинграде мы отправились в какой-то распределитель за спиртным, без коего генерал обходиться не мог. Выдали нам 4 (четыре) литровых бутылки водки. Ни современных пластиковых пакетов, ни авоськи у нас не было. Бутылки (по две) завернули в газетки, перевязав верёвочкой. Бутылки несли мы. Не генеральское это дело. И, разумеется, одна из моих бутылок выскользнула, разбившись вдребезги. Я знаю, умею и люблю пользоваться русским материальным языком. Но такого я не слышал даже от нашего старшины в 406-й отдельной роте связи, когда экипаж нашей доблестной рации вытаскивали из болота.

Я был отправлен восвояси. Рэм остался с отцом и больше не появился в учебном отряде, уехав на фронт, где начальствовал его отец. Хорошо быть генералом. Встретились мы с Рэмом лишь в 46-м году в Москве. Но это уже другая история.

Итак, задача была поставлена: попасть на «губу». Инструмент – русский материальный язык. Объект – командир нашей смены, пользующийся с моего соизволения незаконным посещением клуба. И в один прекрасный вечер я не пустил моего прямого командира. На его попытку «качать права» я послал его на... – самым коротким из известных мне материальных слов. Правоту мою подтвердил Борис. И мы, отсидев по пять суток, добились, как и герой велико-лепного артиста Ильина, желаемого. В учебном отряде нас не оставляли. Мы

написали рапорты с просьбой направить нас в бригаду торпедных катеров. И к взаимному удовольствию и начальства (судьба большинства команд торпедных катеров была страшнее судьбы попавших па гауптвахту), и нашего – мечта о подвигах начинала воплощаться.

А счастье было так возможно

В какой-то будочке у пирса нас встретил мичман, ожидавший кого-то из офицеров бригады торпедных катеров, базировавшейся, кажется, на Лавенсаари. Первое, что сделал мичман, – это приказал вынуть металлические обручи из наших бескозырок. С обручами они напоминали фуражки наших доблестных офицеров современной армии. Мичман даже прокатил нас по заливу на катере, видимо, проверяя на «вшивость» – толерантность к морю. Всё было в полном порядке. Ни рвоты, ни даже тошноты. Но через пару дней прибывший офицер изгнал нас из рая, заявив, что салажатам, то есть нам, лучше остаться живыми. Мы надеялись, что направят нас в морскую пехоту. Тоже неплохо для свершения подвигов. Но Бориса отправили на какой-то ПРЦ (приёмный радиопункт), а меня – на «героический» форт «Красная горка». Лишь через много лет «мы встретились и братски обнялись».

Почему я водовоз?

Кинокартину «Волга-Волга» нередко показывают на ТВ и сегодня. Так что объяснять термин «водовоз», да ещё наслышанным о водных кризисах, не нужно. Но для меня – это был удар «под дых». Оказалось, что направили меня не в героическую морскую пехоту, а в отдельную роту связи, в которой было не «100 мужчин и одна девушка», а 100 Дин Дурбин и всего 50 мужчин. Учитывая, что к последним формально относился и я, то термин «мужчины» следует понимать весьма условно. Хотя были и настоящие мужчины, которые могли бы играть даже в хоккей. Прекрасное, а женщины всегда прекрасны, смягчило разочарование. Война ещё не кончилась, а в жизни всегда есть место подвигу.

Рота соответствовала полку. В ней был даже собственный ПМП (полковой медицинский пункт) во главе с очаровательным врачом раннего балзаковского возраста. Рота обслуживала всеми видами связи какие-то части флота. Радисты несли дежурство в штабе, но жили в довольно приличных домиках километрах в семи от штаба. В один из таких домиков поселили меня. И на полатях русской печи (по случаю лета её не топили) я обнаружил клад – несколько десятков великолепных сухарей. Чувство голода было сильнее чувства мужского достоинства. Поэтому, получив разрешение очаровательной дневальной, мы съели сухари.

Наступили героические будни. Старшина роты – суровый Валя Мянт, говоривший медленно, с эстонским акцентом, объяснив мне «что есть что» и «кто есть ху», дал вводную: обеспечить штаб водой. Конюшня была рядом с нами, то есть километрах в семи от штаба. Обучение оседланию горячего коня заняло полчаса. Ещё минут двадцать я пытался сесть верхом. Но, к удивлению и зрителей, и самого себя, усидел и «поскакал». У штаба дислоцировалась водовозная бочка. Не помню кто, но помогли запрячь в неё лошадь, и я, не как дети на картине Перова, а легко доехал к источнику питьевой воды, наполнил бочку, распряг лошадь (даже без помощи) и, сев на неё, используя крыльцо как подножку, двинулся к конюшне. На полпути я понял, что терпение иссякло. Слез. Спустил штаны и увидел: внутренняя поверхность бёдер по виду и цвету полностью соответствовала виду и цвету задницы обезьяны-макаки. В раскоряку я всё-таки дошёл до конюшни. Больше я никогда не осмеливался ездить верхом, а запрягал лошадь в телегу и лихо, как на тачанке, мчался выполнять боевое задание.

На лесоповале

Приближалась осень. Наша славная рота готовилась участвовать в освобождении Прибалтики. Рации были смонтированы на полупушках, движение которых достигалось не с помощью бензина, а от газогенераторных установок. Кто их изобрёл, не знаю. Убеждён, что сам он долго не выдержал, если бы дышал газом, бившим из всех дырок этого изобретения. Печка вырабатывала нулевой газ, но с большой примесью фогена. Пожирала она берёзовые чурки. Рота была на самообеспечении. И, разумеется, обеспечить чурками могли только самые сильные мужчины. Таковыми были мы, салажата, – мой новый кореш Саша Суворов (со столь же мощной фигурой, как и его тёзка) и я. Нас отправили в какой-то лес, в котором берёз было гораздо меньше, чем осин. Ежедневно мы должны были добыть 8 (!) кубов двухметровых брёвен. Валить можно было только берёзы, помеченные лесником. Они были самыми тощенькими и почему-то росли в самых заболоченных местах. Но мы ежедневно выполняли задание. Нам ведь было легче, чем экам: и кормили нас «от пуза», и впереди нас ждал долгожданный поход. К тому же у нашего бивака были горы мин, снарядов и патронов. Вечером, выполнив боевое задание, наевшись досыта (коками были девчата из нашей роты), мы ложились за бруствер у одного края оврага, закапывали в противоположный склон мины, стабилизатором наружу, и взрывали их, если удавалось, трассирующими пулями.

Дней через десять вечерами я начал кашлять. Потом кашель стал заканчиваться мокротой. Потом мокротой с какими-то красными прожилками. Иногда кашель был очень сильным, иногда совсем пропадал, особенно если я меньше курил (курить я начал едва ли не с первых дней войны). А с окончанием заготовки древесного бензина и началом похода кашель и вовсе прекратился. Перханье – не в счёт.

Пошёл купаться Веверлей

Считалось, что конечной цели движения колонны мы не знали. Это была военная тайна. Но это был секрет Полишинеля: двигались мы к Нарве по рокадной дороге. Местами через болота, по гатям (термины «рокада», «гать» см. в словаре). Одна из наших полуторок подорвалась на mine. Нашу полуторку («принцип домино») опрокинуло на бок в болото. На меня навалился водила, а мою голову стала заливать вонючая болотная жижа. Водила вылез сам. Меня из кабины и девчат из кузова вытащили. Но встать я не мог. Ноги не двигались, и меня быстро перенесли в полуторку, где был наш ПМП (полковой медицинский пункт), возглавляемый капитаном медицинской службы. Капитан этот была женщиной. Возраста и внешних данных, идентичных возрасту и данным Галины Николаевны (см. выше). Боли в спине были терпимыми. Сколько мог, сдерживался. Кричал только, когда подбрасывало на ухабах. И как я теперь понимаю, врач сделала инъекцию морфина. Сколько я проспал, не знаю, но, проснувшись, почувствовал распирающую боль внизу живота. Морфин сделал своё дело. Мочиться я не мог. Наша очаровательная врач решила мою проблему способом, описания которого я не нашёл потом в специальной литературе. Вероятно, это восстановило и движение в ногах. Но из походного лазарета меня не выдворили. Взятие Нарвы прошло без моего участия, а лазарет мне было разрешено покинуть только в Таллине, куда мы вошли 23 или 24 сентября 1944 года.

Всем доставит переписку аккуратный почтальон

Разместили нашу роту километрах в 12 от Таллина, в Меревели-Саадам, на дачах Белогвардейского эстонского корпуса. Фактически на курорте. Дежурства на радиостанции перемежались с патрулированием вокруг штаба или в Таллине. Изредка у Меревели в нас постреливали. Думаю, холостыми. Но особой вражды не ощущалось. Однажды нас даже крепко выручили. Мы с Сашкой Суворовым, патрулируя в Таллине, очутились у горящего дома. Немедленно полезли на горящий чердак, поставив автоматы у входа. Быстро задохнулись и были выгнаны подоспевшими пожарными. Автоматов у входа не было. Что нас ожидало, могут понять только служившие в те суровые годы. Обошлось. Какой-то эстонец сберег и вручил нам наше боевое, ни разу не использованное оружие.

Наши обошлись со мной поуже. В награду за мое увечье мне доверили получать почту. Приходила она в Таллин, куда нужно было добираться на попутной машине. Заодно мне доверяли купить в открывшемся коммерческом магазине нашу любимую, белоголовую. И я честно доставлял радость моим непосредственным и опосредованным командирам. Зато я мог посещать букинистов. Именно тогда я приобрёл первую запрещённую литературу (не считая про-

читанного в Москве Евангелия). Это были детективы Брешко-Брешковского и неурезанные «Марсельцы» Феликса Гра. Мои любимые Робеспьер и Сен-Жюст оказались вовсе не такими добродетельными борцами за счастье человечества!

Понял я и то, что дореволюционная надпись на воротах Летнего сада в Санкт-Петербурге «Матросам и собакам вход воспрещён» – не миф, а реальность. В это время в Таллине появились коммерческие магазины. Но оказалось, что мне, краснофлотцу, вход в сей продовольственный рай разрешён только в строго обозначенные и лимитированные часы. Разумеется, сие была тайна великая. Посему я вошёл в неположенные часы, был задержан и препровождён на гауптвахту. Это была длинная комната с одним окном. На 20 квадратных метрах разместилось человек 30 – солдат (много) и матросов (мало). Как почётному меньшинству, место мне было предоставлено у окна. Вскоре в камеру втокнули солдатика. Задержали его из-за того, что он перебежал в накинутаой шинельке из одного здания в соседнее. Приказ его командира обычный: «Одна нога здесь, другая там!». Солдатик плакался: «Разве же это справедливо? Командир же приказал!». Из глубины камеры раздался хриплый голос: «Ты что, мудака, в армию пришёл справедливость искать?». Запомнил. Обдумал. И вскоре принял как руководство к действию. Ожидавшие получения горячительных напитков быстро освободили меня из узилища. А вскоре за точное и бескорыстное служение флоту я был награждён – направлен в спецкоманду получать в Америке корабли по ленд-лизу.

Разменяйте 40 миллионов

Добирались мы (нас было трое из разных частей флота) из Таллина до Питера самостоятельно. Главным образом, на товарняках, в вагонах, гружённых обледенелыми брёвнами. Стены вагона спасали от ледяного ветра. От ледяного холода – так называемые «подарки»: пакет с одеколоном, зубным порошком и зубной щёткой. Одеколон – «Гвоздика» или «Резеда» – разбавлялся водой ровно пополам и отогревал наши души и тела.

Из Ленинграда нас направили в Кронштадт на базу подплава. Там нас обследовали. Здоровье в расчёт не принималось. Главное – отсутствие порочащих связей с врагами народа и шпионами всех стран, особенно стран-союзниц. Не прошло и пары месяцев, как нас сочли достойными представлять наш флот за рубежами родины. Выдали специально пошитые форменки (не из фланели – из сукна! Большая редкость по тем временам), расклешённые брюки, бушлаты и хромовые ботинки. Ну как не обмыть эту красоту? И я предложил: «Махнём в Рамбов!». Рамбов на нашем сленге – Ораниенбаум, уже освобождённый от фашистов. Зимой (дело было в конце марта) от Кронштадта до Ораниенбаума можно добраться по льду, через форты. Сказано – сделано. Как это у открытого вскоре Киплинга в «Боливаре»: «Нас было отчаянных семь ребят».

До Ораниенбаума мы добрались благополучно, с сугревом у корешей на фортах. Там мы скинулись. Хватило на «одну поллитровку». На всех. Если разделить, то получится по 70 мл. А ведь все мы получали ежедневно «свои фронтовые 100 грамм». Вроде бы привычные. Но, «анализируя» потом цепь последовавших печальных событий, вспомнил, как однажды я опозорил отца. В эпоху моего служения на форт «Красная горка» отец начал что-то строить уже не на Севере, а под Ленинградом. Через какое-то военное начальство – отец был невероятно компанейский человек и отличный преферансист – он добился для меня увольнения на пару суток. И мы встретились у его знакомой. Она была большим человеком – заведующей одной из аптек. Поэтому встречу мы смогли отметить, как положено мужчинам. Был выставлен спирт и стограммовые гранёные стопки. Отец свою наполовинил спиртом, разбавив его водой. Я же гордо заявил, что спирт пью неразбавленным (нам иногда вместо водки давали по 50 граммов спирта, как понимаю, достаточно обкраденного) и выпил. Пить я не умел (и не умею). Поэтому за глотком спирта глотнул воздуха. Начался бронхоспазм. Ожил, но урок запомнил.

В общем, «зайчишки захмелели» и на мой призыв: «Махнем в Питер!» – трое проголосовали «за». В Питере была у меня знакомая – по переписке. Я уже упоминал, что однажды ко мне на форт прорвалась мама. По дороге из Москвы в Ленинград она познакомилась с какой-то милой ленинградкой, возвращавшейся из эвакуации. И несколько дней, пока не добилась разрешения навестить меня, пользовалась её гостеприимством. Мама уехала. Адрес остался. А письма я писать любил. В госпитале помимо ежедневных четырех-восьми писем Марте я писал ещё столько же за моих однопалатников. Вот и этой маминной знакомой я писал. Реже, чем Марте, но достаточно часто. Особенно после получения её дарственной фотографии. Был повод и была возможность предстать перед этой заочной знакомой во всей морской красе.

До Ленинграда мы доехали, заблокировавшись в туалете. Там наши пути разошлись. К счастью, мы обменялись адресами. Я направился к своей заочной знакомой на набережную (помню до сих пор) Мориса Тореза. Уж не знаю, как она теперь называется. Увы, моя знакомая оказалась замужней женщиной, писавшей мне лишь из сострадания к одинокому фронтовику. Выход был один – идти к очной знакомой отца. По счастью, догадался оставить мой новый адрес для корешей. Добрался. Был накормлен, обогрет, напоён и уложен в тёплую постель. О дальнейшем лучше меня написал Высоцкий: «Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей! Только помню, что...». Помню только нары в ледяной теплушке. Костёр на её полу и вызволение из теплушки после скандала, устроенного железнодорожниками.

Трое суток самоволки начисто выпали из жизни. Рассказываю со слов нашедших и доставивших меня в спецкоманду, двигавшуюся эшелонам к месту назначения. Эшелон мы нагнали уже под Вологдой. Хотите верьте, хотите нет, но рапортовал я командиру эшелона капитану III ранга по фамилии Пивень

(помню всю жизнь!): «Товарищ капитан III ранга, Маневич прибыл с Одессы и разменял 40 миллионов». Немая сцена, достойная «Ревизора», закончилась помещением меня в теплушку, заменяющую в пути следования гауптвахту (не чета кронштадтской, питерской и таллинской).

Я помню тудки на вокзале...

Так я написал в одних из своих виршей. А было это так. До Владивостока эшелон продвигался более месяца. На запасных путях в Новосибирске мы стояли почти сутки. И я дозвонился. Марта пришла на вокзал. Были объятия, поцелуи, слезы, обоюдные клятвы верности. Напомню, что вольно или невольно, но в моём анамнезе были наша врачиха и папина приятельница. Через несколько месяцев я узнал, что и Марта в момент нашего свиданья уже была замужем и немножко (на пятом месяце) беременна. Но тогда счастье было абсолютным.

В Иркутске или в Чите нас даже избавили от вшей, попарив в бане. Так что по прибытии во Владивосток мы были готовы к визиту в США. Увы, после построения был зачитан приказ, по которому 28 нахулиганивших во главе с главстаршиной Антоновым (28 гвардейцев антоновцев – не панфиловцев!) были отчислены из спецкоманды и отданы под трибунал. До этого нас поместили на гауптвахту. Приближалось возмездие.

Но я уже писал, что на моей судьбе Бог держал кончик пальца. Это был май 1945 года. Пришла Победа, а с ней – амнистия. Мне повезло. Я, наконец, попал на корабль, став настоящим матросом. И вновь был готов к подвигам. Жаль, что война с Японией закончилась слишком быстро. Мы стали в Комсомольске-на-Амуре, где предстояло улучшить наш славный СКР (сторожевой корабль-разведчик) по имени «Буревестник».

Начни сначала, начни с нуля

Слава отчаянного балтийского матроса обогнала меня. Нужно было подерживать, как теперь говорят, имидж. И всей своей мощью стал участвовать в битвах «русских» (героический Тихоокеанский флот) с «кабардинцами» («лягушатники» Амурской флотилии). Так что Комсомольско-на-Амурской губы было не миновать. Но три новости – две хороших и одна плохая – спасли меня и от гауптвахты, и от проломленного черепа.

Начну с плохой. Наша школьная подруга – Эра Рыжих – сообщила о мужестве Марты, о родившейся у неё дочке, о том, что она «сама пережила тяжёлую драму, но теперь проходит мимо него (изменщика коварного), как гордая креолка». Выход был понятен – покончить с этой неудавшейся жизнью.

К счастью, единственный револьвер хранился в сейфе на ПРЦ. Добраться до него я мог только на дежурстве. А дежурили мы по двое. И мой новый друг Миша Светов выбил у меня пистолет, заодно и пару зубов. Я остался жив. И, вспомнив Пушкинское «Желанье славы», решил отомстить достойно: «Пусть имя моё прочитают в учебниках дети».

Спасший меня друг был на 7 лет старше и учился на заочном отделении исторического факультета Хабаровского пединститута. В январе начиналась выездная сессия и приём на заочное отделение. И я начал готовиться, правда, без особого энтузиазма. Мешало то, что директором судостроительного завода был бывший жених моей мамы. Мне не нужно было ходить в самоволку, я стал желанным гостем в их доме, фактически на официальных правах, уходя из отряда, когда хотел и куда хотел. А хотел я в дом, где жил сын главного инженера: у них была приличная библиотека, а в ней – томик стихов Киплинга. Так что до января было время и для самообразования, и для усовершенствования моих радиотехнических навыков, и для самовыражения: я начал сочинять вирши, считая это поэтическим творчеством.

Одно омрачало мою жизнь. У нашего флаг-связиста было два поросёнка – «большенький» и «меньшенький», как называл их хозяин. Жирок они нагуливали в сарае, отапливаемом печкой, – шифер, обмотанный никелином. Никелин перегорал. И наш главнокомандующий всей связью звонил на вахту: «Связисты! Большенький-то ничего, а у меньшенького зуб на зуб не попадает». Из тёплого помещения приходилось бежать в холодный сарай и соединять оборванную проволоку. Закончилось это моим позором, разрушившим имидж доблестного балтийца. Новый год семейство флаг-связиста решило отпраздновать меньшеньким. Среди матросов нашёлся профессиональный резник, из какого-то украинского местечка (разумеется, еврей). В помощники выделили меня, полагая, что балтийский матрос, уничтоживший не одного фашиста, сможет выполнить и сие смертоубийство. Отступать было некуда. И я поплёлся к сараю. Резник, вооружившись длинным тонким ножиком, приготовил соломку, чтобы опалить тушку, вытащил визжащего поросенка из сарая и отдал команду: «Держи задние лапы!». Черенком ножа он ударил поросёнка в грудь, в область сердца. Сердце поросёнка и моё выскакивало из груди. Отвернувшись, я кричал, чтобы он не убивал. Но мавр сделал своё дело. Поросёнок был транспортирован в квартиру нашего начальника.

Нам накрыли стол: пол-литра водки, свежезажаренная кровь и пара солидных кусков поджаренной свинины. Хозяева скромно удалились, дабы нас не смущать. Рюмку я выпил. Но попытка закусить выставленными деликатесами окончилась приступом тошноты. Нет, я очень любил свинину. Когда в 1939 году мы стали богатыми, то пару раз в неделю меня кормили свиниными отбивными. Но есть «меньшенького»! И я стал канючить, что, мол, неудобно, давай уйдем. И мы ушли, оставив невыпитой водку, несъеденной свежатину. Я до этого не знал, что верующие евреи и татары не едят свинину.

Начальством это было также расценено как моя национальная особенность, и на митинге, посвящённом дружбе народов, мне пришлось выступить от имени всех евреев. Почти Михоэлс. Все выступления начинались со слов: «Я сын великого такого-то народа...». Я начал так же, вызвав смешки. Современной статистики о количестве и процентном соотношении героев, орденосцев и тому подобных доказательств величия своего народа я не знал. Не знал я даже того, что евреем был Иисус. Основными аргументами были имена Маркса, Эйнштейна, Фисановича и Кагановича. Смешки прекратились, а меня усадили в президиум митинга.

Так говорил... Дизраэли

Сразу после Нового, первого послевоенного года началась выездная сессия Хабаровского пединститута. Я был зачислен без экзаменов и очень легко сдал какие-то четыре предмета за 1-й семестр, получил зачётку и стал полноправным студентом. В награду бывший жених мамы, а теперь директор нашего завода организовал мне командировку в Москву. Ему был положен сопровождающий. И мы (помимо меня его сопровождала аристократическая жена) поехали. В международном вагоне. Так тогда назывался вагон СВ. И это был не современный вагон, в котором просто убраны верхние полки. Нет, это был вагон со старинными купе, стены которых были обшиты красным деревом, между двумя купе был туалет, а главное – в купе была полка для багажа, на которой я и провёл 9 суток от Хабаровска до Москвы. Ехал в этом вагоне я на полузаконных основаниях. Литер мой был в другой, бесплацкартный вагон.

Москва приняла меня в свои объятия. Мой героизм был по достоинству оценён моими друзьями. Правда, не было уже Бориса. Не было и моей библиотеки. Борис умер от чахотки. А его родители, пытаясь спасти (тогда только-только появился стрептомицин, стоивший столько, сколько сегодня стоят новые лекарства) сына, продали и его, и мои книги. Друзья водили меня на студенческие вечера в своих технических институтах, родные прикармливали меня, отрывая крохи от своих карточек, двоюродный брат водил даже в коктейль-холл на улице Койкого, поразив меня «Тараном» и «Маячком» (были такие коктейли). Но мама превзошла всех. В этом голодном 46-м году она накрыла стол для всех моих друзей. Накормить в то время более 20 молодых человек было архитрудно. Но это была моя мама. И за два дня до отбытия к месту службы мы собрались, как во времена моих детских дней рождений. Будущее казалось прекрасным. Мы были молоды, здоровы и веселы.

Грустил только наш прославленный Буратино – Лилька. Тайна была раскрыта, когда я провожал её ночью домой. Оказалось, что она, будучи незамужней, беременна, на седьмом месяце. Кому это интересно сегодня? А в тот год усатый пахан издал закон, по которому в метрике ребёнка матерей-одиночек, в графе «отец» ставили жирный прочерк. Судьба таких детей, как нам представля-

лось, будет похожа на судьбу героя фильма «Без вины виноватые», вышедшего в те годы на экраны.

Да простят Ильф и Петров плагиат, но я, как Остап, часто сообщаю: «Как говорил мой соученик по гимназии...». В данном случае – соученик то ли по Итону, то ли по Оксфорду – цитируется лорд Биконсфильд (он же Дизраэли): «Никогда не следуй первому велению своего сердца, ибо оно всегда благо-родно». Именно так я, по глупости, и поступил, предложив утром идти в загс. Прочерк был ликвидирован. Отец временно проклял меня. Мой друг Рэм, уже демобилизовавшийся в то время, пытался объяснить доступность моей официальной супруги. Но поезд ушёл.

Эта история закончилась лишь в 56-м году, когда из лагеря вернулся её отец, один из немногих оставшихся в живых сподвижников Блюхера. Случилось так, что после моей демобилизации мы развелись. Я обещал, что расходы по разводу будут сделаны мной. Но как-то всё откладывал и откладывал оплату. И однажды, при очередном напоминании о необходимости окончания брако-разводного действия, сказал, что я не тороплюсь. Моя официальная супруга пригрозила, что в этом случае потребует алименты. Ах, так! И почти 10 лет моя стипендия, а потом зарплата уменьшалась ежемесячно на 25%. Узнав об этих алиментах, проклятие отца (не моего, а её) поразило мою бывшую супругу. Надеюсь, временно. И последующие почти 20 лет я получал всё увеличивающуюся зарплату полностью. До очередных алиментов. Я никогда не видел её сына, да и Лилию видел лишь незадолго до её ранней смерти. Ни она, ни я, ни в чем не винили друг друга. Правда только единственной не бывает. Лилия сделала всё для блага ребёнка, я – отмаливая свои грехи.

На корабль я возвращался в купированном вагоне (мама тайком от отца купила билет). Ехал я с двумя молодыми лейтенантами. Ехали мы (они до Читы, я до Хабаровска) весело и дружно. Пока были деньги, выпивали, рассказывали байки, я – анекдоты. Знал я их чуть меньше Юрия Никулина, но без записной книжки. Вот один из анекдотов:

Рузвельт, Черчилль и Сталин едут в автомобиле. Дорогу преградила ко-рова. Рузвельт обратился к ней с просьбой уступить дорогу, обещая мешок кукурузы. Корова не согласилась. Черчилль предложил тонну моркови. Корова отказалась. Но когда диктатор что-то шепнул ей, корова немедля отступила. На вопрос Рузвельта и Черчилля, что же он шепнул, последовал ответ: «Отправлю в колхоз».

Выходя в Чите, лейтенанты с голубыми петлицами сказали мне: «Лёха, тебе повезло, что ты ехал с нами. Подрезать бы тебе язык!».

Но Бог не только в этой поездке оберегал меня. Вопреки запретам я вёл дневник, который по приказу замполита уничтожил. Хочу надеяться, что он это приказал не ради себя, а ради меня. Ведь пострадать за антисоветчину он мог пострашнее меня. В дневнике были стихи. И сугубо патриотические – о нашем славном корабле, – и абсолютно антисоветские. Хотя я был, как ни стыдно в

этом признаться, абсолютным сталинистом. Почему писались вирши об ощущении несправедности происходящего, не знаю. Наверное, это шло от Блока, хотя томик его стихов, взятый на фронт, давно был утерян. Вот такие вирши:

*В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос.*

Александр Блок

Правое стало неправым,
Христос продаёт Иуду,
В пожаре земли кровавом
Идиоты творили чудо:
Вырвали сны и надежду,
Распяли замученный смех,
В пурпур одели невежду,
В правах уравнили всех.
Смотрят глазами пустыми
На указующий перст,
А скорбная мать – Россия –
Несёт на Голгофу крест.
Несёт без слёз и без жалоб...
Россия смертельно устала.

Хабаровск, 1946 г.

Корабль ремонтировался

Служба, если это можно назвать службой, продолжалась. Но большую часть времени я проводил в библиотеке завода. Попутчики рассказали, что есть приказ, по которому педагоги, врачи и агрономы досрочно демобилизуются из армии. Война закончилась. Подвиги я не совершил. Значит, оставалось одно – внести достойный вклад в мировую цивилизацию. В армии в мирное время этого сделать нельзя. Значит, нужно получить высшее образование. Смог же Ульянов сделать это за два года. А чем я хуже? И я начал грызть гранит науки. Мою энергетику, как теперь говорят, поддерживала хозяйка библиотеки. Грехопадение совершилось и совершалось на крутом берегу Амура. Дома у неё был сын, очень похожий на сынка моей первой Евы. Казановой я не был. Просто библиотеку, кроме меня, никто не посещал. Так что миф о самой читающей стране мира – только миф!

Во всяком случае, флот – и в Кронштадте, и в Комсомольске, и во Владивостоке не был самым читающим в мире. Читались только скучные конспекты

политинформаций, коими обеспечивало политуправление. Я был всего лишь старший матрос, но, учитывая моё редкостное для рядовых стремление к знанию, мне доверили проводить эти скучнейшие обязательки. И однажды я едва не погорел. Мне и моим корешам было скучно до одури. И я читал то, чем был особенно увлечён, увлечён я был Ибсеном, дореволюционное издание которого было в библиотеке главного инженера. И вот однажды я вместо положенной тягомотины читал им вслух «Когда мы, мертвецы, пробуждаемся». На чём был застукан проверяющим. Выкрутился, объяснив, что читал сию драму как пример того, что при капитализме даже очень талантливые люди вынуждены отступить от светлых идеалов человечества. Вместо сурового разгона получил благодарность, и до самой моей демобилизации на всех накачках в политотделе моё жульничество стало положительным примером воспитательной работы.

В общем, я заработал и для себя, и для Михаила дополнительные 15 суток к положенным 30 для летней сессии. Правда, с условием, что в дополнительный срок не будет использоваться продовольственный аттестат.

Друга прикроет друг

В один прекрасный день мы с Михаилом прибыли в Хабаровск. Устроились в общежитии пединститута: мужская и женская комнаты по 30 человек в каждой. Между комнатами был проём. Без двери. Поэтому ночные дискуссии на темы типа «Гений ли Гитлер?» – велись без половой дискриминации. Но, несмотря на недосып, я шёл на рекорд. Ах, если бы теперь сохранилась моя тогдашняя память! Учебники по тем предметам, которых понять было не дано, я просто «фотографировал». Это были: учебник старославянского языка, «Введение в языкознание» Реформатского и двухтомный учебник немецкого языка. Экзамены по первым двум руководствам я сдал на тройку, а вот немецкий язык – на «отлично», поразив очаровательную экзаменаторшу выразительным чтением наизусть гейневской «Лорелеи». Но, сдав экзамен, я начисто забывал этот предмет. Из старославянского помню «Некий человек име два сына. И рече мений сын отцу: «Отче, даждь ми достойну часть имения своего...». Из всего могучего немецкого языка я помню только последние слова «Лорелеи» – «гевальтике мелодай».

За 45 дней в Хабаровске я сдал... 38(!) экзаменов. В иные дни я сдавал по три экзамена. В основном на тройку. Но большего для достижения поставленной цели и не было нужно. По всем литературам я получил «отлично». Кроме русской литературы XX века. Вопреки установившейся традиции, я определил отношение А.Н. Толстого к мелкопоместному дворянству как «весьма положительное», так как, честно признаюсь, ничего из этого цикла рассказов, кроме «Детства Никиты», тогда не читал.

Не знаю, когда и как появлялись просветы, но они появлялись. И я, искренне изображая разочарованного Вертера, почти нашёл понимание самой очаровательной заочницы нашего факультета – Наташи Шевченко. Помимо подготовки и сдачи экзаменов я писал вирши об её васильковых глазах: Если тошен становится свет, / Если хочется в сердце нож всадить / И в прощальный миру привет / Накипевшую злобу вложить – / Строго смотрят твои глаза / Васильки украинских полей, / Нож роняет моя рука. / И молюсь я за счастье людей.

Это была очень чистая влюблённость. Мы ходили вдоль берега Амура. Я читал прекрасные стихи (чужие) и свои вирши (плохие), в общежитие мы приходили поздней ночью и присоединялись ко всеобщей дискуссии. Мишка обычно уже спал и в спорах не участвовал. И спать было некогда, и есть было нечего. Продовольственный аттестат закончился. И теперь мы не могли получить даже малосъедобную чумизу (по виду – гречка, по вкусу – свинцовая дробь). У меня начала сохнуть и слезать кожа. Началась, как я теперь понимаю, пеллагра. Наташу я избежал, но упорно продолжал сдавать экзамены. Уже в полузабытьи удалось сдать историю СССР, методику преподавания русского языка и методику преподавания литературы. Дальше – «глиюки». И – счастливый сон: Мишка приподнимает мою голову и кормит с ложечки, переменяя сметану с мёдом, кусок свежего хлеба с салом и любимой пшеничной кашей с тушёнкой. Мишка продал свою форменную суконку, бережённую им на демобилизацию (в 1946 году исполнилось семь лет его службы, он был призван в 39-м году!). Я поправился. Мы вернулись в Комсомольск-на-Амуре, а оттуда осенью ушли к месту постоянной дислокации во Владивостоке. Корабль наш входил в группу дивизиона «плохой погоды». Кроме нашего «Буревестника» в него входил наш двойник «Альбатрос».

Я сделал это!

Стояли мы на заводе Ворошилова. Опять у нас что-то ремонтировали, что-то улучшали, что-то меняли. Так что единственной боевой командой была субботняя: «Механизмы осмотреть и повернуть». Остальное время заполнялось политзанятиями, дряньем всего металлического и проверкой уборки кубриков. Наш славный старпом, отослав дневального из какого-нибудь кубрика, прятал монетки, а потом, после окончания уборки, отыскивал их. Если находил, обитатели кубрика лишались увольнительных и повторяли уборку, пока все монетки не были найдены. Но мы были тоже не лыком шиты, перепрыгивали монетки так, что старпом, не находя их, постепенно зверел и изыскивал повод лишать нас увольнительных.

«Бахтериомахия», известная в древней греческой литературе как «Воина мышей и лягушек», шла с переменным успехом. Но закончилась нашей победой: старпом решил по нашему с Мишкой примеру получить «верхнее» образование.

А вот тут ему без меня было не обойтись. Поэтому он смиренно ждал меня за дверью кабинета, в котором я досдавал оставшиеся предметы, в частности политэкономии. Её я сдал, выучив наизусть учебник под редакцией Бухарина. Как ни странно, но во Владивостокском пединституте, куда я перевёлся из Хабаровска, учебник «врага народа» свободно выдавался в институтской библиотеке. Ждал меня старпом и во время моей педагогической практики. В 8-м классе я провёл урок «Лирика Пушкина», в 10-м – «Образ Давыдова», получив за оба по пятёрке. В общем, я был допущен и 13 января 1947 года (красный день календаря!) получил диплом и почётное звание «учитель русского языка и литературы». Более того, я получил направление в целевую аспирантуру на кафедру русской литературы XX века в МГУ, так как на этой кафедре пришли в восторг от моего плагиата «Новояз Маяковского», целиком сдутого с книги Катаняна «Неологизмы в стихах Маяковского». Нужно только добавить, что этот учитель русского языка государственный экзаменационный диктант писал дважды. В первом я сделал 13 (роковое число!) ошибок.

Ждать и ожидать – лучше некуда

Согласно директиве командования Тихоокеанского флота (персональная директива!) я был демобилизован. Но с подачи старпома командир, имевший на то право, демобилизацию задержал. Якобы для подготовки вместо меня, как незаменимого радиста, нового специалиста для моего персонального кабинета – радиорубки дальней связи. По прямому назначению этот наисекретнейший объект за всё время использовался однажды, в единственном нашем выходе со стоянки в море. Обледенев, мы быстро вернулись, так что я даже не успел дать сигнал о спасении команды: все мы лежали вповалку и травили (не байки).

В остальное время рубка использовалась мною для писания виршей и дневника, а старпомом – для насилования: мне приходилось готовить ему конспекты для сдачи вступительных экзаменов и делать вид, что я внимательно слушаю его ответы на задаваемые мной вопросы по этим конспектам. Зато свобода была полной. Я уходил с корабля и возвращался, когда хотел. Даже начал учиться классическим танцам в клубе моряков. Для этого на присланные родителями деньги купил в открывшемся коммерческом магазине хромовые полуботинки размером № 6. Размер был немецкий. Его соответствия нашим размерам никто не знал. Поэтому выбирался наименьший размер, в котором ступня казалась более изящной. «Даже мерин сивый желает жить изящно и красиво». Это было абсолютно необходимо: мне предстояло выступить на вечере в пединституте. А там была моя новая влюблённость – партнёр по обучению классическим танцам типа па-де-патинер. Вечер состоялся. Первую главу «Облако в штанах» я прочитал. Успех был полный, и я был удостоен вальсировать (умел только в одну сторону) с самой очаровательной студенткой.

Увы, не более чем через полчаса я познал, что такое «испанский сапог». Мои шевровые полуботинки давили не хуже металлических тисков. И я позорно бежал. Немедля, как только за мной закрылись двери института, я снял злополучные ботинки и босиком по обледенелому асфальту помчался к кораблю. От института (он на вершине сопки) до завода (внизу у набережной) – путь неблизкий. Но даже не чихнул и не заболел, хотя ничего для «сугрева» не было, кроме кипятку из титана (без заварки и без сахара). Больше в институте я не появлялся. Но поступил, благо экзаменов сдавать было не нужно, в другой институт, куда решил поступать мой рабовладелец – в филиал московского института «Цветмет и золото», на геологоразведочный факультет. Я даже сдал за себя и за старпома какие-то письменные зачёты и совсем было потерял надежду вернуться к установленному сроку поступления в аспирантуру, когда над моей головой сгустились нешуточные тучи: замполит приказал мне достать и отдать ему мой дневник.

На свободу с чистой совестью

Дневник хранился под крышкой плинтуса у входа в мою рубку. Знал о нём только Михаил. А мы после получения мною диплома почти не разговаривали. Винават был я, так как задираю нос, дразня его: мол, Ленин сдал экзамены за два года, я – за год и три дня, а он... Гадёныш я был ещё тот! И всё же много лет я был убеждён, что Мишка меня предал. Лишь в 60-х годах, в Магадане, я встретил одного из офицеров нашего корабля, который утверждал, что о моих стихах и дневнике знал и рассказал старпом. Может быть: я ведь не всегда исповедывал привинтить планку плинтуса к его приходу на «консультации».

О дневнике прознал замполит, приказавший выдать дневник немедленно. Приказ есть приказ. Я вынул дневник из тайника, отдал его и очень скоро получил приказ: «Дневник уничтожить. Дневника не было». Буквально через пару дней был издан приказ о моей демобилизации. Было приказано немедленно исчезнуть и не подходить к кораблю ближе, чем на морскую милю. Несколько дней я провёл во Владивостоке у знакомых корабелов, пока оформлял билет через Новосибирск (Марта уже развелась), и полностью ощутил прелести жизни на гражданке во Владивостоке. Утверждаю, что и 60 лет назад, в 1947 году, в его домах воды в кранах не было, а туалет в каменных (неодноэтажных) домах был на улице (или на чердаке!).

Через несколько дней я в четвёртый раз начал пересекать Россию. Теперь с востока на запад. Подъезжая к Хабаровску, я расстался со своей парадной одеждой и остался в робе, проиграв в преферанс всё, кроме военного и партийного билетов, продовольственного аттестата и, разумеется, диплома. В преферанс я умел играть с детства. Был убеждён, что играть умею. То ли не умел, то ли играл с профессионалами. Но остался не только без формы, но и без пропи-

тания: без формы аттестат почти нигде не отоваривали. Гордость просить не позволяла, и к Новосибирску я вспомнил тот голод, с которым навсегда у меня связано воспоминание об этом дорогом для меня городе. Марта уже жила не в Кривощёкове, а в самом городе. Отец её был директором какого-то учебного института. У Марты и её очаровательной глазастой (глаза были, к удивлению, точно «мои»!) дочки было аж две комнаты, и мы восполнили всё, что пропустили за эти годы.

Если бы не было нужно явиться к сроку для поступления в аспирантуру, жизнь бы, наверное, сложилась по-другому. Но и Марта, и её родители благословили меня на путь в науку. Даже дали на дорогу 400 рублей, 200 из которых мы проели пирожными на вокзале. Так что от Свердловска до Москвы я опять питался в основном кипятком. Но какое это имело значение! Это даже облагораживало, так как я почти уподоблялся Михайле Ломоносову или Некрасовскому босоногому пареньку. Впереди была Марта, Москва и русская литература XX века.

Шёл матрос с фронта

Поезд прибыл на Ярославский вокзал. У меня не было даже мелочи, чтобы доехать до дому на трамвае. И я гордо пошёл пешком. Путь от площади трёх вокзалов до Смоленской площади – неблизкий. Да и последние двое суток я ничего не ел. Но ведь «так закалялась сталь». Хотя вряд ли я бы выдержал длительную голодовку. Особенно «сухую». Мой самый главный порок – кревоугодие. Хотя я совсем не Ниро Вульф. Мне вполне достаточно – ржаного хлеба (правда, с маслом), чая вприкуску (лучший сахар – плотный рафинад) и, если повезёт, селёдки с луком. Но я терпеть не могу «зайцев». Мой первый конфликт с внуком, коего я не видел и о котором не слышал много лет, произошёл именно из-за того, что он не хотел платить за проезд, хотя уже стал старше «бесплатного» возраста.

Калачный (калашный) ряд

Возвращение блудного сына не отличалось от традиционного. Отец, всё ещё что-то строивший под Ленинградом, взял отпуск, мама приготовила крепкий куриный бульон и кисло-сладкое мясо; купила новую украинскую рубашку. Рукава были коротки – я ведь вырос едва ли не на 20 см. Тётя Еля на свой научный лимит купила мне полуботинки на микропористой резине. Дядя Миша подарил кожаный чемоданчик, в который, как предполагалось, я буду складывать свои научные труды.

Увы, научная Москва встретила меня совсем не соответственно тёплой майской погоде. В университете (принимал чуть ли ни ректор, кажется, брат тогдашнего партийного идеолога) мне было заявлено, что мест на кафедре русской литературы нет. Но в порядке исключения я могу попытаться сдать экзамен на кафедре фольклора (уж не помню, как она называлась тогда). Во-первых, я вовсе не был готов к тому, что нужно будет сдавать экзамены, хорошо понимая, что повторить сдачу немецкого языка не смогу. Во-вторых, посмотрев в зеркало, решил, что с моим носом ходить по деревьям и собирать частушки...

Решение было принято. Буду сеять «разумное, доброе, вечное». Мои успехи проведения двух уроков свидетельствовали (мне), что я готов к работе на ниве просвещения. И немедленно отправился в свою родную 93-ю школу. В те годы усатый разделил школы на мужские и женские. Ему ведь было нужно пушечное мясо. Моя школа была женской. У входа меня остановили две девчушки. Вероятно, восьмиклассницы. Они заявили, что эта школа для девочек, а не для мальчиков. На моё заявление, что я не мальчик, а педагог, они фыркнули: «Таких педагогов не бывает».

Мои неудачи обрадовали родных. Они стали меня уговаривать стать студентом. Особенно дядя, вспоминая о прелестях студенческой жизни, о возможности пойти с ним в горы (он был каким-то заслуженным альпинистом), о том, что я должен овладеть всем культурным богатством Москвы. Того, кто хочет быть уговоренным, уговорить легко. И если из меня не получился Белинский, то получится Обручев (кто в детстве не читал «Земля Санникова»?). Но ещё один плевок в душу (и не промахнулись) я получил в Институте цветных металлов и золота: меня отказались перевести без экзаменов с заочного на очное отделение. Рядом был Институт стали и сплавов. С макшейдерским факультетом. Не получилось открыть Клондайк на земле, открою под землёй (опять Обручев – «Плутония»). Но и там нужно было сдавать экзамены по каким-то предметам, кажется по математике, кою я после 7-го класса вообще не изучал.

Поэтому через Крымский мост я, весь израненный, возвращался домой. Москвичи знают, что у метро «Парк культуры» почти под мостом стоял и стоит самый номенклатурный институт. Тогда он назывался ГИМО (Государственный институт международных отношений). Не получилось стать Белинским или Писаревым, Песталовци или Макаренко, Обручевым или Ферсманом, но ведь могу стать Горчаковым или Литвиновым. И я зашёл в храм дипломатии. Поднялся в ректорат. Вот там я и узнал, что вход в сей институт не для простых смертных. Он был страшный. Меня сочли агентом иностранных держав. Вызвали вахтёра, на которого кричали, как на Привозе в Одессе. Вот тогда я навсегда понял нашу поговорку: «Не суйся с суконным рылом в калачный (по-московски – в калашный) ряд».

У зоопарка – медицинский

Так начинаются мои вирши, написанные онегинской строфой через 15 лет после окончания медицинского института. Профессия врача в отроческие годы была также непрестижна и даже неприлична, как сегодня профессия танкиста или инженера. А уж пойти по стопам деда и торговать (а какая прелесть сено!) – и помыслить было невозможно. Почему я и решил посоветоваться со старшим двоюродным братом. Виктор уже заканчивал третий курс мединститута и был секретарём его комсомольской организации. Договорились встретиться

днём (вечера, сами понимаете, у нас обоих были заняты) в его институте. И это решило мою судьбу. Институт размещался на Большой Грузинской улице (там теперь Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта), прямо за повалившимся забором зоопарка. В пруду плавали лебеди – чёрные и белые. Лебеди и радость при моём появлении членов приёмной комиссии решили дело. До этого я, забирая документы из МГУ, случайно попал в приёмную комиссию 1-го мединститута. Я и не думал ещё идти в эскулапы, но встретили меня, как пациента с полисом обязательного медицинского страхования в поликлинике Управления делами Президента.

Зато в институте у зоопарка я понял, что именно я, по их мнению, стану нобелевским лауреатом, решив сразу проблему рака, инфаркта и, в конечном итоге, бессмертия. Как я понял потом, так встречали всех демобилизованных. Причин было две: первая «мужчина пришёл». Тогда мужчины, даже только по вторичным половым признакам, были большим дефицитом, а готовить военврачей был обязан каждый мединститут. Вторая, не менее важная, – конкуренция с 1-м и 2-м мединститутами. Те уже тогда были номенклатурными. В них карьеру сотрудникам кафедр при соответствующих связях и не порочащем 5-м пункте было сделать легче.

Экзамены всё же пришлось сдавать. Демобилизованным было достаточно получить трояк, и практически все фронтовики его получили. В день последнего экзамена в Москву с отцом приехала Марта. Но лишь затем, чтобы сказать, что она вернулась к отцу ребёнка. Лишь много лет спустя я поехал в Ереван выступать оппонентом специально через Новочеркасск, где тогда жила Марта. Уже с другим мужем. Попал я не в самый хороший день: на похороны её отца. И старшая сестра Марты рассказала мне, что ни к какому мужу Марта не возвращалась. Просто её отец запретил ей выходить замуж за лицо еврейской национальности. Он ведь был из достойной советской номенклатуры.

Log 10 = ?

Учиться нам, демобилизованным, было очень трудно. По сути, все мы, родившиеся в 1925-1926 годах (поколения предыдущих годов были почти полностью уничтожены войной), в 8–10 классах не учились. С физикой и химией, а они тогда были едва ли не главными на первом курсе, вообще не были знакомы. Наш круглый отличник Веня Лирцман (потом замечательный профессор-травматолог) просто выучил наизусть, когда это понадобилось, таблицу логарифмов – от 1 до 100.

Но наш институт ещё сохранял хорошие университетские традиции: профессура полностью соответствовала «гамбургскому счёту». Так она оценивала и нас. Главными были жажда знаний, трудолюбие и доброжелательство – типичная старомосковская черта. Жена одного из доцентов, когда тот шёл при-

нимать экзамен, кричала ему (свидетельство однокурсника, жившего в том же подъезде): «Яша, так ты помни, что у тебя тоже есть дети!» И немедленно, уже на первом курсе, наши преподаватели называли нас «коллега».

В нашей славной 4-й группе было 30 студентов: 22 красавицы и 8 фронтовиков. Девочки опекали нас. Если бы не Лиля, я бы никогда не усвоил «теорему весов» и не сдал бы зачёт, а потом экзамен по физике. Сдать его я должен был с блеском. Ибо влюбился (без надежды на взаимность) в нашего ассистента на кафедре физики – дочку знаменитого в то время профессора Талалаева, одного из творцов современной ревматологии. Влюбился я в неё вопреки идиотскому принципу: не связываться с женщинами из более высокого социального круга. В нашей группе было несколько таких девочек. И очаровательных, и образованных, и интеллектуальных, о которых мечтали и русские, и германские романтики. Но, не дай Бог, княгиня Марья Алексеевна распустит слух о карьерной причине такой партии. Кажется, только самый красивый и самый талантливый из нас – Герд Кулаков – пренебрёг пересудами и женился на дочке одного из профессоров нашего института. Бескорыстие было многократно доказано его жизнью. И тогда, когда профессора – отца жены – выдворили из института, и тогда, когда этот профессор лежал парализованным, и тогда, когда жена Герда родила ребёнка с тяжелейшими пороками, и тогда, когда его жена заболела раком. Они прожили не очень долгую жизнь. Но прожили её достойно и умерли, если не в один день, то лишь ненамного пережив друг друга.

Через форточку не заражаются

Учиться очно было трудно. Но я влюбился. Помимо ассистентки на кафедре физики в главный предмет медицины – в анатомию. Заведовал этой кафедрой профессор Иваницкий, полагаю – один из основоположников культуризма. Кажется, он был автором руководства «Пластическая анатомия». Поэтому даже формализированные трупы не вызывали неприязни. Профессора мы видели лишь на лекциях. Группу вёл доцент. Почему-то все – и студенты, и сотрудники кафедры – его называли «Генашка». Через много лет я написал о его семинарах: «И с грустью ждал, когда журнал Генашка Павлов вынимал, и «деечки» (так он называл наших красавиц) вперяли взоры: кому сегодня кол хватать и полчаса мораль внимать?» Думаю, что ему не были чужды эротические желания по отношению к ним. Его первое замечание по поводу закрытой форточки (в анатомичке в сентябре не топили, а дни были холодными) было: «Сифилисом через форточку не заражаются». Не знаю, какое это имело отношение к анатомии, но к медицине – прямое. Это было усвоено на всю жизнь. Наверное, поэтому я терплю оксфордский холод, любимый моей женой.

Жизнь казалась прекрасной. Осенью отменили продовольственные карточки. В сентябре праздновали 800-летие Москвы. На Тверском бульваре мы – Лиля, Валя и я – встретили Аркадия Райкина с супругой и вручили ему цветы, кои я вообще-то купил Лильке. Но улыбка Райкина «дорогостояла». Тётя Еля подарила мне 4 тома анатомического атласа Шпальтегольца, а у Лильки был труднодоступный учебник анатомии Лысенко – Бушковича. Потом последовательность его авторов менялась в зависимости от того, кто становился заведующим кафедрой (входил в номенклатуру): Лысенко – Бушкович – Привес, а в конце – Привес – Лысенко – Бушкович. Суть учебника не менялась. Вообще, это знаковый принцип современной медицины: приписывать себя, ежели ты «выбился в начальники», к чужим трудам или если твой учитель скончался. У меня был сотрудник, написавший докторскую диссертацию под руководством и с помощью своего учителя (и не только его). Диссертация была плохая, хоть и посвящённая важнейшей проблеме неврологии. Ещё при жизни учителя в медицинское издательство подали заявку на монографию, авторами которой последовательно значились учитель и диссертант. По мере написания учитель читал и правил, но – все мы смертны – умер, не дочитав и не доправив. Как уж это удалось ученику, но, когда книга увидела свет, то последовательность оказалась изменённой: ученик, затем учитель. Монография дерьмовая. Полагаю, что учитель, дабы не позорить себя, вовсе бы вычеркнул своё имя, но, увы, таков «категорический императив» многих современных медиков (как обстоит дело в других областях науки, не знаю).

Сдав зачёты и экзамены за 1-й семестр, я изменил своим первым напарницам – Лиле и Вале. Валя влюбилась в Герда, Лилия не уступила моим сексуальным домогательствам, хотя всю жизнь утешала меня, что я был первым, кому она подарила поцелуй. Да и я влюбился в Аннушку, почти полностью соответствующую моему идеальному образу женщины – Марине Ладыниной. К сожалению, в дополнение к ней я вынужден был мириться с её напарницей, полной противоположностью моему идеальному образу.

Но я не только успел влюбиться, стать членом профкома, ответственным за культурно-массовую работу, но и пытался подвизаться на ниве науки на кафедре гистологии (наука о тканях). Кафедра эта была создана и сохраняла традиции замечательного учёного Румянцева, хотя в наше время её уже возглавил некий Студитский. С ним мы, к счастью, не общались. Науку мы – Герд, Вена и я – делали под началом доцента кафедры – Натальи Сергеевны. Я пытался выращивать кость на хорион-алантоисе (кажется, так) куриного яйца. Вырастить кость у меня не получилось. Но я научился не рвать, а развязывать шнуры. Как-то Наталья Сергеевна, увидев, как я рву не поддающийся моему темпераменту узел из шнурков ботинка, сказала: «Коллега, если не научитесь развязывать, а не рвать узлы, вы никогда не станете учёным». Узлы я развязывать научился и всегда развязываю. Хотя отнести себя к учёным могу с большой натяжкой.

Мичурин – ака, Мендель – кака...

В июне 48-го года мы успешно закончили 1-й курс. Герд, Венья и я даже более чем успешно – на все пятёрки. Даже по физике и химиям (неорганической и органической), не говоря уж об анатомии и гистологии. Я поехал на стройку к отцу под Ленинградом, а потом даже в санаторий (на родительские деньги) на Рижском взморье. По дороге со случайной знакомой истратил все выданные мне деньги на дополнительное питание. Питался только тем, что давали в этом санатории. Вечно ощущал голод, утверждая, что «Александра ела», «Марина ела», только я ничего не жрал. В Латвии улицы назывались тогда, наверное, и сейчас – йела. Но море, песок и несовершеннолетняя (увы) сестричка Вали (у их отца, профессора, была дача под Ригой) полностью возмещали этот недостаток отдыха. Ничто не предвещало августа 48-го года. «Ах, если бы это не август, проклятая эта пора!»

Мне ещё повезло. Я никогда не участвовал в травле Ахматовой и Зощенко. В 46-м, когда вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», я ещё служил во Владивостоке. Не знаю, почему, но эта гнусь прошла мимо. Не помню ни одной накачки на совещании в политотделе по этому поводу. Не знаю, как бы я себя повёл. Ведь я был солдатом партии. И – всё могло быть – несмотря на мою любовь к поэзии, я бы мог вместе со всеми подонками осудить эту «барыньку и блудницу» (кажется, так?). Не говорю уж о Зощенко. В моём детстве он был главнее Ильфа и Петрова, Гашека и даже Рабле и Свифта.

Но когда состоялся этот шабаш – августовская сессия ВАСХНИЛ, – мы (и я в том числе) испытали, если не радость, то огромное облегчение. Биологию проходили на 1-м курсе + 1 семестр второго курса. Первый курс закончился началом изучения генетики. Читал этот курс замечательный учёный, член-корреспондент Академии наук Виталий Леонидович Рыжков. Читал он вдохновенно, но, увы, для нас, никогда не изучавших в школе даже зачатки естествознания, термины «кроссинговер», «алаламорфные гены» были абракадаброй, которую нам понять было не дано. Поэтому, вернувшись в сентябре в институт, мы на ура, как всякие школяры, когда заболевает учитель, приняли биологию без генетики.

Не помню, добровольно или по принуждению, но мы присутствовали на учёном совете института, единодушно осуждавшем вейсманистов-морганистов. Лишь один Виталий Леонидович гордо заявил, что он учёный и верит в настоящую науку – генетику, а не в агробиологию Лысенко. Из института его изгнали, а кафедрой стал заведовать его зам – бделолог Щеголев. Величайшим достижением его была пиявка (бделология – наука об этих полезных, но довольно противных существах) «Чёрный принц» размером более 50 см. Да и сам он был похож па своё произведение, даже не на Дуремара.

И моё поколение, и ещё несколько десятков поколений врачей не знали генетики – величайшая трагедия отечественной медицины.

Почему же так ополчились против научной генетики? Разумеется, тогда нам этого было не понять. И лишь после «демобилизации», как я называю свой уход из клинической медицины, у меня появилось время для осмысления не только своей жизни, но и жизни моей страны. И в 1994 году мне довелось написать и опубликовать книжку, в которой я писал о том, что преследование генетики и евгеники было попыткой преступников уничтожить следы самого страшного преступления – геноцида. По глупости написал Путину. Ответ получил из Академии наук. Его приведу в конце. Ответ был о ненужности и вредности евгеники. Как десятилетия назад – о вредности генетики.

Разумеется, неблагородными людьми управлять легче, чем людьми благородными, а потому максимально свободными и независимыми. Извечно в России власть имущие или приближённые к ней делили людей на белую и чёрную кость. Недавно в какой-то жёлтой газетке прочитал (газету, вообще-то, читает жена) меморандум Андрона Михалкова-Кончаловского. Бесспорный талант. О таких гениальная Фаина Георгиевна Раневская сказала: «Талант – это как чирей: неизвестно на какой ж...е он вскочит». Смысл его инвективы: европейская культура нужна только тонкому слою интеллигенции. Народу эта культура не нужна, даже вредна. Она только вредит русскому пароду, который и будучи крепостным, жил лучше, чем живёт сейчас. Конечно, бунты Разина, Пугачёва, крестьян Бездны, крестьян Салтычихи – мелкие пятнышки на благолепной Руси. Конечно, Ломоносов, Посошков, Тропинин, Кулибин, Сытин, Морозов, Третьяков – из самых благороднейших дворян. Как Михалковы. Нет, это просто страх конкуренции. Не дай Бог, если действительно улучшится генофонд России и талантливых учёных, писателей, режиссёров, врачей, инженеров, педагогов станет не 10–15%, а как в цивилизованных странах – большинство. Увы, пока – «Россия! Чувешь этот страшный зуд? Три Михалкова по тебе ползут».

Москва совпартийная

Уничтожение генетики было первым ударом по обороне нашего института от надвигавшегося мракобесия. В нашем институте заведовали кафедрами Анохин (физиология) и Северин (биохимия), Тареев (терапия) и Юдин (хирургия), Клюева (микробиология) и Билибин (инфекции) – номенклатурные, настоящие учёные. Правда, директором был некий доцент Ковалёв. Уже тогда директорами (наименование «ректор» появилось позже) ставили проверенных доцентов, а не учёных. Многие из них составили и составляют золотой фонд медакадемии.

Институт был мальчишкой для битья. В нём постоянно отыскивали врагов и создавали почин разоблачения. В 47-м разоблачили Клюеву, якобы передавшую «секрет» противораковой сыворотки нашим врагам-американцам. В 48-м арестовывают Сергея Сергеевича Юдина – самого великого после Пирогова

русского хирурга. В 50-м на Павловской сессии распинают Петра Кузьмича Анохина. Ну а уж в 52-м изгоняют всех профессоров, доцентов и ассистентов-космополитов (благозвучный эвфемизм – евреев). И всё же в нашем институте ещё долго преподавали настоящую медицину. А обучение настоящей медицине требовало времени. Да ещё партийные обязанности. Моё литературное образование сделало меня редактором общеинститутской стенной газеты. Выбить заметки, особенно у профессуры, было нелегко. А потом они (эти заметки) должны были пройти сито цензуры: моё (литературная правка, ха-ха!), члена парткома института по идеологии, затем секретаря парткома. Это до печатанья машинисткой парткома и наклейки в идеологическом порядке. Затем вся процедура повторялась. Так что вечеров семь приходилось тратить на этого монстра длиной около трёх метров.

Типичный случай. С огромным трудом я получил заметку об Иване Петровиче Павлове от его ученика, тогда членкора АМН Петра Кузьмича Анохина. Мне была оказана честь: я получил заметку у него дома, кажется, на Бронной. Заметка была написана на бланке. Увы, имя, отчество, фамилия и регалии на этом бланке были на английском языке. Столь ответственную заметку я с гордостью вручил секретарю парткома. Был горд, так как никому ещё не удавалось получить заметку от Анохина. Но вот тут-то всё и началось. То, что бланк был на чуждом языке, было воспринято как диверсия. И Анохина, как владельца такого бланка, и меня, поддавшегося этой провокации. Не знаю, была ли эта заметка в числе обвинений, предъявленных Анохину на Павловской сессии 50-го года, но я получил изрядную взбучку, а контроль над газетой был усилен контролем со стороны 1-го отдела.

Мне «везло». Уже в Рязани несколько талантливых ребят младших курсов к Международному женскому дню выпустили личную стенгазету. Жили они в общежитии неподалеку от основного здания института, в длинной узкой комнате. Без удобств. Точнее, с удобствами во дворе. Водопровода также не было. Назвали газету «Щель жизни». Вместо обязательного лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» была шапка – «О, обнажи свою *vena subitalis!*» Для не знающих латыни: рекомендовалось обнажить вену локтевого сгиба, в которую большим вливают кровь, её компоненты или другие растворы, а у здоровых из этой вены кровь забирают. Сдача крови входила в набор наших заработков, наряду с разгрузкой вагонов с углем и дровами. Чаше всего кровь сдавали перед Новым годом – всё равно утрата восполнится крепкими спиртными напитками – и перед 8 Марта. На вырученные деньги покупались цветы (реже), портвейн (чаще). Осветила газета и научные проблемы. Большой подвал был посвящен «Трактату о параше». Начинался он, разумеется, с истории термина – образа Параша в Пушкинском «Домике в Коломне». Далее следовало детальное описание мест общего пользования в сём общежитии. Перед любым праздником проходила строгая проверка мест обитания. Газета была конфискована. Несколько авторов были исключены из института. Я – из членов парткома. Правда, без выговора и с оставлением на

идеологическом фронте. Как всегда, мне поручалось самое скучное – ведение философского семинара, в который входила административная элита института. В частности, начальник 1-го отдела.

Москва светлоглавая

До Рязани настоящий шабаш начался после постановления ЦК о музыкантах-формалистах. Какое отношение имел мединститут к музыке? Тогда в операционных музыку ещё не включали. Но чуть ли не ежедневно проводились собрания, на которых клеймили Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мясковского. Я, как и большинство моих однокурсников, и слыхом не слыхивал о таких музыкантах. Как Василий Иванович Чапаев: «Македонский? Почему не знаю?» Наше музыкальное образование включало музыку Дунаевского, братьев Покрасс, Соловьёва-Седова и Александрова. Ну, ещё Чайковский и Штраус («Большой вальс»). Как выразитель партийной идеологии, я внёс свой посильный вклад, написав в групповой стенгазете вирши. Они не сохранились. Но самые постыдные строки помню. У нас в группе была очаровательная комсомольская богиня – Галка Жеглова. Был у неё один недостаток: она постоянно опаздывала утром на занятия (годы молодые, гуляли и целовались допоздна). И вот я сочинил, что никакой будильник её разбудить не может, а вот... «Ей бы – скрипичный концерт Хачатуряна. / Нашлось применение и этой музыке: / Поверьте мне – честное слово! / Услышав 100-енной симфонии крики, / Не опоздает Жеглова».

Я, правда, слышал и читал, когда нёс службу на Балтике, весьма положительные отзывы о 7-й Симфонии Шостаковича. Это смутило мою любопытствующую душу. Я знал, что на улице Герцена есть какая-то консерватория, где не продают консервы, а исполняют такую вредную музыку. Слыл я эрудитом. Поэтому спросить о ней у наших девиц постеснялся. Пошёл. Купил абонемент на галёрку и стал два раза в неделю слушать эту крамольную музыку. Почти год я под музыку Бетховена, Моцарта, Чайковского спал. Если же не спал, то не в консерватории, а в театре, который рядом с ней. Это был театр им. Маяковского. Уже одно это понудило меня пойти на «Ромео и Джульетту». Уж Шекспира-то, в отличие от композиторов, я знал! Я заболел Бабановой. Нет, не влюбился. Заболел. Не говоря уж о «Ромео и Джульетте», даже «Таню» я слушал десятки раз. Спектакли с Бабановой, как опера, – их нужно слушать. Рассказать о них не берусь. Это счастье. Моё счастье, дарованное судьбой. И было ещё счастье: в Большом Уланова танцевала Джульетту. Музыка «плохого» Прокофьева. Достал билеты. Музыка ещё не была моей. Но я видел Уланову! Так уж случилось в моей жизни, что через четверть века я почти породнился с балетом (об этом ниже). Мне посчастливилось видеть великих балерин: Аллу Осипенко, Нину Тимофееву, Иветт Шовире, Наталью Бессмертнову, Екатерину Максимову, хоть

и не любимую, но, конечно, великолепную Майю Плисецкую. Но никто из них не мог (для меня) даже близко сравниться с Улановой. Это была радость. Это было счастье. Не нужно было идти за Синей птицей. Я уже видел её.

Я вышел из театра и пошёл по Москве. Всю ночь я бродил по улицам. Я был уверен, что сделаю такое, что осчастливит всех людей, что не будет больных, не будет несправедливости, не будет смерти. Такое я испытал в жизни ещё только один раз, когда увидел Добронравова в «Дяде Ване». Потом я видел много прекрасных спектаклей, много прекрасных фильмов. Но никогда, даже увидев Олега Борисова в «Кроткой», не испытал такого счастья, такой веры, «...что в тихой гавани все корабли, что на чужбине усталые люди тихую пристань себе обрели».

Были и другие ночные бдения. Ночами мы стояли за билетами на Якута в театр Ермоловой и в очереди на телевизор «КВН-49». Почему нужно было отмечаться ночью, мы тогда не понимали. Как не понимали и многое другое. Я не люблю Солженицына и как писателя (разумеется, кроме первого его романа и одного рассказа – «Матрёнин двор»), но только прочитав «В круге первом», понял, почему записываться и регистрироваться нужно было ночью. Темнота скрывала нашу нищету и нашу темноту. Не было в стране социализма очередей! Мы с моей тогдашней женой выстояли и приобрели два телевизора: для моей и её семьи.

Но были и ночные бдения и после консерватории. Однажды из Ленинграда приехал Мравинский. Он дирижировал 5-й симфонией Шостаковича и «Болеро» Равеля. Я проснулся. Влюбился навсегда в такую музыку. И с тех пор, даже теперь, музыка мне так же дорога, как русская поэзия. Увы, я не могу себе позволить часто ходить в консерваторию. Хорошие концерты бывают обычно зимой, в гололёд. Но у меня есть почти самые современные плееры и отменная коллекция записей классической музыки.

И снова любовь

Мы заканчивали второй курс. Предстояла реорганизация групп. На третьем курсе в группе должно было остаться вместо 30 только 20 студентов. И случилось так, что мою любимую Аннушку решили исключить из нашей славной 4-й группы. Дело в том, что она была профоргом. Поэтому, помимо её обязанности учиться так, чтобы усатый «спасибо сказал», она ещё должна была получать и раздавать стипендию. Накануне какого-то государственного экзамена Аннушка сказала, что стипендию получит только после его сдачи, так как в очереди профоргов, получавших стипендию для своих групп, нужно было выстоять весь день, а то и два. Большинству из нас действительно нужны были эти хоть и мизерные, но деньги. А состраданию мы обучены не были. Поэтому стремление профорга выполнить свою первую обязанность – хорошо

сдать экзамен – было осуждено. Аннушку было решено исключить из будущей 4-й группы. В знак протеста я заявил, что также ухожу. Но, дабы это не было расценено как проявление моей любви, ушёл в другую, вновь создаваемую группу (в свою группу я вернулся уже в Рязани). Группа Аннушки была вообще на другом потоке, и видеть её я теперь мог лишь у её дома в Армянском переулке. Да и то издали, чтобы ей не попало от её неизменной спутницы. Вообще, хождение под окнами было, видимо, моим хобби. Это было атрибутом почти всех моих романтических влюблённостей лет до 50.

И всё же я решил прийти к её родителям и попросить руки Ани. Я не знаю, кем были её родители по профессии, полагаю, что они не были принципиальными антисемитами, но они желали блага своей дочери. А в 50-м году было ясно, что брак с евреем благополучия их дочери не принесёт. Мне было отказано. Достаточно вежливо, но и достаточно твёрдо. Аннушка стояла за спиной отца и желания бежать из родительского дома не выказала. Хватило гордости молча уйти. Стреляться на этот раз я не стал, да и свой трофейный парабеллум я сдал ещё в Таллине. Снова начал писать вирши и исцелялся по завету Яна Райниса трудом.

Хирурги

Свято место пусто не бывает. Как это у Киплинга: «Что мужчине нужна подруга, женщинам не понять». Из всех новых одноклассниц самой красивой была Наташа. Почти такая же красивая, как её мать – Вера Васильевна. Как жена Довлатова, о которой его друг сказал, что таких красивых он не видел даже в метро. Это была красота статной поморки. К тому же у неё был замечательный муж. Не отец Натальи – тот погиб на фронте.

Александр Иванович Очкин – отчим Наташи – заслуживает подробного описания. Вот так я представлял себе деда Блока – профессора Бекетова, учителя Пушкина Куницына, историков Иловайского (был у меня его учебник) и Ключевского, создателя Музея изящных искусств Цветаева. Был Александр Иванович доцентом в архитектурном институте. Идеально вежливый и спокойный, никого и никогда не осуждавший, даже свою приёмную дочь, которая уже не первый раз делала не совсем удачный выбор и ликвидировала его последствия. Знаний он был энциклопедических. Но, в отличие от меня, ими не бравировал. Помнил и осуждал, как и всякий подлинный интеллигент, свои ошибки. Однажды рассказал свой самый плохой поступок, окончившийся инфарктом друга. В годы войны или сразу после неё собралось несколько старых друзей. Ещё по гимназии. Удалось достать бутылку водки и немного закуси: лук, селедка, чёрный хлеб. Это было старое доброе распитие. Пока водка охлаждалась в холодной воде, готовили «пыжи»: на кусочек чёрного хлеба клали кусочек селедки, покрывая его лучком. Наконец, водку разлили. Но одному из друзей

потребовалось по естественной нужде на минуту выйти. Оставшиеся решили подшутить над ним, заменив в рюмке водку водой. Наконец, все сели за стол, приготовили пыжи, подняли рюмки – «со свиданьицем» – и, выдохнув, выпили. Тот, у кого в рюмке была не водка, а вода, побледнел и упал. Инфаркт, едва не закончившийся смертью. Александр Иванович всегда помнил эту «шуточку» и никогда не мог простить её себе.

Сближало нас с Наташей общее стремление стать хирургами. Ей стать хирургом сам Бог велел. Её отец до войны был довольно известным хирургом. Дочери он оставил наследство: почти полный комплект хирургических журналов – «Новый хирургический архив» и «Хирургия». А я ещё на втором курсе попал по протекции одной из наших профессорских дочек в операционную. Профессор удалял огромную гнойную почку. Мы – Герд и я – стояли вместе со студентами старшего курса на ступеньках специальной лестницы. Когда профессор вскрыл почечную лоханку, из которой выстрелил гной, я потерял сознание. Герд подхватил меня, не дав сверзиться на кафельный пол. Это решило судьбу. Неслучайно мой покойный друг, профессор Генрих Ильич Лукомский, придумал персональный афоризм обо мне: «Маневич придумывает себе трудности, чтобы успешно их преодолеть».

Нам повезло. На 3-м курсе начались клинические дисциплины: терапия и хирургия. Нашу группу вела одна из самых красивых женщин-хирургов Татьяна Алексеевна Суворова. Через несколько лет в её честь мы назвали свою дочь Татьяной. Наш ассистент была не только красавицей, но и, как мы убедились, великолепным педагогом. На её дежурствах в 33-й больнице им. Остроумова собиралось не менее двух десятков студентов, жаждущих причаститься хирургии с её благословения. Самых способных она допускала к ассистенции на операциях. Чаще всего – Толю Пирогова, о котором завкафедрой говорил, что из Пирогова он сделает Пирогова. Подразумевалось – Николая Ивановича – самого великого русского хирурга. Анатолий действительно стал замечательным хирургом, профессором и одним из ведущих хирургов-онкологов.

Увы, мне Татьяна Алексеевна доверяла лишь вводить желудочный зонд. Наталья ассистировала на этой манипуляции мне, а я ей на более сложной сифонной клизме. На то, что нам позволят участвовать в операции, мы и не надеялись. Но очень хотелось.

У вдовы отца Наташи были друзья в хирургии. Наиболее доступным оказался путь в хирургию через кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии. Располагалась она на базе МОНИКИ (Московский областной клинический институт), что почти на 3-й Мещанской, в конце. Кафедрой заведовал Георгий Александрович Рихтер, а его доцент – Зоя Леонидовна Изумрудова была приятельницей Веры Васильевны. И хотя эту дисциплину нам предстояло изучать только на 4-м курсе, мы были допущены и получили аж две научные темы: препарирование кисти руки и изучение современных методов лечения панариция. Панариций – гнойное поражение пальцев. Мучительное и плохо

излечиваемое. Особенно если не уметь его лечить. Самым большим специалистом был профессор Рыжих, более известный как проктолог Его монографию мы выучили наизусть.

Ночные бдения на дежурствах Татьяны Алексеевны, работа в анатомичке над препарированием руки, изучение сотен амбулаторных карт больных панарицием почти не оставляли времени для вечерних хождений под окнами Аннушки. Жила она в Армянском переулке, до которого от моего дома на Смоленской путь был неблизкий. А традиционно путь к любимой мог быть только пешим. И обязательной через Красную площадь, дабы засвидетельствовать свою верность идеалам революции.

Любовь любовью, идеалы идеалами, а требования плоти – это вам тоже «не баран начхал». И мы сблизилась с моей будущей второй, а точнее – первой, супругой. Понимаю горе её матери и отчима. Но они были более чем интеллигентные люди. Они не прокляли дочь и благословили наш брак. Нужно признаться, что я был порядочный мерзавец, так как поставил Наташе (не её родителям) три условия. Первое: если всё же Аннушка согласится выйти за меня замуж, то наш брак аннулируется. Наши дети будут записаны евреями (сам-то я по понятиям христиан был выкрестом). Третье условие: никогда и ни при каких обстоятельствах мы не сделаем незаконного аборта. К этому времени Наталья уже решила стать акушером-гинекологом. И мы стали мужем и женой.

А к этому времени подоспело и решение нашей жилищной проблемы: институт переводили в Рязань.

И пусть будет Рязань

Кажется, так называлась книга Леонида Леонова. Перед весенней сессией 50-го года нам было сообщено, что в ознаменование 100-летия со дня рождения Ивана Петровича Павлова – уроженца Рязани – усатый решил создать в этом городе медицинский институт его имени. Надо признать, что именно благодаря этому «отцу народов» были созданы институты в провинции. Там появилось достаточно много самых квалифицированных ссыльных учёных, чтобы на пустом месте создать высшие учебные заведения.

Поначалу наше дело будет дрянь

Это начало песни – гимна нашего института, автора которой, к своему стыду, я не знаю. Но коллега был абсолютно прав. Жить в Рязани было очень трудно. Мы создавали институт на месте школ, монастыря (общежитие), диспансеров, провинциальных, плохо оборудованных больниц. В общежитии текли крыши. Холод был страшный. Чирьи были у каждого второго из переехавших в Рязань. Нужно сказать, что переезд был проверкой на прочность. Из 400 или 500 учившихся на нашем курсе (старшие курсы оставались в Москве) в Рязань перебрались лишь 200 студентов. На законных основаниях перевестись в другие московские мединституты могли фронтовики. Но большинство из них выбрало Рязань. Хотите верьте, хотите нет, но движимые теми же чувствами, что и когда уходили на фронт: «Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!». А мы ведь уже были не комсомольцами, а солдатами партии.

В Москве осталась и большая часть профессуры. В Рязань переселилась лишь опальная (тогда) её часть: Анохин, Карлик, Фаерман, Рихтер и доценты, жаждущие профессорских мест.

Кафедры быстро стали заполняться выдвиженцами. Были среди них и прекрасные специалисты. Но были и «Бываловы – Огурцовы». Типичен некий Чекурин. Добродушный и довольный собой и жизнью. Лекции – заведовал он кафедрой оториноларингологии (мы говорили: и в ухо, и в горло, и в нос) – читал

примерно так: «Мерцательный эпителий – это такой эпителий... с хвостиками». Нам, учившимся анатомии у Иваницкого, а гистологии на кафедре Румянцева и его учеников, было дико. Мы смотрели на него, как на воскресшего динозавра. Но его это нисколько не смущало. Он начинал клинический разбор. Приглашали больного – обычного рязанского работягу, замученного хроническим кашлем, глухотой или ещё чем-нибудь похуже. Первый чекуринский вопрос был всегда одинаков: «Сколько получаешь?» Следовал ответ: «300 рублей». «В месяц? А я – 300 рублей в день!» – и радостно похрюкивал. Большая зарплата не мешала ему получать бесплатно для себя и для сынка спортивные костюмы для участия в физкультурных парадах.

Хирургическая мама

В Рязани мы воссоздали «нашу четвёртую» группу. Уже с моей супругой. В группу влилось несколько рязанцев, учившихся в каких-то других институтах, и несколько крымчаков-караимов, изгнанных по каким-то таинственным причинам из Симферопольского мединститута. Складывались подгруппки. По интересам. Мы с женой продолжали трудиться на топографичке, доделывая препарат кисти руки, но Наташа всё больше уходила в акушерство, хотя у нас сложился тройственный союз: к нам с супругой присоединился Володя Ильин, будущий главный травматолог Рязанской губернии.

На 4-м курсе началась факультетская хирургия. Заведовал кафедрой молодой профессор из какого-то сибирского института. Он поразил нас лекцией об этических нормах хирургии. Лекция была замечательная. Будущие хирурги влюбились в этого молодого профессора, и подавляющее большинство хирурговидов с кафедры общей хирургии перешло на кафедру факультетской хирургии. Правда, много лет спустя я нашёл брошюру, написанную замечательным хирургом старой петербургской школы Николаем Николаевичем Петровым, в которой эта лекция «цитировалась» дословно. Разумеется, брошюра Петрова была опубликована за много лет до того, как наш профессор поступил в мединститут. Но ведь мы не знали не только этого!

Нам повезло: нашу группу на кафедре хирургии вела Милита Николаевна Мясникова. Царствие ей небесное! По каким-то личным причинам она из Саратова переехала в Рязань. Предполагаю, из-за своего супруга, то ли философа, то ли журналиста. Он был еврей, и в 50-м году его изгнали из областной газеты. Доверили многотиражку в каком-то захолустном районе Рязанской области. Поэтому в Рязани он появлялся лишь на один-два дня в месяц, вызывая у подопечных Милиты Николаевны недоумение, смешанное с изумлением. Супруг изучал абсолютно необходимый ему итальянский язык, пытаясь читать на нём то ли Данте Алигьери, то ли Джордано Бруно. Читал вслух своей собаке. Милита Николаевна удивлялась вместе с нами, прилипшими к ней, – Веней, Володей

и мной, но искренне любила своего непутёвого супруга, родила от него двух рыженьких очаровательных близняшек и осталась вдовой после его трагической гибели. Супруг был убит из-за не очень новой пыжиковой шапки. Но это было уже в конце 50-х годов, а пока продолжалось мирное сосуществование хирургии и философии.

Милита Николаевна сделала нас если не хирургами, то врачами. Её дом стал нашим домом, её медицинская библиотека – нашей библиотекой. Её эрудиция перекачивалась в нас. В начале 51-го года – мы ещё были студентами 4-го курса – составлялся годовой отчёт. Милите (да простят меня её дети, но так мы называли её между собой) было поручено обработать сотни историй болезни. И мы были удостоены чести помогать ей. И Веня, и мы снимали нетопленые углы – нормального жилья в Рязани, как и во всей России, не было. У Милиты было аж две комнаты. В столовой был стол из струганных досок. В спальне – ложе, стеллажи и маленький письменный столик. Накормив нас, а мы вечно были голодными, на большой стол она наваливала груды историй болезни. Мы обрабатывали операции по поводу грыж и язв желудка и 12-перстной кишки. Невзирая на авторитет учителя, о принципах классификации мы горячо спорили. Наконец, договорившись, раскладывали на высокие метровые кипы. Каждый приступал к обработке доставшихся ему историй болезни. И вдруг Милита обращалась к одному из нашей троицы. Примерно так: «Веня, перечислите, пожалуйста (обязательно сверхвежливо!), остеохондропатии». Веня начинал: «Альбан – Келлера I, Альбан – Келлера II, Лег – Кальве – Пертеса, Шинца...». Разумеется, какую-то из этих болезней упомянуть забывал. Милита ледяным голосом: «Веня, идите в спальню, найдите монографию Василия Романовича Брайцева и другую литературу. Когда усвоите, возвращайтесь». Володя и я, радуясь, что сия чаша нас миновала, продолжали изучать истории болезни. Через час-полтора возвращался изгнанный и включался в работу над годовым отчётом. И снова Милита: «Лёша, какие операции вы знаете при параличе лучевого нерва?» Я мучительно пытался вспомнить. Но ничего, кроме операции Джанелидзе, в голову не приходило. И меня отправляли к стеллажам изучать и на долгие годы запомнить этот раздел хирургии. Так продолжалось все три года, что мы учились в Рязани. Многие хирургические патологии никогда и не встретились за мою более чем полувековую практику. Но горжусь, что и сегодня отвечаю на большинство вопросов о самых редких хирургических заболеваниях.

Милита научила нас держать не только крючки, но и скальпель. Ей я впервые ассистировал на резекции желудка. Она доверила мне и ассистировала на моей первой операции – аппендэктомии и на моей последней операции в студенческие годы – резекции желудка. Она очень рисковала. Это был 52-й год. Любое осложнение рассматривалось под лупой. Особенно если это осложнение возникло у студента-еврея.

Через несколько лет, когда я уже работал хирургом в маленьком городке на Волге, Милита приехала ко мне. Она просмотрела все мои истории болезни

(за некоторые мне изрядно попало) и проконтролировала мою хирургическую технику, оценив её как «вполне удовлетворительную» (по терминологии Ниро Вульфа).

А через год, когда мы расстались с Наташей, и я остался с сыном, плевритом и вороватой нянькой, периодически исчезающей с какими-то моими вещами, Милита в свой летний отпуск снова приехала. У меня был тогда бесплатный билет на теплоход, шедший по Волге до Астрахани и обратно. И Милита поехала со мной и моим сыном. Это – один из самых тяжёлых периодов моей жизни: отец только что перенёс первый инфаркт, я еле оправился после туберкулёзного плеврита. Проблемы ухода за сыном и его кормления решались с трудом из-за почти полного отсутствия продуктов в нашем городке. Мои попытки заниматься наукой не приносили успеха. К счастью, у меня не было и пистолета, как когда-то, после замужества Марты.

Милита не утешала меня. Она затевала со мной спор по самым сложным проблемам хирургии и вообще медицины. Чаще всего по поводу «Ошибочных путей хирургии». Так называлась любимая нами книга Эрвина Лика. Милита нарочно задирала меня, утверждая необходимость профилактической хирургии, например профилактической аппендэктомии. Я со свойственным мне большевистским максимализмом требовал отдавать таких хирургов под суд. Дискуссии конца не имели. От хирургии мы перескакивали на германскую литературу, кою Милита знала не хуже меня. Потом я зачитывал её Маяковским. Это был главный пункт расхождения наших пристрастий. Как бы то ни было, но я поверил, что жизнь ещё не кончена, что я ещё не потерял ни для хирургии, ни для науки, ни для любви.

Потом мы встретились снова только через много лет, после гибели её мужа. И тогда я попытался отдать ей то, что когда-то дала она мне: веру, что жизнь продолжается, что она вырастит своих детей – рыженьких близнецов, что она ещё скажет своё слово в науке. Формально я его уже сказал, защитив докторскую диссертацию. Наконец, в 70-м году она получила кафедру в одном из лучших периферийных университетов. Вряд ли бы у нас с ней могла сложиться семья. Она ведь тоже была моей матерью.

Путь в хирургию

После 4-го курса началась практика. Нашей троице – Наташе, Володе и мне – повезло: нас направили в Касимов. Это был один из самых красивых российских городков. Да и больница там по тем временам была замечательная, с превосходной хирургией и отличным её заведующим. Она была ученицей великого Юдина и разделила его судьбу. Её изгнали, как и его, из института Склифосовского. К сожалению, плановые операции летом в сельскохозяйственных городках бывают редко, а экстренные – это чаще всего ушибы, в крайнем

случае – ножевые раны. Так что практика в основном опять сводилась к сифонным клизмам и писанию историй болезни.

Поэтому после окончания практики я пытался наверстать недополученное, обратившись к моему учителю профессору Рихтеру. Он тогда был не только заведующим кафедрой в Рязани, но и главным хирургом МПС. Базой его была 1-я железнодорожная больница. Много лет спустя эта больница была и базой моего брата, заведовавшего кафедрой хирургии в институте усовершенствования врачей. Георгий Александрович Рихтер не отказал мне, и я даже несколько раз ассистировал ему на очень сложных операциях. Память об одной больной осталась на всю жизнь. Профессор оперировал женщину, измученную раковой опухолью прямой кишки, вызвавшей непроходимость. Опухоль, как говорится, была неоперабельной, удалить её было нельзя. Поэтому Георгий Александрович сделал *anus praeter naturalis* (противоестественный задний проход). Операция прошла удачно. Больная начала опорожняться через искусственный проход, напомилавший мужской половой орган.

Следующим летом я опять был допущен в его клинику. На одном из обходов в коридоре к профессору подошла очень красивая молодая женщина. Это была она – та, у которой была неоперабельная опухоль. Женщина просила удалить ей искусственный проход. Через несколько дней Рихтер оперировал её. Никакой (!) опухоли не было. Естественный путь был восстановлен. Женщина поправилась. На прежних гистологических препаратах раковые клетки четко выявлялись. Женщину расспрашивали, чем она лечилась за прошедший год. Она утверждала, что ничем. Тайна так и осталась неразгаданной. Но выздоровление свершилось. Вот почему я принадлежу к тем врачам, которые верят в огромные целительные силы организма – в саногенез.

К сожалению, в августе профессор ушёл в отпуск, и мне пришлось покинуть клинику, в которой меня без него разве что терпели. А учиться хирургии очень хотелось. По счастью, маму Наташи знал старый хирургический мир, и замечательный детский хирург Николай Григорьевич Дамье согласился взять меня в свою 20-ю детскую больницу. Плановые операции и там были редко. Зато было много травм – вывихов, переломов и ран. И вот однажды поступил мальчик. Он с приятелем нашёл гранату. Закончилось это, как всегда: граната взорвалась в руках у мальчишек. У одного была травма глаза, и его направили в глазную больницу. К нам же поступил мальчик с тяжёлыми повреждениями живота. Дамье оперировал мальчика. Я участвовал в ассистенции, а потом остался дежурить у его постели. Ребёнку переливали кровь. Я остался с ним. Помогал дежурному хирургу. Делали всё, что делалось в то время: камфару, кислород. Но ночью ребёнок умер. Я ушёл из больницы. Дом, где жила семья моей жены, был рядом, на Якиманке. У родителей жены была дача, и в комнате никого не было. Я лёг ничком на кровать и несколько суток лежал без сна. Потом, никому ничего не сказав, поехал в Рязань, в институт. Там я написал заявление с просьбой отчислить меня из института, направить меня

на фельдшерский участок, так как я не убеждён, что смогу быть врачом. Меня долго и успешно уговаривали не делать этого. Вмешалась Милита, и я решил продолжить учебу.

Тучи стущаются

Мышке (мне) отлились мышкены же слёзы. Так случилось, что когда я был в субординатуре по хирургии, моя мама пошла с моей зачётной книжкой, в коей не было других оценок, кроме «отлично», к тогдашнему директору института усовершенствования врачей. И он сказал, что возьмёт меня в ординатуру. Даже запросил характеристику в моём Рязанском институте. События разворачивались так: на распределении была зачитана моя характеристика. Вряд ли лучшую характеристику дали при окончании нынешнему президенту.

Случилось, что на какое-то время наше распределение оказалось недействительным (об этом ниже), и я пошёл в институт усовершенствования. Оказалось, что я был зачислен в ординатуру. Но не на кафедру хирургии, а на кафедру травматологии. Быть травматологом после гибели того ребёнка я не хотел и забрал документы. Там была характеристика. Не та, которую зачитывали. Другая. Вот цитата из неё с сохранением разрядки и знаков препинания:

М А Н Е В И Ч Алексей Зиновьевич, рождения 1926 года, по национальности еврей... До поступления в Медицинский институт А.З. Маневич заочно окончил Педагогический институт и в 1947 году получил квалификацию учителя средней школы. Однако он не захотел работать учителем и поступил в медицинский институт. То же самое повторилось и в медицинском Институте. В 1951-52 учебном году, будучи уже на 5-ом курсе, тов. Маневич А.З. заявил, что он разочаровался в медицине и хотел уходить из Института. Стоило большого труда удержать его от этого шага. Всё это вместе взятое создает впечатление, что товарищ А.З. МАНЕВИЧ склонен уклоняться, а не преодолевать трудности. Подписи директора Ковалёва и секретаря партбюро Безвесельного. 18 июня 1953 г.».

О причине моего желания проверить свою пригодность служению эскулапу я уже писал. Характеристику после поездки в Рязань, в обком партии, мне заменили, восстановив прежнюю. Обида осталась. Лишь однажды через 15 лет после окончания института я побывал в Рязани. Тогда я был первым профессором из всех выпускников курса, даже из тех, кто был оставлен в аспирантурах и ординатурах.

Любимое изречение «патриотов»: «Советская власть сделала вас профессором». Да не сделала, а мешала этому. Не благодаря, а вопреки. И всё, что было сделано доброго и великого, было сделано вопреки. Разве же американцы

должны были высадиться на Луну? Если бы не разогнали ГИРД, не убили Лангемака? Не изуродовали Королёва? Да, «в области балета мы впереди планеты всей». Но это только потому, что до 17-го года в России были Петипа, Фокин, Горский! Можно было их наследие эксплуатировать и ещё лет 10. Но разве такой бы был балет, если бы не вынуждены были эмигрировать Фокин и Бенуа, Баланчин и Нуриев, Барышников и Годунов? Неужто, России мешали Рахманинов, Стравинский, Шаляпин? На одного «Ивана Грозного» сколько бездарных лент? Миллионные тиражи? Макулатуры протоколов съездов, кожевниковых, грибачёвых и «киже» с ними. Росли поколения, не знавшие Нагорной проповеди! Да все эти исаевские-кумачёвские вирши не стоят одной «Поэмы без героя», одного «Театрального романа», одного «Котлована», одного «Доктора Живаго».

А институт терял и, как мне кажется, навсегда потерял главное достоинство нашего старого московского института – доброжелательность. Уже почти никто не обращался к студенту-первокурснику «Коллега!». Уже трудно было представить, что студент может прийти в гости просто на чашку чая к своему ассистенту, не говоря уже о визите в дом к заведующему кафедрой. А теперь вообще традиционное взаимоуважение служителей Гигиены утрачено. Очень редко, не только обращаясь как пациент, но и как консультант, я слышу это прекрасное обращение «Коллега!». И с утратой этого обращения почти утрачено производное – коллегиальность в постановке диагноза и выборе лечения. За полвека моей жизни в медицине это сохранилось, как «антики», лишь в некоторых клиниках. И почти совсем исчезло из поликлиник.

В 87 лет мне часто приходится быть пациентом. И, к счастью, нечасто, испытывать все «прелести» поликлинической медицины. Несколько лет назад лежал в кардиологическом стационаре. Замечательные специалисты подобрали лекарственный комплекс и рекомендовали продолжить его амбулаторно. Решил воспользоваться льготой – правом бесплатного получения лекарств. Рекомендацию в моей поликлинике мог дать только консультант-кардиолог. Прочла выписку, просмотрела результаты анализов. Заявила, что я не соблюдаю диету и что мне нужны не лекарства, а операция на коронарных сосудах. Мои попытки обсудить как коллега с коллегой были безрезультатны. Коль я не согласен отказаться от утренней порции сливочного масла и не согласен на операцию, то нечего на меня тратить дорогие лекарства.

За мою долгую жизнь диетические рекомендации менялись многократно. Основным показателем хорошего летнего отдыха в пионерском саду была прибавка в весе (см. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»). Главным диетическим продуктом моей молодости был сахар. Главным врагом в зрелые годы – сливочное масло, а другом – лёгкое масло, то, бишь маргарин. Впрочем, наслушался, начитался и нанюхался я множества лопнувших ядовитых пузырей – от содовых ванн Лепешинской до таинственной «исцеляющей» диеты, определяемой по группам крови. Для неспециалистов: великий Флеминг,

первооткрыватель пенициллина, не только не взял патент, но детально раскрыл все детали получения этого первого антибиотика. В лучших клиниках успех любой операции не превышает 95%. Поэтому великий хирург – лейб-хирург Его Императорского Величества С.Н. Фёдоров на вопрос: «Кому принадлежит холецистит – хирургу или терапевту?» – ответил: «Не хирургу и не терапевту, а больному».

Слава Богу, что я могу купить это лекарство. Слава Богу, что я принимаю его и чувствую себя значительно лучше. Но я ведь могу консультироваться с настоящими врачами, готовыми выслушать и мои pro et contra. А что делать смертным, не работавшим полвека в медицине?

Учёба продолжалась. Какие-то дисциплины изучать не хотелось, например историю нашей специальности. Преподавалась она примерно так: на возвышении у кафедры водружались портреты Пастера, Коха, Вирхова, и заведующий кафедрой вопрошал: «Кто это?» Раздавались радостные голоса отличников: «Пастер!», «Кох!»... «Это обскуранты и мракобесы! – возглашал лектор – Убрать!» И лаборанты торжественно уносили и выбрасывали на помойку эти портреты. Впрочем, портреты Вагнера и Шуберга тоже были сняты в Московской консерватории. Правда, их не уничтожили. Сейчас они выставлены в фойе её Большого зала.

Некоторые же абсолютно необходимые дисциплины вообще были исключены. Так, мы никогда не слушали ни одной лекции по психиатрии. Настоящие учёные были изгнаны, учебники уничтожены. Именно тогда психиатрию возглавили снежневские, заменившие её лечебную суть карательными средневековыми мерами, правда, дополненными новейшими достижениями психофармакологии.

Дурак ты, Лёшка

Гонения на генетику и психиатрию были только прологом. Наступили страшные годы. В 52-м газеты, радио и телевидение (в Рязани его, правда, не было) известили об аресте «убийц в белых халатах». Большинство убийц были евреи – главный терапевт армии генерал-майор медицинской службы Мирон Семёнович Вовси, профессора Коганы и Гельштейн. Убеждён, что немногочисленные арестованные лица славянской национальности, например академик Виноградов, были арестованы лишь для маскировки этой антисемитской кампании. Из института были немедленно изгнаны и профессора (Фаерман, Карлик), и доценты, и ассистенты евреи. Разумеется, эта акция получила единодушное одобрение партийной организации. Моё тоже.

В одну из поездок в Москву я встретился с Гердом, женатым на дочке одного из профессоров, другом многих арестованных. Профессор в это время (к счастью для него!) уже умер. Но его семья сохранила дружеские связи с

семьями арестованных. И на моё возмущение: «Как могли эти негодяи?..» – Герд и сказал мне: «Дурак ты, Лешка!». Увы, дураком я был ещё долгие годы.

Впрочем, перефразирую Екклезиаста: «Незнание – источник оптимизма». И все мы – Герд с Валей, Лиля с Осей, Саша с Валей, я с Наташей – именно в этот год зачали и родили детей.

Самыми большими оптимистами были мы с Натальей. Все перечисленные друзья всё же жили в Москве, в своих, хоть и коммунальных, комнатах, с родными и близкими. А мы снимали комнату в Рязани. Правда, зачали сына мы уже не в не отапливаемой конуре, а во вполне приличной комнате, в самом центре – расщедрились наши родители, побывав однажды в нашей прежней комнатке. Уж не знаю, сказалось это или нет на интеллекте нашего сына, но отпраздновали мы «вселение в новую квартиру» (почти по Маяковскому) со всем русским размахом. Мы выставили угощение, хозяева – питиё: водку (точнее, самогон), настоящую на чае. Чай отбил запах сивухи. Теплота комнаты внушала радость бытия, и я принял «на грудь» три полных высоких бокала. Это было моё второе погружение в небытие. Но количество перешло в качество. У жены хватило ума вывести меня на улицу. Полагаю, что утром рязанские дворники изматерили толпу пьяниц, изгадивших их зону ответственности. Но всё это было извергнуто только из моего чрева.

Всё же я остался жив. Оклемался. И вот там, в центре Рязани, был зачат мой первенец.

Человек родился

Напомню, что я был зачат в Москве, но рождён на Украине, теперь самостоятельной республике. Поэтому мне не всегда легко доказать, что я – коренной москвич. Сын рождён в Москве. Правда, не в роддоме Грауэрмана, чем обычно гордятся москвичи, но в не менее престижной клинике Снегирёва, на Пироговке. И ростом, и весом он еле дотянул до нормальных значений, но наследственность так и пёрла из него. Он был хорошенький, как мама, и горластый, как отец. Мне удалось приехать из Рязани в Москву уже после того, как мать и дитя оказались в комнате у моих родителей.

Днём сын спал. Орать начинал только глубокой ночью. Полагаю, что соседям (не только нашей квартиры, но и всего дома) – москвичам, пережившим войну, это напоминало вой сирены. Успокаивала его лишь грудь любимого размера. Через несколько часов ор возобновлялся с удвоенной силой.

Утром я заявил родителям, что рекомендую им на несколько дней поселиться у друзей, так как следующими ночами им спать не придётся: я не разрешу кормить ребёнка ночью. Сие было воспринято как шутка. Но когда ночью начался ор, я действительно не подпустил Наташку к сыну. Надрывный крик продолжался до утра. Отец в очередной раз временно проклял меня, но

всё же на следующую ночь ушёл к друзьям (а может, и не к друзьям). Мама героически осталась с нами. Ор продолжался неделю, постепенно затихая. Зато потом в 20 часов 30 минут сын засыпал праведным сном.

Сказалось ли это на его интеллекте, не знаю, но убеждён, что, моя мама не дожила бы до своих 87 лет, а я до этих дней, когда пишу сии строки, если бы мой метод не обеспечил ночной отдых и нашей семье, и соседям в квартире и в доме.

Товарищ укушенный

В январе жена и сын переместились в Рязань. Были мы субординаторами, т. е. специализировались по акушерству и гинекологии (жена) и хирургии (я). Ребёнок, когда Наташе всё же приходилось овладевать профессией, бросался на арендодательницу, запавшую, как говорится, на меня. Я же, как подающий надежды учёный, дома почти не появлялся. Не из-за страха быть соблазненным, а из-за разгоравшейся надежды сказать своё слово в науке. Помимо хирургии я подвизался на кафедре патофизиологии. В 52-м году её руководитель Лев Наумович Карлик был изгнан из института, но оставался в Рязани и тайно руководил учениками. Ведущей научной проблемой кафедры была так называемая почечная гипертония. Теперь роль почек в этой тяжёлой и одной из самых частых болезней общепризнана. Тогда требовала доказательств в эксперименте. Опыты проводились на собаках. Собакам это не нравилось. И одна из них укусила меня. В анамнезе собаки был паралич задних лап. Так что возможность заражения вирусом бешенства не исключалась. Антирабическую сыворотку в мой живот вводила жена. После 10-й инъекции из шока с помощью горячего чая с добавлением чего-нибудь более крепкого также выводила она.

Но в медицине существует «закон парных случаев». Нередко бывает так: обращается больной с очень редким заболеванием или редким вариантом обычного заболевания. И почти немедленно в этот или на следующий день обращается больной с аналогичной болезнью. Второму повезёт больше, так как врач уже что-то узнает о раритете.

Причина моего «парного» случая – укуса ещё одной собаки, у которой нельзя было исключить перенесенное бешенство, – поклонение красоте. Нашей группе субординаторов-хирургов повезло: на несколько дней нас повезли в детский костнотуберкулёзный санаторий в Кирицах. Он был расположен в красивой (реквизированной и потому медленно разрушавшейся) дворянской усадьбе. Но красивее усадьбы была одна из врачей. И как у Давида Самойлова: «А эту зиму звали Анна, / Она была прекрасней всех». Почему-то её не было на обходе заведующего, и я, разумеется, вызвался выяснить это. Постучал в дверь её обители. Дверь отворилась. Но вместо красавицы женщины выскочила красавица овчарка. Инстинктивно я поднял руку. И собака, весившая немного

более меня в то время, вцепилась в руку. Так что ещё одну порцию антирабической сыворотки в полном объёме я получил в награду за непреодолимое желание хоть на мгновение полюбоваться красотой. Анну я встретил в Москве, уже будучи аспирантом. Она была ещё красивее. Но я ей был не он.

Кадры решают всё

Филиалы недрёманного ока, а не специалисты. Не знаю, как сейчас, но в те годы, да и фактически до моего ухода на вольные хлеба, доверенные этого верховного органа в нашей стране определяли судьбу специалистов любого профиля и квалификации. В моём политическом семинаре была начальница отдела кадров нашего института. Семинары она посещала исправно. На семинарах не выступала. Но вопросы задавала чаще других слушателей. Вопросы были с подковыркой. Но «...инструктор, парень дока, деловой, попробуй, срежь!» А срезать меня очень хотелось. И не только ей. Особенно нашему директору и секретарю парткома. За все годы учебы у меня не было других оценок, кроме «отлично». Значит, я вполне мог получить красный диплом. А значит, хотя и теоретически, засорить уже очищенные кадры института. «Валить» меня на государственных экзаменах по специальности не решились. Да и вряд ли бы получилось, судя по запросу на меня в ординатуру от этих кафедр. Но был ещё и государственный экзамен по марксизму-ленинизму. Попытались. Экзекуция продолжалась больше часа. Но я стоял насмерть. Вигвам (в переводе: фиг вам). Скрепя сердце, пятёрку поставили. Красный диплом вручили. Но в институте меня не оставили.

Повезло!

Хорошо ещё, что мне, да и моим сокурсникам с 5-м пунктом вообще дали закончить институт. Кадровичка, участница моего семинара, неоднократно намекала о неопределённости моей судьбы. Вряд ли что-то от неё зависело, но в этих намеках была то ли угроза, то ли ожидание моления – «да минет меня чаша сия». Тогда я ещё не рассматривал возможность пессимального варианта, хотя настойчиво прорывались слухи о каких-то эшелонах, ждущих погрузки для транспортировки на Восток врагов народа, разумеется, еврейской национальности. О том, что так уже «переселяли», а точнее уничтожали калмыков, чеченцев, ингушей, мы не знали. К своему стыду, знали и одобряли геноцид немцев Поволжья и крымских татар. Книжонка Павленко «Счастье» была широко доступна.

Мы не задумывались о будущем. Овладевали специальностью, растили сына и активно участвовали в бесконечных собраниях и митингах, клеймивших «убийц в белых халатах». К таковым себя мы, разумеется, не относили. В марте

скончался вождь и учитель. Московского ажиотажа в Рязани не было. Пару раз «партийцев и комсомолов» подражали дежурить на вокзале, дабы не допустить неорганизованных поездок на его похороны. Слёз я также не видел. Похороны закончились. Власть в Москве поделили. Как-то сразу прекратились митинги и собрания, клеймившие отравителей. А через несколько дней...

Каждое утро мы пешком добирались до областной больницы, где проходили специализацию. Наш путь пролегал мимо дома, в котором комнату снимали наши друзья Элла и Веня. Был тёплый светлый день. Приятели ждали нас на улице, и Элла шёпотом сказала: «По радио передали, что выпустили врачей!». Вряд ли люди, родившиеся после 50-х годов, поймут, почему о сообщениях по общесоюзному радио («Эхо Москвы» тогда не было) нужно было говорить шёпотом. Анекдот того времени: генеральский «ЗиМ» въезжает на Арбат. Тогда Арбат, а не Рублёвка был правительственной трассой. Рядом с водителем сидит порученец, за ним – жена генерала, а за водителем – сам генерал. Водитель шёпотом сообщает порученцу: «Выехали на правительственную трассу». Порученец, обернувшись, также шёпотом сообщает супруге начальника эту тайну. Жена шёпотом сообщает это супругу. Тот громко вопрошает: «Почему шёпотом?» Водитель отвечает также шёпотом: «Горло болит! Вчера кружку холодного пива выпил». Страх рабов не выдален и до сих пор. В годы перестройки и о статье, напечатанной в официозе, не говорили по телефону.

Сообщение не оказалось вражеской «уткой». В Рязань вернулись изгнанные профессора. Свидетельствую: доцент Брегадзе, уже помывшийся на операцию, увидев входящего в операционную своего учителя, профессора Фаермана, презрев стерильность, бросился его обнимать. Дорогого стоит нарушение этого въедающегося в плоть и кровь хирурга закона. Однажды, будучи аспирантом, мне пришлось поехать с профессором Капланом – замечательным ортопедом-травматологом – в областной центр. Он оперировал, я проводил анестезию у какого-то местного начальника. Каплан оперировал сидя. Зачем-то ему потребовалось встать. И услужливый дурак, который, как известно, опаснее врага, табурет убрал. Каплан вернулся, хотел сесть. Упал с высоты своего почти двухметрового роста на копчик. Руки хирург всегда держит согнутыми в локтях кистями вверх. Кто ударялся копчиком, знает, какая это страшная боль. Уверен, что любой человек, кроме профессионала-хирурга, инстинктивно упрётся руками о пол. Каплан рук не опустил.

Эх, дубинушка, ухнем

И всё же ни меня, ни Венюку – фронтовиков, круглых отличников – не оставили в институте. Формальным поводом для того, чтобы не оставить отличника, фронтовика, общественника, подающего надежды учёного (запросы кафедр патологической физиологии, топографической и оперативной хирургии – на

экзамене по этой дисциплине мне поставили «б!», – факультетской хирургии и биохимии), было то, что у моей жены (и у Эллы) красного диплома не было. Поэтому, отвечая на вопрос комиссии по распределению – где мы хотим работать? – дружно ответили: «Там, куда нас пошлют, лишь бы по специальности жены (акушер-гинеколог) и моей (хирург)». Такой дубль нашёлся только у представителей Министерства морского и речного флота. Что-то слышалось родное для меня в самом названии министерства. И мы, как и герои Василия Аксёнова, немедленно согласились. Предстояло нам работать на Юге, в историческом городе Измаиле, когда-то покорённом Суворовым.

Аналогичные причины неоставления в институте нашлись и для двух других «полных» отличников – Вени Лирцмана и Буси Коган. Четвёртым полным отличником была Ира Ван-Фу. Китайкой она была лишь наполовину. Её оставили в ординатуре по хирургии. Какое-то время продержалась в институте. Потом изгнали и её. Ира была не только очень, очень способной студенткой, но и талантливым хирургом. Потенциально она бы могла со временем возглавить кафедру хирургии. А это уж никак не входило в планы нового её заведующего, сменившего временного московского профессора, кажется, Жмура. У нового заведующего был свой наследник, то ли сын, то ли зять.

Как бы то ни было, но мы стали врачами. И не просто врачами, а врачами-специалистами, получив распределение по своим любимым специальностям. Поэтому удался и вечер, посвящённый нашему распределению. Проходил он в здании бывшей гимназии, которую в своё время окончил Иван Петрович Павлов. И никто не мог исключить, что и кто-то из нас станет таким же настоящим учёным, а может быть, и нобелевским лауреатом, как наш великий учёный, один из двух русских (или полурусских, как Мечников), получивших Нобелевскую премию. Уж не помню, что и в каком количестве было из еды и напитков на столах. Но никто, даже я, не превысил норму. Нельзя же считать её превышением то, что я взобрался на стол и во весь голос запел «Дубинушку». И все 204 выпускника Рязанского медицинского института имени академика Ивана Петровича Павлова подхватили: «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зелёная, сама пойдёт, сама пойдёт!».

И пошёл, поехал наш курс по городам и весям России.

На Волге широкой

За назначением нам нужно было ехать в Москву, в министерство. Забрав немудрёный скарб, переехали из Рязани в родные пенаты. Пришли на Кузнецкий мост (кажется, там было это министерство) и получили новое свидетельство нашей «самой справедливой системы»: места в Измаиле были отданы выпускникам Одесского института. Через много лет я узнал, что это были родственники каких-то высоких партийных деятелей Украины. Был предложен Николаев, но мои родители заявили, что «только через их труп». Для них этот город был «чертой оседлости», из которой они выбрались и не хотели туда возвращаться. Предложили Чкаловск (не Чкалов (!), как написано обо мне в Российской еврейской энциклопедии). Поехал на разведку. И в Верхневолжском водздравотделе, и в больнице завода им. У.-Ленина (так она обозначалась в документах) встретили, как самых долгожданных родных. Даже сразу дали отдельную комнату в квартире с семьёй старого местного доктора Александра Александровича Афанасьева, сделавшего много доброго и больным, и мне.

Плыви, Лук!

Кажется, так научил плавать Алёшу Пешкова его отец, бросив не умевшего плавать мальчишку в реку. Он не потонул. Поплыл. Поплыл и я.

7 августа 1953 года мы с супругой прибыли к месту назначения. В нашей комнате уже был установлен заказанный для нас соседом традиционный полосатый матрас. Даже не на кирпичках, не на козлах. На ножках. На нём и была зачата наша дочь. Думаю, что именно в этот день (её день рождения – 8 мая). Заботами соседней в комнате был и стеллаж, а на кухне – столик. Не было только ни заведующего хирургическим отделением Нины Спиридоновны Сыровой, ни её операционной сестры. До моего прибытия обе они года три или четыре не были в отпуске. Впрочем, операционная сестра была. Другая. Только что освобождённая из мест заключения. На её предплечьях, как я потом увидел, были поперечные рубцы. Так обычно режут вены.

8 августа мы начали врачевание: Наталья в отделении акушерства и гинекологии (оно же роддом) под началом заведующей, я – единовластным, хотя и временным, хозяином хирургического отделения. Было в нём 30 коек, заполненных не более чем наполовину. Был август. И даже серьёзно больные, превозмогая болячки, «выздоровели», уйдя или в плаванье, или на своё подсобное хозяйство. Летний день – год кормит.

Двухэтажная больница была построена в честь своего знаменитого земляка Валерия Павловича Чкалова. Сверху – видел, когда летал самолётом на вызовы в соседние районы, – она и была самолётом. Операционная была пристроена поперёк фасада здания, напоминая размах крыльев его самолёта, перелетевшего из Москвы через Северный полюс в Америку. Операционная была на первом этаже. И любопытствующие устраивались наблюдать, когда шли операции, как когда-то мы, студенты, наблюдали, стоя на скамейках-подставках. Сколько наблюдавших сверзились, как когда-то я, не знаю. Но контроль за деятельностью вновь прибывшего хирурга был полный.

Момент истины

8 августа в три часа пополудни в отделение поступил подросток. Маска Гиппократ (запавшие глаза и запавшие щёки на сером лице) не оставляла сомнения в диагнозе – перитонит. Помылась и накрыла стол операционная сестра. Помылся я. В операционную пришли главный врач, старшая сестра больницы, заведующая гинекологией и моя супруга. Начал операцию под местным обезболиванием. Классическому методу Александра Васильевича Вишневого я был хорошо обучен. Хотя сегодня вряд ли какой хирург, разве что сумасшедший, оперирует перитонит под местным обезболиванием. Вскрыл брюшную полость. Брюшина была блестящей. Кишки не раздутые. Перитонита не было. И вдруг операционная сестра каким-то инструментом показала «опухоль» в брюшной полости справа внизу. Добро бы показала, но она проткнула её. Брызнул густой вонючий гной. В мои глаза-то ладно. Но струя ударила в диафрагму. И остановилось сердце. Больного. Полина Семёновна, «стоявшая на пульсе», – единственный монитор в то время – шёпотом сообщила об этом мне. И спасибо Милите Николаевне, заставившей нас прочитать сотни книг, не входивших в программу обучения, я знал, что такое «массаж сердца через диафрагму». И я сделал это. И сердце забилося. И разумеется, больному сделали кордиамин и камфару. И разумеется, дали кислород (из подушек). Разумеется, в вену ускорили капать физиологический раствор, а потом и кровь.

В гнойнике был расплавленный аппендикс. По всем правилам я осушил полость гнойника и поставил сигаретный дренаж. О таком, к чести Милиты Николаевны и моей, в больнице никто и не слышал. Очень рекомендую: марлевый тампон обёртывается лоскутом из резиновой хирургической перчатки.

Поэтому он долго не закупоривается, обеспечивая главное правило гнойной хирургии – *Ubi pus ibi evasuo* (где гной, там опорожни).

Операция закончилась. Больной остался жив, а я остался дежурить. Наверное, если бы этот больной умер, я бы уж точно бросил медицину, как когда-то решил после смерти ребёнка. Но, хоть и нескоро, этот больной выжил. И я начал врачевать и даже какое-то время (до 70-го года прошлого столетия) оперировать.

Дивное диво творят

У Некрасова написано так: «Воля и труд человека дивное диво творят». В эту же ночь в отделение поступил больной с острым аппендицитом. После оживления и операции подростка сил не было. Пока вызывали и доставляли операционную сестру, задремал, не дописав историю болезни. Часа через два, под утро, закончил операцию. Но ещё до её окончания дежурный врач – терапевт – сообщил, что поступил больной с ущемлённой грыжей. Отоспавшаяся дома операционная сестра бодро предложила мне мензурку разведённого спирта. Выпил. Взбодрился. Размылся. Посмотрел больного. Взял на операционный стол. К началу рабочего дня закончил операцию. Полина Семёновна накормила больничным завтраком – я в этот день был не только хирургом, но и дежурным по больнице. Осмотрел больных. Сделал перевязки. Дописал истории болезни. Совершил экскурсию по больнице. Прилёг в дежурке на кровать. И, конечно, немедленно поступил какой-то больной, нуждавшийся в срочной операции. Затем, среди ночи, ещё один. Потом кому-то ставил капельницу. Потом поступил пострадавший с ножевым ранением. И операционная сестра опять налила мне в мензурку разведённый спирт. Выпил. Взбодрился. Оперировал. Подремал. Утром осмотрел больных и был отпущен главным – отсыпаться. До вечернего приёма в поликлинике.

Уж не помню, этой или следующей ночью всё повторилось. И вновь мне была предложена мензурка. Я протянул руку и тут понял, что если не удержусь сейчас, не удержусь никогда. С тех пор я никогда не пил ни до, ни во время, ни после операций.

Я повторил подвиг в 84-м году, отказавшись от курения через 40 лет после того, как начал курить 14-летним мальчишкой. Курил всё: махорку и филичьевый табак (страшная гадость!), «Беломор», сигареты «Дукат», уполовиненные сигареты «Новые» и редкостные по тем временам «Житан». Конечно, это было абсолютно необходимо для терапии моего туберкулёза! Очередное обострение бронхита было не более тяжёлым, чем всегда. Но возраст был уже не тот. Я не только задыхался, как обычно, но сердце уже не побаливало, а останавливалось. И я загасил сигарету. Сразу и навсегда. Правда, я просил своих сотрудников курить у меня в кабинете. Мне до сих пор нравится запах хорошего табака. Но 25 лет Бог добавил мне за то, что я смог в одночасье бросить курить.

Чур, на старенького

Через пару дней приехала моя мама. И в эту ночь меня вызвали в больницу. Поступил пострадавший. Ему проломили голову «показкой». Ночью по соседнему с Чкаловском селу ходил дежурный с этим оружием – дубовая палка с поперечной дощечкой. Другой палкой дежурный, обходя село, стучал по «показке», предупреждая, что любой преступник не избежит кары. Уж не помню кого – то ли показчик, то ли показчика – стукнули этой палкой. Прибыл в больницу. Свидетели сообщили, что пострадавший какое-то время разговаривал, но скоро потерял сознание – типичный «светлый промежуток». Диагностировал вдавленный перелом черепа. Оперировал, разумеется, под местным обезболиванием. Пострадавший открыл глаза. Что-то пробормотал. Началось возбуждение – движения рук и ног. Вскоре пострадавший снова впал в беспамятство. Но движения были замечены наблюдавшими через окно операционной. А кто-то, наверное, санитарка, даже сообщил о «речевом контакте».

Утром мама пошла на местный рынок и, вернувшись, сообщила живо обсуждающуюся новость. Передаю в изложении мамы: «Этот носатый, еврейчик, голову Ваньки (Петьки, Серёги) разрезал, мозги вынул, прополоскал. А Ванька (Серёга, Петька) глаза открыл и говорит: «Спасибо, доктор!» И руку ему пожал».

Долго ещё пострадавший был в коме. Ничего для борьбы с отёком мозга, кроме гипертонического раствора поваренной соли, у нас не было, да я и не знал других методов. Через много дней наступило хоть и не полное, но выздоровление. Да и для чкаловцев это уже было не важно. Важно было для меня: городок признал меня хирургом. А в таких городках хирург – первое лицо после Господа Бога.

Городок наш – ничего

Чкаловск – бывшее село Василево – родина Чкалова. Этим определялось его общественное значение, то поднимавшееся в дни каких-то юбилеев, то сходявшее на нет в остальное время. Его настоящая жизнь была связана с судоремонтным заводом, которому и принадлежала больница. К заводу относился и затон, в котором зимовали пароходы, совершавшие летом грузовые и пассажирские рейсы по нашей главной российской реке. Заводу принадлежали и больница, и поликлиника, и ясли, и детский сад. Был ещё клуб имени героя, продовольственный, хозяйственный и даже книжный магазины. Хлеб и маргарин были. Были и многочисленные разноцветные наливки. Мясо и молоко можно было иногда (редко) купить на рынке. Зато было много рыбы. Даже стерлядки. Волга ведь была ещё не перекрыта!

Городок, точнее рабочий посёлок (в рабочем поселке были положены бесплатные дрова, в городе – нет), был на высоком берегу Волги. Другой берег был низким, открывавшим бескрайние заволжские просторы. Волга в этом месте была широкой, с небольшими песчаными островками, летом заменявшими крымские и кавказские (об испанских и итальянских мы и не мечтали) пляжи. На одном из таких пляжей и произошла трагедия – гибель нашей сокурсницы. Её, по утверждению жениха, смыло волной от проходившего парохода. Плавать она не умела, а жених оживлять не умел. Да и мы тогда не знали современных методов оживления. Очень скоро жених утешился, став мужем моей жены.

Квартирный вопрос, разумеется, был. Но жителей городка до конца он не испортил. Когда погибла наша сокурсница Рая Крюкова – одна из лучших людей на нашей Земле, город устал весь её неблизкий путь на кладбище и полевыми, и своими садовыми цветами. Рая недавно работала в Чкаловске. Но вращалась так, что надолго оставила о себе светлую память.

Да и когда я остался «отцом-одиночкой», моего сына, хотя ему не было трёх лет, взяли в детский садик (в нём было лучше, чем в яслях), а продавцы из продовольственного магазина, здороваясь со мной, говорили шёпотом: «Зиновьяч, мы там Сашке немного маслица оставили». Да и если бы не помощь моих коллег, старшей сестры больницы, её главного врача, вряд ли бы я смог выжить в эти годы одиночества. А так выжил. И не только выжил, но и сдал кандидатский минимум, подготовился к экзаменам в аспирантуру и доставил внука моим родителям живым и здоровым.

Было и другое. Несколько месяцев я помогал умиравшему фронтовику. Не от ран. Умирал он от последствий рака прямой кишки. Были у него гнойные раны. Перевязки были мучительными и для него, и для меня. Больной был страстным любителем книг. Был он боевым офицером. Дошёл до Берлина. Богатств не вывез. Но вернул на родину книги, увезённые в Германию каким-то библиофилом. В его библиотеке я впервые увидел том пушкинского «Современника» со стихами Тютчева. Больной настойчиво дарил его мне, но я, видит Бог, не взял, о чём до сих пор жалею.

Больной отмучился. На похороны я не пошёл. Но пришла его сестра и попросила прийти на поминки. Присутствующая при этом Наталья сказала, что я стал блее наших выбеленных извёсткой стен. А наш сосед и коллега поблагодарил и сказал, что придём. И мы пошли. Александр Александрович сказал, скорее приказал: «Делай, как я». Поминки начались чинно. Говорили о покойнике добрые слова. Потом запели песни. А потом... Тот, кто видел вторую серию эйзенштейновского «Ивана Грозного», вспомнит пир опричников. Мне стало плохо, хотя на этот раз я выпил лишь одну рюмку. Остальные рюмки я наполнял водой.

Дальний круг

Разумеется, в него входили партийные и советские начальники. Но главными были даже не начальство градообразующего, как теперь говорят, завода, а капитаны пароходов. Их приоритет был безусловным. Из всех материальных благ меня интересовали только книги. Не знаю, как они доставались официальным начальникам, но в книжном магазинчике я был только вторым. Первыми были командиры кораблей. Даже небольших. Поэтому главный дефицит – подписки на любые собрания сочинений мне доставались только в том случае, если не подписывался кто-либо из капитанов. Подписывался я на все остатки – полное собрание сочинений Чернышевского и даже Демьяна Бедного. Но всё же очередная библиотека пополнялась лучше, чем в Москве или в Рязани. В Чкаловске я открыл для себя Бориса Слуцкого.

Ни с начальством, ни с капитанами я не общался. Но именно один из почётных граждан нашего городка стал причиной моего преступления. У моей жены появилась подруга Тая. Была она по происхождению и облику коренной волжанкой – статной, симпатичной, вызывающе сексапильной. По профессии – акушерка. Примерно через год после нашего поселения Наталья заявила мне, что «буду я возражать или не буду, разведёмся мы или нет, но она сделает ей аборт (аборты были ещё запрещены)». Мой максимализм к этому времени уже размяк. Я возражать не стал, и подруга была избавлена от этой незаконной, а следовательно, по этическим нормам городка позорной беременности.

Далее события развивались так. Когда мы разошлись (по моей вине), хоть ещё и неформально, и жена уехала с сыном в Москву, её подруга стала моей подругой. Именно она отвезла в Москву мою дочку, вернув мне сына. А 5 мая 1956 года, на Пасху, я оперировал в первый и в последний раз своей жизни ранение сердца. Описание операции имеет историческое значение: после этой моей публикации журнал «Хирургия» заявил, что в дальнейшем он не будет публиковать работ о случаях ранения сердца. Операции на сердце стали столь же обыденными, как грыжесечения, аппендэктомии и резекции желудка. Нужно ли говорить, что несколько дней я фактически не выходил из больницы. Городок ожидал результатов операции не менее взволнованно, чем граждане страны в марте 53-го года результатов болезни усатого.

Раненый поправлялся. Слава моя крепла. Количество предложений масла для сына увеличивалось. Но незадолго до этого ко мне пришла Тая, бросилась мне в ноги, умоляя восстановить её девственность. К ней сватался капитан. Большого счастья для девушки в нашем городке быть не могло. И я согласился. Через несколько дней после Пасхи Тая приготовила у меня дома всё для операции. Нужно добавить, что в это время уже разрешили аборты, и главный врач предложил мне полставки, чтобы я делал эти операции. Клятвы

Гиппократ я не произносил, но аборт делать отказался, хотя деньги мне были очень нужны.

Я был приверженцем максимальной стерильности во время любых операций. А так как оперировать я должен был в «военно-полевых условиях», то вымазал руки до локтей йодом. И в это время раздался настойчивый стук в дверь. Мысль была одна: что-то случилось с моим раненым, и я открыл дверь. На пороге стоял главный врач. Он пришёл по какому-то пустяковому делу. Увидел мои измазанные йодом руки, решил, что дома-то аборт я делаю!

Правду он узнал, но лишь через год, когда я, будучи аспирантом, приехал с первой навигацией навестить Чкаловск. Чемоданчик я оставил у друзей, на своей старой квартире. Была она рядом с поликлиникой. И я начал обход друзей с её посещения. Первым был кабинет гинеколога – единственного из врачей владельца 401-го «Москвича» и коровы. Увидев меня, коллега вместо «Здравствуйте!» закричала: «Алексей Зинович! Как мы Таю замуж выдавали!» Оказалось, что Тая согрешила ещё раз. И уже не я, а наш славный гинеколог повторил моё действо. Взяв, по словам Таи, 500 рублей. По тем временам деньги большие.

Осенью накануне свадьбы к матери Таи пришла сестра капитана и сказала: «Мы слышали, что ваша дочь девушка нечестная. Если это так, пусть лучше сразу, до свадьбы, уезжает из Чкаловска». В Чкаловске не было обычая выставлять простыню – свидетельство непорочности невесты. Было другое: мать невесты давала после первой брачной ночи молодому мужу стакан водки, и если он водку выпивал, девственность удостоверилась. Всю ночь мать не спала. Рассказывает Тая: «Смотрю с антресолей. Мать, дрожа, подаёт мужу стакан. Тот с таким удовольствием выпил, что мать на радостях грохнула об пол стопку перемазанных тарелок». Через несколько лет в этой семье появились дети. И судя по всему, Тая и её муж будут жить долго, счастливо и, даст Бог, умрут в один день.

Ближний круг

То ли из-за разницы в возрасте, то ли из-за соблюдения этических границ, мы – Наташа и я – не дружили семьями с опекавшими нас главным врачом и старшей сестрой больницы. А люди они были замечательные. Такого порядка и чистоты я за всю свою долгую врачебную жизнь не встречал ни в одной другой, самой номенклатурной больнице. А главное, была абсолютная доброжелательность. Даже со стороны сестёр, входивших в номенклатуру городка (жён секретаря райкома и председателя райисполкома). Я не помню ни одной жалобы больных на уход, на питание, на плохое бельё. Холодильников, а тем более морозильников, тогда не было. Но в больнице всегда было моё любимое противовоспалительное средство –

лёд. Его намораживали зимой во дворе больницы, укрывали соломой, и льда хватало на всё лето.

Главный врач был вообще уникал. Полагаю, что это был единственный случай, когда газета «Правда» – дала опровержение на свою же клевету на него, прежде обвинив его во всех смертных грехах. Собственно говоря, поэтому он и оказался в Чкаловске, будучи до этого руководителем здравоохранения областного масштаба. В область он не вернулся. Больницу держал в идеальном порядке. И делал всё, чтобы выполнялся главный принцип настоящей медицины: *Salus aegroti suprema lex* (польза больного – высший закон).

Дружили мы с Таей и Нюнчиком – непутёвым братом главного хирурга Верхневолжского водздравотдела. Работал Нюнчик техником на каком-то нескончаемом строительстве в нашем городке. Но у него была и главная «профессия» – был он канавинский хулиган. Оба брата родились в Канавино. Есть такое хулиганистое место в Нижнем Новгороде. Вроде нашего московского Проточного переулка (см. у Ильи Эренбурга). Отсидел срок. Был удалён из Нижнего (тогда Горького). Человек он был вспыльчивый, но добрый, да и утихомирившийся после «чалянья». Когда у нас сложилась дружеская компания, то вечерами мы, распив бутылочку наливки (одну на 5–7 человек!), читали вслух какой-то свежий литературный журнал. Нюнчик дремал. И лишь тогда, когда зачитывались строки о вполне достойной нашего социалистического строя любви героев, вопрошал: «Так чпокнул (синоним нынешнего термина «трахнул») он её или не чпокнул?» Присоединилась к нашей компании семья очаровательного педиатра с мужем-инженером. Им я потом и передал выделенную мне через год квартиру. И наша замечательная сокурсница Рая. Удалось перевести к нам нашу сокурсницу Милу с её супругом, весёлым грузином. Анекдотов он знал меньше меня, но зато умел показывать фокусы с картами и изображать однорукого флейтиста, который, когда выпивал, удерживал флейту у ширинки штанов весьма оригинальным методом.

Но однажды на крутом волжском берегу у клуба имени В.П. Чкалова ко мне подошла судьба. Наша компания ждала киносеанса. Значит, дело было вечером, в воскресенье. Судьба предстала в виде худощавого мужчины с несколько аскетическим иконописным лицом. Лицу явно не соответствовала одежда: тёмная фетровая шляпа не сочеталась с серым прорезиненным плащом и кирзовыми сапогами. Нюнчик представил своего начальника. Главного инженера стройки. Звали его Денис Николаевич. Познакомились. Потом и подружились. Был он потомком великого рода Бенуа. Соответственно образован. Знал несколько иностранных языков. Великолепно играл в пинг-понг (тенниса, разумеется, в нашем городке не было). Окончил архитектурный институт. Отсидел 10 лет, рассказав каким-то девицам анекдот, слышанный им по немецкому радио (был он слушателем-переводчиком – кажется, так). Он быстро оттеснил меня в нашей компании на второй план и стал женихом Раи.

Чёрная полоса

Евреи во время молитвы облачаются в специальное одеяние – талес. Это такое покрывало, в котором белые полосы чередуются с чёрными, символизируя, наверное, превратности жизни. В конце зимы, когда развезло ледник – нашу единственную сухопутную дорогу, связывающую Чкаловск с Горьким, – меня начала трясти лихорадка, а сердце стучать в правой половине грудной клетки. Диагностировали левосторонний плеврит. Главный врач организовал транспортировку меня на тракторе в областной туберкулёзный диспансер, где меня подлечили, и с первой навигацией я вернулся в Чкаловск.

Жена за это время успела родить дочь, названную в честь нашей первой хирургической учительницы Татьяной, и взять очаровательную молоденькую нянюшку. Однажды я оказался наедине с ней. Грех свершился. Девушкой она не была, но и 18 лет ей не было. Нянюшку жена быстро отправила к родным, наша компания молчаливо осудила меня, но не изгнала. Впрочем, я редко стал бывать на вечерних посиделках. Моя заведующая уехала на какие-то курсы усовершенствования, и на полгода я остался единственным хирургом не только в нашем городке, но и в большом Приволжском районе. В некоторые его поселки, например в Пучеж, можно было добраться только самолётом.

Я не только отделился от нашей компании, всё дальше отдалялась от меня и супруга. А уж когда нам вместо комнаты дали шикарную по меркам городка трёхкомнатную квартиру, бывшую квартиру директора завода, мы и вовсе стали спать в разных комнатах.

Не знаю, наладилась бы наша супружеская жизнь или нет, но в августе утонула Рая. Компания наша распалась. Дениса перевели с повышением в Горький. Наташа, не простив мой грех, уехала в Москву. Я остался с дочкой, а через несколько месяцев наша общая подруга заменила мне дочку на сына. И я стал отцом-одиночкой. Правда, не без помощи женщин-добровольцев. Они не только скрашивали выпадавшие иногда свободные от врачевания часы, но и помогали по хозяйству, нашли мне хромую няньку-старушку, устроили сына в детский сад. Появлялись часы просвета, посиделки закончились, и я начал готовиться к поступлению в аспирантуру. Чаще ночью, перемежая самообучение английскому языку с чтением Лермонтова и Блока и писанием горестных виршей, кои я тогда считал стихами.

Белая полоса

Повторю: незнание – источник оптимизма. Я не знал, что в это время у отца развился первый инфаркт миокарда. Родители от меня это скрыли, а я даже не удивился, что летом 55-го года мама не поехала со мной и внуком по

Волге. Делегировала Милиту Николаевну. Так что я в очередной раз прошёл курс усовершенствования по хирургии. Отпуск быстро закончился. В отпуск ушла моя заведующая, и я опять остался один.

Больных было много. Я стал лучше и диагностировать, и оперировать. Поэтому на операцию ложились и те больные, которые раньше уезжали в Горький. Может быть, я не оперировал так блестяще, как мой непосредственный шеф Давид Львович Пиковский и тем более как гениальный хирург Борис Алексеевич Королёв, но уж выхаживали в вашей больнице больных, не жалея сил и души. Да и главный врач всячески способствовал моему совершенствованию. По субботам, когда была навигация, с благословения Александра Александровича Афанасьева я уезжал в Горький, дабы подежурить в клинике Бориса Алексеевича. А когда моя заведующая не усовершенствовалась или не болела, то я и в будни на несколько дней уезжал в Горький сдавать кандидатский минимум и ассистировать на операциях у своего шефа и даже на операциях Бориса Алексеевича.

Рассказать и объяснить, как можно так блестяще оперировать, я не смогу. Не мог я рассказать это и моим коллегам в нашей больнице. Но однажды летом я оперировал мальчишку, привезенного из пионерского лагеря, по поводу перфоративного аппендицита. В толстом гнойном червеобразном отростке было четыре дырки. Отросток я удалил. Брюшную полость отмыл. Поставил свой любимый сигаретный дренаж. Мальчонка начал поправляться. И вдруг к больнице подкатило несколько «Побед», коих в Чкаловске и не выдывали. Оказалось, что этот мальчик был сыном коммерческого директора Горьковского автозавода и в автомобилях, кроме отца и матери, было несколько самых известных профессоров. Был и Борис Алексеевич. Ребёнка осмотрели. Одобрительно похлопали по плечу. Директор предложил мне купить в рассрочку автомобиль, стоивший тогда 16 000 рублей, т.е. 20 моих месячных зарплат. Мать осталась до выздоровления сына в Чкаловске. Начальство и профессора уехали. Кроме Бориса Алексеевича. Как теперь говорят, он провёл «мастер-класс».

Одна из самых частых и самых тяжёлых хирургических патологий у речников – облитерирующий эндоартериит. Теперь это заболевание называют облитерирующим атеросклерозом. Заканчивается эта болезнь ампутацией ног. Тогда даже в самых лучших клиниках ещё не делали обходных путей, минуя закупоренный участок сосудов. Вся надежда была на сосудорасширяющие лекарственные средства и удаление нескольких узлов (ганглиев) симпатической цепочки. Впрочем, не знаю, как сейчас, но ещё совсем недавно, даже после современной операции вживления искусственных сосудов, хирурги дополняют её удалением этих ганглиев. Так и сделал великий Дебеки, оперируя мужа Марлен Дитрих.

Таких знаменитостей в нашей больнице не было. Были списанные с кораблей простые работяги – лоцманы, машинисты, палубные матросы. Борис Алексеевич изучил истории болезни и сказал, что будет оперировать двоих,

да вот операционного костюма у него нет. Современных костюмов у нас не было. Оперировали в обыденном одеянии. А я надевал свои «фирменные» полотняные брюки. Их я отдал Борису Алексеевичу. Ассистировал в семейных трусах. Оперировал он под местным обезболиванием по типичному методу А.В. Вишневого. Ах, если бы вы видели «лимонную корочку», сделанную им! Лимонная корочка – ключ местного обезбоживания. Тонюсенькой иглой раствор местного анестетика (тогда 0,25% свежеприготовленного новокаина) вводят не под кожу, а между эпидермисом и дермой. Кожа на месте будущего разреза утолщается, а окрашенная раствором йода, напоминает, если сделана *legi artis* (по всем правилам искусства), цедру цитруса. Уже потом раствор обезболивающего средства вводят глубоко.

От первого укола до последнего шва вся операция, фактически без крови, не заняла и 20 минут! Точный по минимально необходимой величине разрез кожи, точное бескровное разделение мышц, закрывающих симпатическую цепочку, точный выход на неё и аккуратное удаление двух ганглиев. Столько же времени продолжалась и вторая операция. Я понимаю учеников, готовых целовать руки учителя. Я не сделал этого, о чём сожалею. Я даже не проводил Бориса Алексеевича, оставшись с больными. Провожал его в Горький наш главный врач на нашей старенькой больничной машине, у которой и амортизаторов уже давно не было. Я потом много раз проделывал эту операцию. Мне никогда не удавалось сделать её быстрее полутора часов и, увы, нередко приходилось восполнять кровопотерю.

Кандидатский минимум я сдал, но шансов поступить в аспирантуру, памятуя распределение в институте, у меня было мало. Но ведь это был 56-й год! Нас, членов партии, собрали в райкоме и за закрытыми дверями прочитали то закрытое письмо, с которого началось трудное возрождение (увы, временное!) моей страны. Я далеко не сразу перестал быть «сталинистом». Да и не я один. Но к экзаменам в аспирантуру (подал сразу в два института) я был допущен и в августе этого года приехал в Москву сдавать экзамены.

Возвращение на Итаку

Необходимо было вернуться в Москву. Лучше бы – в Горький, к Борису Алексеевичу. Но никаких реальных возможностей не было. Найти в Горьком жильё мужику с ребёнком было трудно и дорого, а родители теперь, после инфаркта отца, помогать не могли. Да и стыдно было 27-летнему мужику ждать от них помощи. Хотя всё равно на маму легло всё: и большой отец, и внук, и неустроенный сын.

Мне повезло больше, чем Одиссею: тот странствовал 20, а я – всего 15 лет. Да и то три года из них провёл в родных пенатах. Но Одиссея, хотя он грешил – поболею меня, ждала Пенелопа. Моя жена уже уехала из Москвы в Горький к Денису.

Мои патриотические порывы были вознаграждены. Оказалось, что я потерял право на постоянное жительство в Москве. Мне была разрешена лишь временная прописка, да и то, если буду принят на учёбу. Это не поколебало моей веры в самое справедливое общество на Земле. Как Васисуалий Лоханкин, я решил, что так надо, что, может быть, в этом «сермяжная правда. Она же – кондовая, посконная и домотканая». Через три года прописать меня «на постоянно» удалось отцу. Как, не знаю. Думаю, что несмотря на свой первый инфаркт, дополненный первым инсультом, он сохранил своё невероятное обаяние: женщины всех возрастов и рас ни в чем не могли отказать ему. А ведь даже паспортистки – тоже женщины.

Сим-Сим, откройся

Экзамены в аспирантуру по хирургии я сдавал в двух институтах – Центральном институте усовершенствования (ЦИУ, относящемся тогда к Минздраву СССР) и 1-м медицинском им. И.М. Сеченова (1-м МОЛМИ, относящемся к Минздраву Российской Федерации). В резерве у меня была ординатура по хирургии лёгочного туберкулеза.

Мечтал же я о том, чтобы попасть на кафедру или профессора В.И. Казанского (ЦИУ), или Б.В. Петровского (1-й МОЛМИ). Самым сложным разделом хирургии

в те годы была хирургия пищевода. Ещё на первом курсе мне посчастливилось слушать об этом лекцию С.С. Юдина. Потом я приобрёл монографии и Петровского, и Казанского, посвящённые этой проблеме. А за годы работы в Чкаловске придумал собственный метод и даже отработал его на трупах. Самое трудное в хирургии пищевода – создание ложа за грудиной, в которое ляжет искусственный пищевод. Делали его из участка тощей кишки. В монографии о ранениях сердца великого хирурга Ю.Ю. Джанелидзе я нашёл описание доступа к сердцу продольным расчленением грудины. Теперь – это самый обычный доступ. Тогда же, когда я уже стал аспирантом, на мое предложение доцент Минин только pokrutil пальцем у виска. Доцент этот был из 50-х годов. Его роль в науке точно оценил мой коллега-аспирант: «Науке нужен Колька Минин /Как старой б... крепкий гимен». Увы, я немедленно сдался. Наверное, это был мой первый, но далеко не последний компромисс в науке.

Первым я сдавал экзамен по хирургии в ЦИУ. Среди принимавших экзамен был и профессор Казанский. Он-то и пытался меня «завалить», задав вопрос, на который я до сих пор точного ответа не знаю: «Как обрабатывать раны пальцев от укуса бешеной собаки?» Обрабатывать раны явно было нужно, но что иссекать на пальцах, на которых и без того кожа «на пределе»? Казанский морщился, когда я, на ходу придумывал метод обработки таких ран. Но остальные экзаменаторы вполне доброжелательно кивали, и я стойко отражал натиск Казанского. Все другие мои ответы сомнений не вызвали даже у Казанского. По хирургии мне всё же поставили «5». Единственная четвёрка была по английскому языку. Так что я набрал 24 очка. Столько же и будущий профессор Виктор Адольфович Гологорский. Третий кандидат – мой сокурсник – набрал только 23 очка. Но в аспирантуру этого института всё же зачислили не нас, а его. Оказалось, что у одного из профессоров была не очень красивая дочка, учившаяся на одном курсе с нашим конкурентом. Профессор очень надеялся на их брак. Увы, аспирант не оправдал ожиданий: не защитился, не женился, но зато стал наркоманом. Не знаю, жив он или нет, но в науке он не появился.

Страстная мечта – заниматься хирургией пищевода, т.е. попасть на кафедру Казанскою – побудила меня ещё к одной глупости: жалобе в министерство на несправедливость. Совсем забыл услышанное мною на гауптвахте в Таллине: «Ты что, справедливость в армии пришёл искать?» К медицине это сомнение также относится. Получил ответ: «До аспирантуры вы уже были зачислены в ординатуру по хирургии лёгочного туберкулёза». Свобода выбора, как тогда, так и теперь, в нашей стране была не в счёт.

У Врат храма

Мы с Виктором Гологорским всё же поступили в аспирантуры: он во 2-й медицинский институт, я в 1-й (он подчинялся другому министерству, не тому, который зачислил меня вместо аспирантуры в ординатуру). Хорошо, что мы с Виктором

поступали в разные институты. Я не был ему конкурентом: он был подготовлен лучше меня. Светлая ему память. Он был абсолютно бескорыстен. Думаю, что не я один пользовался его конспектами. Много лет он был Главным реаниматологом России, но лишь перед самой смертью был «удостоен» избрания членкором РАМН. Погиб он от трагической случайности. Его оперировали по поводу перелома шейки бедра. Из-за несуществующей, по мнению какого-то профессора Хворобьёва, болезни – остеопороза. В конце операции – замены тазобедренного сустава – оторвался и закупорил лёгочную артерию тромб. А ведь именно Виктор так много сделал, чтобы удавалось спасать больных от этого смертельного осложнения.

Экзамены по хирургии я сдавал профессору Великоорецкому. Судя по пятёрке с плюсом, сдал отменно. Набрал 24 балла, получив четвёрку по марксизму-ленинизму (!) из-за моей некритической оценки «Вопросов ленинизма». Это был 56-й год, я ещё не выдавил из себя сталиниста, а наши медицинские идеологи уже перестроились. Вряд ли это повлияло на выбор кафедры, но зачислили меня не на ведущую кафедру – Б.В. Петровского, а на второстепенную кафедру санитарно-гигиенического факультета, которой заведовал И.С. Жоров. Меня утешало лишь то, что в одной из монографий моего хирургического бога – С.С. Юдина об этом профессоре были очень доброжелательные строки.

Аспирантура начиналась 1 октября. Сын остался у родителей. Я завершил свою жизнь в Чкаловске. Чудом, с помощью отца оперированного мною мальчонки, передал свою квартиру друзьям. Обустроился в Москве, в нашей старой квартире, на моём старом месте. Только теперь к кровати и половинке ломберного столика добавилась чешская деревянная кровать. Сына удалось устроить в детский садик. Но детский сад был у Арбатской площади, до которой добираться нужно было – вроде недалеко – почти час. А я – может быть, это моё единственное достоинство – никогда не опаздывал на работу. Научило и приучило меня не опаздывать трагическое событие. Во Владивостоке рядом с нашим красавцем «Буревестником» стоял близнец, увеличенный в 10 раз, – крейсер «Лазарь Каганович». На этом крейсере шифровальщиком служил мой кореш, который, в отличие от меня, сходил в Америку. Узнав о моём «подвиге» – получении диплома о верхнем образовании, решил идти по моему «живому следу». По возможности занимался у меня в рубке (держат учебники в шифровальной комнате было нельзя). Однажды мы прозевали сигнал боевой тревоги. Тревога был учебная, но люки на крейсере задраивались по-настоящему и в положенные сроки. Моему другу люк обрубил пальцы.

Поэтому за три дня до начала аспирантуры я пошёл на разведку. Кафедра работала на базе хирургических отделений 13-й городской больницы. От моего дома это было достаточно далеко, так что на дорогу нужно было не менее часа. И в эти три дня я опробовал все варианты маршрутов.

Наступил четвёртый день. Я рискнул пойти в храм. Увы, по сравнению с моей больницей в Чкаловске этот храм был весьма неухожен. Больные лежали

даже в коридорах. На прикроватных тумбочках кривились алюминиевые миски с недоеденной кашей и грязными ложками, металлические кружки с недопитым чаем, надкусанные куски хлеба и хлебные крошки. Правда, к обходу профессора наводился марафет. Но в нашей чкаловской больнице такого я не увидел бы и в страшном сне. Бывало, разбивали фаянсовые тарелки и кружки, но Полина Семёновна чудом заменяла утраченные бьющиеся предметы. А уж представить себе неубранные остатки еды было просто невозможно. Ещё больше меня поразили халаты врачей и сестёр. Даже на сотрудниках кафедры – для меня они были заместителями Бога на Земле – за редким исключением халаты были мятыми и вовсе не слепили глаза белизной. В нашей чкаловской больнице меня и всех врачей утром ожидали выбеленные накрахмаленные халаты и шапочки.

Разыскал доцента кафедры. Представился. Радости от моего появления доцент не выказал. Напротив, был весьма растерян. Шефа в этот день на кафедре не было, а принимать решение без санкции начальства в те годы, как и сейчас, было не принято и опасно. Конец 50-х годов забыт не был. Один из доцентов пережил изгнание с кафедры в 52-м. Теперь он заведовал больничным отделением. Отвечал он за составление расписаний дежурств. Был он еврей. Поэтому его главной заботой при составлении расписания было не формирование полноценной группы дежурных, а национальный состав: в группе не должно было быть двух евреев или двух других представителей нацменьшинств.



Я был отпущен домой, и мне было предложено предстать перед очи заведующего кафедрой через несколько дней. Явился. Предстал и представился. Особой радости шефа от появления молодого и, безусловно, но моему мнению, талантливого сотрудника я не почувствовал. Был прикреплен к доценту, немедленно получил палату с десятком больных, назначение на дежурство и напечатанный на машинке список тем, рекомендованных для написания диссертаций. О реакции доцента на мою идею доступа через грудину я уже писал. Из нескольких десятков названий знакомо было только одно – «авертиновый наркоз».

*Мой двоюродный брат (увы, покойный)
профессор Виктор Львович Маневич –
завкафедрой хирургии ЦОЛИУВ*

Брат был единственным знакомым в московском медицинском научном мире. Хотя и не остепенённый, он уже был ассистентом на кафедре ЦИУ. Это был год оттепели. Но и в самые страшные годы брат, работавший тогда в институте онкологии, оставался едва ли единственным евреем, научным сотрудником, хоть и младшим. У него были не только талантливейшие мозги и руки, но и бездна обаяния, хотя красавцем, в отличие от своей жены, он не был. И признавали его таланты не только женщины, подходящие по возрасту и социальному статусу, но и дамы номенклатурного возраста и положения. К нему я и обратился за советом. Всегда хорошо свою вину свалить на кого-нибудь. И теперь я говорю, что это из-за Виктора я стал анестезиологом, продав право первородства (хирургия) за чечевичную похлебку карьеры в этой нелюбимой мной специальности.

В науку через ж...

Вряд ли кто-нибудь из современных анестезиологов XXI века знает или хотя бы помнит о таком методе общей анестезии. Но когда-то этот метод претендовал на избавление больных от мучений вдыхания паров эфира или от остановки сердца от хлороформа. Авертин (от французского глагола *avertir* – предупреждать) вводили *per clisam* (в прямую кишку). Через десяток минут больной спокойно, без возбуждения засыпал. Но проблем с этим наркозом (использую хоть и не точный, но привычный термин!) было множество. Наркоз то не наступал, то был слишком глубоким и опасным. В общем, проблем было «выше крыши», а уж что я знал в хирургии хуже всего, так это проблемы общей анестезии. Почти всё, что и я, и мои учителя оперировали, можно было оперировать под местным обезболиванием по методу тугого ползучего инфильтрата. Уж не знаю, правда это или нет, но когда операцию на желудке под таким обезболиванием демонстрировали знаменитому английскому анестезиологу сэру Роберту Макинтошу, он спросил: «Вот это и есть коммунист?».

Первый звонок

Аспиранту положен библиотечный день. Грешен: в первый месяц своей научной карьеры я использовал его совсем не по назначению: предстоял развод. Бывшая супруга, нарушив договоренность о разделе детей – нашего единственного имущества, требовала обоих детей себе. Может быть, я бы и согласился, но для моих родителей Сашка был единственным светом в окошке. Как всякое деление имущества, и наше юридическое расставание было – каюсь – малоинтеллигентным. Но сына я отстоял. Не знаю, может быть, его мать и воспитала

его более успешным, чем воспитали его мои родители и я, но вот уже полвека мы вместе. Он далеко не идеальный сын (увы, был!), но он доброжелателен и дружелюбен, не завистлив и почти бескорыстен. Его самый неинтеллигентный (по моему мнению) поступок – нежелание общаться с матерью.

Для меня развод закончился первым приступом грудной жабы или, по современному, приступом стенокардии. Отец, ждавший у здания суда, и поставил диагноз, и купировал приступ, поделившись каплями Вотчала из своего флакона. Так я и живу с тех пор с различными вариантами нитроглицерина.

Добро бы только с ним! Но ведь беда не приходит одна. И через несколько дней я решил проявить плёнку, на которой были увековечены мои чкаловские друзья и коллеги. Проявлять плёнку в коммунальной квартире можно было только в нашей же комнате. И я, «дождавшись, когда хозяева (родители с их внуком) ушли», не к заутрене, а на наш «Кружок», решил заменить обычную лампочку на лампочку, льющую красный цвет. Потом уж закрыть окна чёрными бумажными шторами, оставшимися с военного времени. И вдруг стол, на котором я стоял (потолки в нашей комнате были высокими), ещё не вкрутив красную лампочку, стал ярко алым. Из моего горла хлынула кровь. Диагноз был понятен даже ежу. Надо было лечиться, а главное – не заразить сына. И я на долгие месяцы выбыл из аспирантуры.

Туберкулина

Мой друг (теперь, увы, покойный) Саша Астафьев устроил меня в лучшее туберкулёзное заведение Москвы – Центральный институт туберкулёза. Потом много раз я был и его пациентом, и его консультантом уже на Яузе. В первый же раз меня положили в его филиал у Котельнической набережной. Рядом был «Иллюзион». Мой опыт был не лишним, и я организовывал «самоволки»: реже – в ближайšie пивнушки, чаще – в кинотеатр. Тогда вышла «Карнавальная ночь», которую мы смотрели, наверное, раз пять. Но чаще, когда не было кровотечений, изнуряющих лихорадок или реакций на антибиотики, травили байки, тайком курили, немного прикладывались к горячительным напиткам и... влюблялись.

Мне казалось это удивительным. Казалось, «перебиты, поломаны крылья», а мы, разумеется, и я надеемся на продолжение жизни. Прочитав через много лет Шаламова, понял, что все мы, весь наш народ (уверен, что и все другие народы) в любых обстоятельствах сохраняет веру и надежду. Наверное, наш главный Бог – Бог с женским лицом – Надежда. Даже если «в начале» было не слово, а отчаянье. Ведь навалилось всё: неопределённость с сыном, болезнь отца, моя болезнь и убегавшие дни моего срока аспирантуры. Мама разрывалась между внуком, отцом, мной и зарабатыванием денег – бесконечными страницами машинописи. У меня долго не прекращались кровохарканья и всё прозрачнее становилась надежда на возвращение в аспирантуру или хотя бы к любимой

работе хирургом. Писались горькие вирши: «Тонкой едкой пылью, / серой паутиной / мысли, взгляды, чувства – / всё покрыто тут; / оплетают, стягивают / тело, как резиной, / как петлёй на шее – / конопляный жгут».

Лучи света в тёмном царстве

Спасли меня две женщины. Первой была Валентина. Она была моей коллегой – врачом-фтизиатром. В отличие от меня, не временной, а урождённой нижегородкой. Прошли десятки лет, но если во мне и остались крохи веры в бескорыстную доброту, то только благодаря ей. У неё был не только туберкулёз, но и тяжелейшая непереносимость всех лекарств. На все противотуберкулёзные препараты у неё развивался шок. Поэтому приходилось искать новые лекарства. Но и самые новые, не вызывавшие у других больных никаких нежелательных реакций, едва не убивали Валентину. После каждой инъекции она почти умирала. Падало артериальное давление, и нитевидным становился пульс. Но после того как её удавалось вывести из шока, она начинала улыбаться и утешать нас, гораздо менее тяжёлых больных.

Мы тогда не были близки физически. Долгие годы нас разделяло и расстояние, и её верность семье, и мои «загибы». Это разделяет нас и сейчас. Но когда бывает очень плохо, я вспоминаю Валентину, мне становится стыдно, и я начинаю улыбаться, как улыбалась она, едва вернувшись с того света.

Кровотечения всё же остановили. Друзья устроили меня в подмосковный туберкулёзный санаторий. Была середина марта. От станции нужно было идти 3-4 километра снежным полем. В конце марта снег начал подтаивать. Всё, как у Тютчева: «Ещё в полях белеет снег, / А воды уж весной шумят...»

Лекарства кровотечения остановили, но зубы испортили. Без особой нужды к зубному врачу никто не пойдёт. А я ходил. Даже когда зубы залечила стоматологиня, жившая и работавшая в этом санатории. Она родилась, выросла и стала врачом в Харбине, куда эмигрировали её родители. А потом было возвращение на родину. Ей повезло: её отправили не в ГУЛАГ, а в Подмосковье. Но диплома врача-лечебника не признали. Разрешили работать зубным врачом. А врачом она была удивительным. Жужжание бормашины вселяло не ужас, а твердую веру, «...что в тихой гавани все корабли».

Мы подружались. Через день она подрабатывала в соседнем городке, расположенном километрах в 20 от санатория. Добиралась от него на электричке. Возвращалась поздним вечером. От железнодорожной станции по голому полю шла одна. Мне было позволено её встречать. Всего было 18 таких вечеров, или 18 часов, – время в пути от станции до санатория. Мы любили одних и тех же поэтов, ту же музыку. Но она была, как и Валентина, 100%-ной оптимисткой.

Валентина и она (Анастасия) отдали мне половину своего оптимизма. Это и составило почти 100% моего на всю оставшуюся жизнь.

Аз Вельми грешен

Возвышенные чувства – возвышенными чувствами, а плоть – плотью. Ни лекарства, ни постоянное ощущение недоедания (кормили не ахти) не только не избавляли от весенних томлений, а скорее усиливали их. В санатории был клуб. На танцы, несмотря на строжайшие запреты, приходили, кроме больных санатория, девушки из соседних селений. Девушки были красивы и добродетельны. Требовались усилия. Главное – пробудить сострадание. Это ведь главное слабое место в неприступной крепости русских женщин. А уж я, как писал Маяковский, «...заговариваю зубы, только слушать согласись». Мне удалось заговорить и вызвать сострадание у самой красивой – хотите верьте, хотите нет – девушки. Жила она в общежитии. Поэтому встречаться могли только в лесу. Правда, мы не пили берёзовый сок. Мы находили подсушенные проталинки и занимались любовью. В меру нашего понимания этого термина. Да простится мне этот грех, ведь была весна!

Вторая попытка

В июне я вернулся в аспирантуру, съездив до этого на разведку в Чкаловск. На случай пессимального варианта – провала учёбы в аспирантуре. Каюсь, впервые за все годы моей сознательной жизни я не прочёл ни одной книги. Не только по специальности, но даже поэзии. Жалел себя. Свою неудавшуюся жизнь. И всё же вернулся к жизни. Спасибо женщинам и моим генам.

Мне вновь была доверена палата с больными. Но к операциям меня не допускали. В июне я впервые присутствовал на операции. Точнее, начал обучаться современному методу, как тогда говорили, эндотрахеального наркоза. Проводил его единственный специалист по такому методу общей анестезии (не «общего наркоза!» – наркоз местным не бывает!) в клинике – Борис Губертович Жилис. Человек он был своеобразный – темпераментный и знающий. Но было в нём, впрочем, как и во многих из нас, немного Хлестакова. Как-то я рассказал о больном, у которого язва 12-перстной кишки прорывалась 4 раза. Борис немедленно вскричал: «Да я 10 (десять) таких больных оперировал!» Увы, в литературе его работ об этой уникальной серии наблюдений я не нашёл.

Надеюсь, что рассказ о том, как Борис проводил, а потом и обучал нас этому методу, не унизит его. Бьль молодцу не укор. Он ведь был из первопродцев. Большой на операционном столе. У стены – весь синклит кафедры, во главе с Жоровым. Борис у изголовья. Справа от его руки столик со шприцами, растворами гексенала (внутривенное наркотическое вещество) и мышечными релаксантами. О мышечном релаксанте – кураре – слышаны все. Но это было не кураре, а синтетическое вещество. В отличие от кураре его действие

начинается не с расслабления, а с подергивания мышц, так называемых фибрилляций. Если доза маловата, то расслабления мышц может и не наступить. Но фибрилляции, или, по-простому, судороги, всё равно будут. Обучался Борис по наглядному методу: пару раз видел, как это делалось в клинике Бакулева.

Старт. Команда Бориса: «Вводи!» Уж не помню, кто вводил в вену гексенал, больной засыпал, и Борис снова командовал: «Вводи!» Наступал самый ответственный этап – введение миорелаксанта. Казалось, что чем меньше доза, тем меньше опасность от этого препарата. Поэтому вводили его в дозе 10 мг. Моментально наступали подергивания мышц. В том числе мышц челюстей. Рот больного судорожно сжимался. И в этот судорожно сжатый рот нужно было ввести клинок ларингоскопа, с помощью которого осматривался вход в гортань. В неё-то и было нужно ввести эндотрахеальную трубку. Когда мышцы полностью расслаблены, ввести клинок в рот просто и легко. Но ввести клинок через сжатые судорогами челюсти почти невозможно. Это мог только Борис. Да и то с большим трудом. И достаточно долго. А ведь дыхание у больного после введения мышечного релаксанта прекращалось. Больной синел. И Жоров взволновано кричал: «Борис Губертович! У вас больной совсем чёрный!» Отирая пот локтем левой руки, Борис, продолжая попытки, хрипло отвечивал: «Исаак Соломонович! Не мешайте! Так всегда бывает!».

К счастью для больных, использование метода и царствие Бориса вскоре закончилось. Клинику посетил сэр Роберт Макинтош. В каждой науке есть люди-вершины. Свой Менделеев и Полинг, свой Эйнштейн и Капица, свой Колмогоров и Винер. В анестезиологии таким был Макинтош. Ещё в годы гражданской войны в Испании он разработал самый безопасный для того времени метод эфирного наркоза. Разумеется, когда посетил нашу клинику, он в совершенстве владел самыми современными методами общей анестезии. Их обязательной составной частью были мышечные релаксанты. Только не в «гомеопатических», а в больших дозах, вызывающих не спазм, а быстрое и полное расслабление мышц. И Макинтош провёл «мастер-класс». Усыпив больного внутривенным введением тиопентала натрия (вещество для внутривенного наркоза), он ввёл тот же мышечный релаксант, что и Борис, но не 10, а 100 мг. Моментально мышцы расслабились. Больной перестал дышать. Макинтош с помощью своего аппарата, снабжённого мехами, подышал за больного, затем легко раскрыл рот, ввёл в рот клинок ларингоскопа и изящно, буквально через несколько секунд, ввёл трубку в трахею больного. Цвет лица больного был в это время (и во время всей операции), как у здоровенького младенца – нежно-розовый.

Оперировал – резекция желудка по поводу язвенной болезни – шеф. Оперировал он не хуже Бориса Алексеевича. И наркоз, и операция продолжались не более часа. Больной быстро проснулся. Проснулись и мы, те, кому предстояло попытаться стать отечественными Макинтошами. Монополизм Бориса закончился.

Обзор

Закончился июнь. Наступило отпускное время. У меня – аспиранта – было аж два месяца отпуска. Нужно было начать работу над диссертацией. Увы, изменить тему я уже не мог. Она была утверждена из-за моей анестезиологической необразованности в первый месяц аспирантуры, ещё до обострения туберкулёза.

Нужно было пытаться наверстать упущенное. Я засел в центральной медицинской библиотеке. Помещалась она тогда на площади Восстания (ныне Кудринской площади). Летом была полупустой. Поэтому был удостоен внимания персонала. Разумеется, женщин. Библиотека была почти рядом с нашим домом. Поэтому было удобно после закрытия продолжить за чаем беседы о проблемах библиотечного дела или смежных дисциплин. Беседы обычно продолжались до открытия библиотеки утром.

Недосыпание компенсировалось в воскресенье, когда библиотека была закрыта, а я ехал на свидание к сыну. Родители снимали дачу. Недалеко от Москвы. В теперь недоступных для простых смертных посёлках. 12-часовой сон и мамыны котлеты восстанавливали мои силы, и я возвращался в понедельник к новым свершениям – днём к поискам литературы по своей научной проблеме, а вечером и ночью – по другим, парабиблиотечным проблемам.

К 1 сентября – окончанию отпуска и возвращению шефа – я закончил написание обзора литературы. Был он написан перьевой ручкой на листах газетной бумаги. Времени на перепечатку не было. И я принёс свой труд шефу. Сомнений в его безупречности у меня не было. Я действительно перелопатил тонну статей, из которых понял, что моя проблема давно решена. Этим я и заключил обзор. Через несколько дней я и мой непосредственный куратор-доцент были вызваны к шефу. Мой труд шеф держал скорее брезгливо, нежели как «бритву обоюдоострую». Не говоря ни слова, он разорвал пополам мой опус. Аудиенция была окончена. Разорванные страницы забрал доцент. Он знал шефа лучше меня. Обзор был перепечатан моей мамой. Затем мои знакомые библиотекари исправили все мои 104 ошибки (грамматические, не про любовь). Потом его правил доцент. Потом его снова перепечатывала мама. В промежутках я всё же дежурил вторым, а потом и ответственным хирургом. Два дежурства были бесплатными, компенсировавшими наш якобы сокращённый рабочий день. Остальные, сколько удавалось получить, были платными. 10 рублей за суточное дежурство. Это было несколько меньше, чем за номер эстрадного артиста. Но, разумеется, значительно легче. Подумаешь, всего-то пара аппендэктомий, одно ушивание прободной язвы желудка и десяток экстренных больных! А после дежурства – всего-то: записать истории болезни, ассистировать на операциях (меня (!), прооперировавшего в Чкаловске сотни больных, к плановым операциям не допускали) и овладевать методами современной анестезии.

Лишь иногда после дежурства удавалось получить отгул и добраться до кафедры биохимии на Садовой (неблизкий путь от Велозаводской улицы до Садового кольца), где я пытался освоить методику определения в крови авертина. Зато шеф вернул мой обзор литературы, исправленный коллективно. Уж не знаю, читал он его по второму разу или нет, но на первой странице был лишь его автограф, свидетельствующий об утверждении моего труда.

Великое переселение

Контакт с шефом был теперь только заочным. Кафедру перевели из 13-й больницы в самый центр Москвы. Будущая больница должна была разместиться в здании, прежде бывшем каким-то ликвидированным Хрущёвым министерством. Вскоре министерства снова начали размножаться «амитотическим делением». Светлый промежуток длился недолго. Надо было успеть вселиться в это здание до возвращения всего на круги своя. Здание было шикарным, но требовавшим реконструкции. Переезд на новое место жительства откладывался. Шеф и его коллега – заведующий кафедрой терапии – дневали и ночевали в этой пока не существующей клинике. А пока кафедру втиснули в уютную, но маленькую 30-ю больницу. Полновластным владельцем её хирургии был С.С. Аветисов. Ещё до войны он был одним из первых врачей, ожививших раненого с помощью внутриартериального нагнетания крови. Хирург он был недурной, но человек не из лучших, хотя и весьма остроумный.

Помимо нового здания нам подарили и нового аспиранта – Владимира Марковича Юревича. Фамилия у него была, по его утверждению, от матери, а она была едва ли ни прямым потомком Рюриковичей. Володя получил тему диссертации, разумеется, по анестезиологии, но по более современному и модному, чем моя тема, методу – гибернации. Термин был созвучен с фамилией известнейшего тогда украинского терапевта Губергрица. С чем был созвучен термин «эндотрахеальная трубка», не знаю. Но иногда по ошибке её вводили не в трахею, а через глотку в пищевод. «Сергун» – межаспирантская кликуха Аветисова – говорил новому аспиранту: «Слышь, Владимир Маркович, ты сегодня своим «губергрицем» и «проглотидой» больного не тревожь, он мне гонорар платил».

Зато об авертине он слышал. Ещё до войны. Поэтому авертин был решён, и я понемногу, как говорится, набирал материал для диссертации. Правда, вскоре через моего куратора шеф отрядил меня к детям. Это было логично. Дети хуже всего переносили наркоз эфиром. Пришлось покинуть 30-ю больницу и переместиться с моим пудовым электрокардиографом в хирургические отделения детской больницы. О моих приключениях в этой больнице я уже рассказывал. Детей было много. Дети засыпали и просыпались спокойно. Электрокардиограммы записывались, а пленки проявлялись

прелестными врачами и не менее прелестными лаборантками в рентгеновском кабинете. Хирурги были довольны. Я ещё больше. Диссертация становилась «весомой, грубой, зримой». У меня даже появилось время и желание возобновить своё музыкальное образование и удостоить своим присутствием Хирургическое общество.

Труды просвещения

Хирургическое общество я начал посещать, ещё будучи студентом 3-го курса. И тогда, и в годы моей аспирантуры оно располагалось на Пироговке в том же здании клиники акушерства и гинекологии. Общество теперь стало другим. Правда, я уже не застал в 50-е годы С.С. Юдина – его арестовали и выслали из Москвы. Но тогда это было истинно академическое общество. Спокойное и, казалось, торжественное. Выступающие говорили медленно и тихо. В зале стояла абсолютная тишина, и слышно было каждое слово. Любое выступление походило на лекцию. Даже незнакомые термины становились понятными, а дискуссии между корифеями хирургии велись исключительно доброжелательно и уважительно.

Теперь всё было по-другому. Председательствовал один из приближённых к власти профессоров, ученик Юдина. Говорили, что именно он донёс на своего учителя. Верю этому. Думаю, что идеалом для подражания он выбрал Жданова. Одёргивал и хамил не только молодёжи, но и старым, заслуженным хирургам. На заседании, посвящённом одной из сложнейших проблем хирургии, в прениях выступил один из лучших специалистов в этой области. Через 5 минут председатель оборвал старого профессора, заявив, что его время кончилось. Профессор покинул зал. За ним ушли и несколько профессоров, и немного молодых хирургов.

Ушёл и я. В вестибюле в раздевалку собралась небольшая очередь. Я оказался за одной из самых красивых хирургинь. Разумеется, помог ей надеть пальто. И мы вместе вышли на улицу. Оказалось, что мы почти соседи: жила она в маленьком старинном домике на улице Герцена. Тот, кто бродил по переулкам старой Москвы, знает романтику таких путешествий. Если к этому добавить наш праведный гнев, присоединить Блока, Маяковского и Пастернака, а также Брамса, Бетховена и Моцарта, станет ясно, чем должен был закончиться «Этот вечер решал: не в любовники выйти ль нам?». У Маяковского вопрос решался отрицательно. У нас была другая проблема. Мимо моего дома мы вынуждены были пройти. Ни наш дом, ни наша квартира, ни наши комнаты не были пригодны для встреч в осенне-зимний период. Коллега жила в отдельной квартире. У неё была отдельная комната в полуподвале. Но пройти в эту комнату можно было лишь через комнату родителей. Родители были консервативны и ночных гостей не жаловали. Выход нашёлся: она прошла в свою комнату законным

путём, я – через окно. Мои габариты тогда это позволяли. Не помешал даже травмированный позвоночник.

Пластинка с концертом Брамса, томик стихов Блока и сухое вино весьма способствовали нашему взаимному познанию. Вернуться домой я должен был не позже 05:30. В дни, когда я должен был ночевать дома, сын лет до 10 утром залезал ко мне под одеяло. Да и всё равно выйти через комнату родителей я бы не мог. Вылез через окно. В дальнейшем я убедился, что мои тайные визиты были секретом Полишинеля. Но несколько лет, кроме летнего периода, когда её родители жили на даче, все соблюдали этикет.

Уж не знаю, соблюдал ли этикет другой её приятель, знаменитый в то время профессор-хирург. Но в отличие от меня в консерваторию с ней он не ходил. А нас больше, чем плоть, сблизила и удерживала вместе консерватория. Если только выдавался свободный от дежурств и срочных заданий шефа вечер, мы отправлялись на любой концерт. В те годы концертировали самые великие музыканты, дирижёры, пианисты, скрипачи. Довелось даже слышать самое великое трио: Рихтер, Ойстрах и Ростропович в Малом зале консерватории исполняли сонаты Бриттена.

Судьба развела нас. Мы остались друзьями. Она стала профессором, даже академиком одной из новых академий. Но сохранила любовь. Не ко мне – к поэзии и музыке. Иногда мы встречаемся в консерватории. К сожалению, концерты в консерватории бывают зимой, когда на улицах гололёд. А в гололёд вечерами ни она, ни я без крайней нужды на улицу не выходим. Увы, теперь консерватория для нас – не крайняя нужда.

Во – ширина! Высота – во!

Это не квартира Ивана Козырева, получение которой увековечил Маяковский. Это была наша новая больница. В центре. У самого метро и рядом с гостиницей «Юность» – форпостом комсомольской элиты. Через четверть века после вселения мы, первые обустроиватели больницы, собрались в ресторане этой гостиницы, и я напомнил о наших чувствах. «Аж дух захватывало сразу, / от высоты её палат, / хоть коридор был длинноват. / Я проклинал его, сразу, / когда раз 10 в день дрожал / и к шефу в кабинет бежал».

В клинике быстро был создан «стиль». Определял его шеф. В 58-м году, когда мы вселились в больницу, ему было 60 лет. Но он был самым молодым из нас. Непременным условием был примат интересов больного. Посмел бы кто-нибудь недообследовать больного, плохо подготовить больного к операции или плохо доложить на конференции. У шефа был чётко выработанный категорический императив нравственности: не предавай дело, не предавай друзей, защищай слабых и... относись подозрительно ко всему, что предлагает начальство всех уровней.

О молодых годах моего учителя лучше всего рассказала Елена Боннер в своей книге «Дочки-матери». Да простит мне она за то, что привожу её рассказ в сокращении:

«...тоненькая стружка от плохо открытой банки попала мне, и я её съела. Она распоролла мне кишку, какой-то её верхний отдел, у меня были прободение и перитонит. Много после я пойму, что в то время – до сульфо-, до стрепто-, до антибиотиков – это было почти смертельно. Но на мне сошлось несколько обстоятельств: всё случилось в городе, а не где-нибудь на даче, в деревне; тётя Роня, сразу заподозрившая худшее; мамино без раздумий согласие на больницу и операцию и дежурный врач Басманной больницы, куда меня привезли, молодой ординатор Жоров, лет 27-28. Потом во всех курсах хирургии появится его имя, и его станут называть основоположником советской анестезиологии.

Выхаживал он меня с таким же упорством, как мама. Оперировал ещё два раза, потому что появились какие-то участки некроза кишечника. Я лежала с незашитым животом, чуть заклеенным салфетками. С одной стороны в живот мне из капельницы постоянно лился раствор карболки. С другой – стояла банка, в которую через катетер выливалась тоже карболка, но уже со всем тем плохим, что там у меня было. И всё время стоял надо мной тошнотный, тяжёлый запах тухлой капусты. В этом запахе я проваливалась в небытие и возвращалась оттуда. И снова проваливалась. Это было как качели. Я сама уже понимала, что я то есть, то меня нет. Малейшее движение, дыхание, отклеивание и заклеивание салфеток – всё было невыносимо. Хотелось не быть. Когда я «была», я видела маму и часто, почти всегда, рядом с ней своего Жорова. Мне их было жалко.

Хотя по-прежнему в меня лилась карболка, а выливалась всякая дрянь, но когда Жоров три раза в день отклеивал и заклеивал мой живот, лицо его было уже не таким тревожным. Через свой запах гнилой капусты я стала различать холодящий запах коллодиума и свежесть воздуха из открытой форточки. Я поправлялась...».

Мне посчастливилось работать с Жоровым семь лет. Пока он меня не выгнал.

Учитель

Это краткое изложение доклада, который я сделал на заседании Московского общества анестезиологов-реаниматологов в честь 100-летней годовщины учителя в 1998 году.

Исаак Соломонович Жоров был еврей. Напомню, что в «Энциклопедическом словаре» Граната так начинается статья о Марксе, написанная Лениным. Национальность моего учителя сыграла важнейшую роль в его биографии, в его ментальности, в выборе «ниши». Впрочем, как и в судьбе многих других талантливых инородцев.



Таланты делятся на две группы: успешные и не успевшие занять «экологическую» нишу. К первым чаще всего относятся родовые или личностные связи. В давней и новейшей российской истории – от талантливого, хоть и жуликоватого Шафирово до сталинского холоуя-садиста Ягоды. Всё равно – это «номенклатурная обойма» (по Ильфу и Петрову).

Характерный пример – анестезиология-реаниматология. После того как за приверженность к общей анестезии перестали исключать из партии (в 1952 году Жорова исключили «за пропаганду буржуазных методов интратрахеального наркоза»), она стала номенклатурной нишей.

*Исаак Соломонович Жоров
(1898–1976 гг.) – основоположник современной отечественной анестезиологии*

Теперь, как только у власти меняется приближённый к ней хирург, он меняет и главного анестезиолога. Но это только тогда, когда уже свершился прорыв в дотолу пустую пишу. А вот открыть её! Для этого необходим талант или даже гений первопроходцев – колумбов испанских или «росских».

В 1995 году в Иерусалиме мною и моим бывшим сотрудником, а теперь профессором на кафедре, созданной классиком анестезиологии Артуром Гведелом, был сделан доклад «О роли русских евреев в создании советской анестезиологии». Реакция на конгрессе моих соотечественников, особенно «инородцев», была резко отрицательной. А напрасно! Это ведь не проблема так называемого богоизбранного народа. Это – общечеловеческая проблема. Русские люди, самых голубых кровей, вышвырнутые из России октябрьским переворотом, становились в Париже таксистами, половыми, а женщины... Вчерашние советские профессора в США и Израиле зачастую работают санитарями, няньками или овладевают другими малопрестижными профессиями. Возникают сообщества, часто рекрутирующие из своей среды маргинальные элементы. Это ведь из потомков вертухаев и уголовников, воров в законе и райкомовских паханов возникла сегодняшняя организованная и неорганизованная преступность.

Но этот социум делегирует в большой мир небольшую часть наиболее прозорливых – сознательно или интуитивно – своих собратьев. Их особенным свойством является талант жюль-верновского предвидения. Они первыми врываются в ещё невидимые прочим «ниши», необходимые данному обществу на данном этапе – от командармов в Гражданской войне до создателей ГУЛАГа, а сегодня – от ведущих банкиров до главарей банд. Это полностью относится к новым медицинским нишам. Достаточно вспомнить зарождение микробиологии в России и назвать имена евреев или полуевреев Мечникова, Безредки, Льва Зильбера. Вспомнить имена создателей советской урологии и рентгенологии.

Вот такой нишей в 30-е годы стало обезболивание. В 50-е годы И.С. Жоров опубликовал монографию «История обезболивания в России и СССР». Можно только поражаться, как мог в эти годы появиться этот труд? Ведь из этой монографии следовало, что Россия, занимавшая в XIX и начале XX века ведущее место в создании наиболее совершенных для того времени методов анестезии – достаточно вспомнить светлое имя гениального Пирогова, – полностью утратила его. Царствовали не только лысенковская биология, бубённойская литература, но и местное обезболивание. Да и то лишь по одному разрешённому методу тугого ползучего инфильтрата.

В те годы главный хирург страны профессор Стручков с гордостью сообщал о торжестве этого метода и сокрушался, что вдали от Москвы ещё используют общую анестезию. Разработка методов общей анестезии приравнивалась к поэзии Ахматовой, музыке Шостаковича, космополитизму, менделизму-морганизму, кибернетике и прочим «бьякам». Ведь лишь смерть «вождя и учителя» избавила Жорова, находившегося под домашним арестом, от превращения его в лагерную пыль.

Почему так, как лысенковскую агробиологию, насаждали местное обезболивание? Говорят, что из-за технической отсталости. Но это вовсе не так. Ведь если самым совершенным наркозным аппаратом в те годы был аппарат завода «Красногвардеец» на треножке, то армия была вооружена самыми лучшими танками, самыми лучшими самолётами-штурмовиками, самыми лучшими автоматами, а КГБ – наилучшими мониторами – подслушивающими устройствами. Так почему? Потому что в России царил режим садизма – противоположность присущей русскому народу христианской добродетели – терпению. И ещё ох как долго будут ощущаться его последствия! Как долго ещё будет горько правдивы строки Н.А. Некрасова: «Не беда, что потерпит мужик»?

Как же осмелился Жоров бороться, фактически в одиночку, за наиболее гуманные методы защиты от боли? Ведь его первая монография «Неингаляционный наркоз» вышла в 1935 году, в самый разгар ежовщины! А осмелился он потому, что обладал от природы тем свойством, которое делает личность героем человечества. По Фромму – это люди, не боящиеся потерять контакт со стадом и оказаться в изоляции.

Жоров был провидцем. Ему было дано, говоря словами Пастернака, «...услышать будущего зов». Если бы я, придя в клинику, поверил ему, что анестезиология станет самостоятельной специальностью, я бы сломя голову убежал из аспирантуры. Ведь я поступал в аспирантуру по хирургии, которая тогда включала и анестезиологию. Но только в нашей стране. Во всех цивилизованных странах это уже была отдельная самостоятельная специальность. В Чкаловске иностранная литература была недоступна.

Жоров твердо верил в то, что самая гуманная медицинская наука об обезболивании – наука самостоятельная. Он боролся за это и победил. К сожалению, это – пиррова победа. Это не та специальность, о которой мечтал учитель. Когда-то в его черновых набросках я прочитал и ехидно усмехнулся: «академия анестезиологии». Как легко это можно было бы воплотить сегодня, если бы во главе этой специальности оставался Жоров. Но развитие пошло другим путем.

Что поражало в нём? Непредсказуемость. Вот лишь один пример. Когда в силу вошёл Б.В. Петровский, сменив на посту главного хирурга Кремля А.Н. Бакулева, он предложил Жорову возглавить кафедру анестезиологии. Сулилось всё – номенклатурность, штаты, лаборатория, валюта, зарубежные командировки. Но... в качестве подкафедры на его кафедре госпитальной хирургии. Как мы мечтали об этом и уже распределяли роли – доцента, ассистентов. Тогда эти должности с «окладом жалованья» более чем 200 рублей представлялись нам вершиной счастья. Но учитель отказался. Мы осуждали его и, честно говоря, напоминали крыс, бегущих или ищущих путь бегства с корабля. Но именно теперь я понимаю, как был прав мой учитель. Он понимал, что такой путь – путь вторичности анестезиологии, её «второсортности». Она и пошла по этому пути.

Многие и сегодня полагают, что удобнее и выгоднее быть не самостоятельными, а под крылом номенклатурного хирурга, уролога, гинеколога и прочих,

близких к властям предрержащим или к богатеньким Буратино. Но в конечном итоге «вторичность» приводит к таким трагедиям, как смерть Королёва. Её причина – игнорирование хирургами анестезиолога. Операцию начали под местным обезболиванием, а общую анестезию начали уже на фоне кровотечения у неподготовленного к этому пациента, да ещё с короткой шеей.

Самое плохое то, что анестезиология почти полностью отделилась от интенсивной терапии. Вот уж чего не допускал Жоров. Он обосновал необходимость выделения в стадиях общей анестезии стадии пробуждения, т. е. единства анестезиологии и интенсивной терапии. Мне не раз приходилось сталкиваться с абсолютным незнанием самых элементарных их общих – *conditio sine qua non* – принципов в высокоспециализированных клиниках.

До сих пор нет отечественных респираторов и наркозных аппаратов, перфузоров и мониторов, соответствующих мировым стандартам. Можно плакаться о падении валового продукта – к нему относятся отечественные аппараты, – но для элитарных клиник наркозные аппараты купят у фирм «Дрегер» или «Бирд», перфузоры у «Браун» или, в крайнем случае, у «Куре Мэйт», мониторы – у «Хьюлетт Паккард», а остальным – РО-ссийские аппараты типа наших автомобилей.

До сих пор нет фармакологической лаборатории, занимающейся проблемами анестезиологии-реаниматологии. Ведь после фторотана у нас не был даже повторён ни один галогенопроизводный общий анестетик. «Впрочем, – как писал Маяковский, – может, это и не нужно». Ведь инофирмы платят неплохо за пропаганду и внедрение их препаратов.

Жоров никогда не крал ни больших, ни малых чужих идей. В те годы все что-то изобретали: иглу Митчела и трубку Гордона-Грина, наркозы по Шейну-Ашману и по Артузио. Одна из первых трубок для эндотрахеального наркоза была разработана в его клинике доктором Мурлаго. И всегда и везде он подчёркивал, кто её сделал, как и то, что флюотаном занимался Маневич, миорелаксантами – Михельсон, губернацией – Юревич. А ведь теперь многие работающие в реаниматологии и не знают, что первым оживил человека ещё в 1939 году белорусский врач Берилло, а не Неговский. Что к 1943 году в Великой Отечественной войне были оживлены десятки, если не сотни бойцов, а первым оживил раненого – именно на фронте, а не в тылу – Борис Васильевич Петровский. В газетных публикациях и передачах на ТВ о них не упоминается даже мельком.

Для Жорова нравственный критерий – наше величие обусловлено тем, что мы стоим на плечах наших предшественников, – был кантовским «категорическим императивом». Именно поэтому он так любил историю своей специальности. Именно поэтому он был велик, что ему было чуждо воровство даже в мелочах.

Существует авторитет власти и власть авторитета. У Жорова не было власти. Он не входил в номенклатуру. Боевые награды и талант не избавили

Жорова от унижений. После возвращения с фронта Жорова – замечательного хирурга, превосходного организатора, великолепного лектора, создателя в стране неингаляционного наркоза – отправили на кафедру санитарно-гигиенического факультета с одним доцентом, одним ассистентом и одним лаборантом. Ужо на нелечебном-то факультете он не сможет воспитывать клиницистов, «больных» общей анестезией.

И коллеги, и официоз знали и понимали значение Жорова для создания в стране современной анестезиологии. Поэтому редко, но давали крохи со своего стола. Так, его в 1958 году пустили в Англию. После долгого, с 1948 года, перерыва, ему дали аспирантов. А главное – использовали его невероятную энергию для создания руководства по анестезиологии. Ведь идея необходимости общей анестезии уже стала материальной силой, ибо овладела массами. Но тут же ставили Жорова «на место». Смешно и постыдно, но лабораторию по анестезиологии дали не ему, а гинекологу Гиговскому, вся связь которого с анестезиологией была в том, что несколько женщин, коим он делал искусственное влагалище, умерли якобы от наркоза.

Жоров создал руководство «Общее обезболивание в хирургии». Создал он его сам. А ведь чего проще было заставить работать на себя молодых, энергичных и не имеющих никаких шансов войти тогда в номенклатуру из-за 5-го пункта многих своих сотрудников. Но он никогда не только не покушался на их направления работы, но делал всё, чтобы они получили признание и соответствующее оформление. Так появилась по его благословию наша с Михельсоном книжечка «Основы наркоза». Так появилась монография Лукомского о бронхоскопии. Так увидела свет моя монография о фторотане, хотя я в это время уже был «изгнан» им из клиники. А ведь оценил флюотан именно он, привезя в кармане из Англии два флакона этого нового препарата и заставив лабораторию М.Д. Машковского работать над созданием отечественного аналога.

Всё, что он писал, было его и только его. Когда в 1959 году вышло руководство «Общее обезболивание в хирургии», сразу же потребовалось второе издание. Казалось бы, переиздай и получиай гонорар. Так ведь и произошло с руководством по анестезиологии, опубликованным аж в 1993 году. Уже изначально оно было далеко не шедевром. Но через 4 года был выпущен репринт. А уж в 1997 году мой, например, раздел был постыдно устаревшим. Меня оправдывает только то, что переиздан этот раздел был без моего согласия. А вот Жоров не улучшил, не дописал, а создал новое руководство. Написать самому почти 80 печатных листов – это сизифов труд. Жоров работал по 25 часов в сутки. Конечно, мы, его сотрудники, готовили ему какие-то материалы. Но не было буквы, которую бы он не проверил и перепроверил. Наверное, там были ошибки. Но это были ошибки того времени, тех концепций, тех представлений. Жоров был из последних русских врачей-учёных, кои свято следовали принципу «лучше меньше, да лучше». Ведь у него, как и у великого русского хирурга Юдина, было всего 4 монографии. Правда, на одну больше, чем у Брежнева. Извиняет

Жорова лишь то, что 4 монографии – за 30 лет работы. Где уж Юдину и Жорову сравниться даже со мной, не говоря уж о других современных профессорах, у которых десятки монографий, написанных, как мне кажется, стахановским методом. Да и авторство в этих монографиях распределено строго по номенклатурности. В большинстве таких коллективных монографий первым стоит хирург, терапевт или другой «основной» специалист.

Когда я вспоминаю учителя, думаю: какие же его достоинства были главными? Ведь талантливых людей много. И преступники бывают талантливы! И отвечаю себе: смелость и мужество, честность и благородство. Я не принадлежу к трусливым людям, хотя боюсь толпы и высоты. Но я не знаю, боялся ли чего-нибудь Жоров? Наверное, как и всё его и наше поколение, боялся бериевских застенков, лишения любимой работы. Но он никогда не ныл, всегда оставался мужчиной.

Он рассказал правду о том, как действительно создавалось и уничтожалось настоящее обезболивание! А тогда критиковать власть предрержащих рисковали разве что на кухне при включенном громкоговорителе с «кукишем в кармане». Но Жоров! Ректором 1-го МОЛМИ был тогда номенклатурный Кованов. Брат его был заместителем (2-м секретарем в Грузии). Критиковать его было гораздо опаснее, чем совершать известное действие против ветра. Напротив балкона Жорова был балкон писателя Цезаря Солодаря (из «дрессированных» евреев). И Жоров, прекрасно понимая, что всё это будет доложено куда надо, на весь двор кричал: «Этот бандит Кованов!» Правда, без «материальных» слов. Мата он не любил. Самым грозным его ругательством было «говно». В минуты гнева он рычал: «Вы, Генрих Ильич, – г...о! И вы, Виктор Аркадьевич, – г...о! И передайте вашему Маневичу, что он тоже г...о!»

Я начал рассказ об учителе не с его военной биографии именно потому, что многие, очень смелые в войну люди, трусили в то «мирное» время. Особенно трусить приходилось евреям. Но это не относилось к Жорову. Ни в войну, ни после войны он не струсил. В войну он был армейским хирургом в армии генерала Ефремова, разгромленной немцами и попавшей в окружение. Измученного, контуженного, с отёкшими от голода и холода ногами Жорова взяли в плен. Думаю, что даже молодежь понимает, что такое фашистский плен для еврея-коммуниста. Но Жоров был не из тех, кто покорялся судьбе и послушно шёл в газовые камеры. Он сумел бежать из плена, организовать и возглавить партизанский отряд, воевать и лечить раненых. Поистине, как сказано в Библии: «В одной руке – лопатка каменщика (ланцет хирурга), в другой – меч (автомат)». Жоров прошёл всю войну, награждён многими орденами, но, может быть, самое главное, сохранил навсегда дружбу с простыми русскими людьми – побратимами-партизанами, соратниками по армии – рядовыми и генералами. Именно они поддерживали его в минуты жизни трудные. А их у него было ой как много!

Но наибольшее мужество проявлялось в его презрении к государственному антисемитизму. Конечно, почти у каждого руководителя был свой «по-

лезный» еврей – умный еврей при губернаторе (это было ещё и «до исторического материализма»). В годы хрущёвской оттепели, когда начала возрождаться анестезиология, у Бакулева появился Ефуни (потом он, правда, перебежал к Петровскому), у Зайцева – Гологорский, у Пытеля – Мазо, у Кузина – Сачков. Учёт вёлся строгий. Даже в 85-м году ко мне пришёл партийный функционер (кстати, из инородцев), который заявил, что в отделении слишком много евреев.

Разумеется, в эти же годы были Смольников и Трещинский, Коллюцкая и Уваров, Шанин и Долина, Дамир и Дарбинян, Малышев и Растрингин, заложившие на отвоёванной Жоровым у хирургов территории фундамент нашей специальности. Но соотношение было совсем иным, нежели в устоявшихся разделах медицины – терапии, акушерстве, неврологии, хирургии. А вот Жоров приютил на кафедре Лукомского, Маневича, Михельсона и примкнувшего к ним Юревича (хотя Владимир Маркович утверждал, что Юревичи – от Рюриковичей). Почти как Бунша! Такое мог позволить себе только Жоров.

Но при всем при том он был подлинный интернационалист. Его любимыми сотрудниками были русская Лида Болховитинова и немка Женя Пименова, русский красавец Юра Сурин и перс Омир Миланян, армянин Эдик Сваджан и украинец Виталий Лукич.

Одной черте характера учителя я больше всего завидовал – его благородству. Откуда у этого уроженца Могилёва была стать кавалергарда графа Игнатьева? Мне сие понять не дано. Впрочем, из соседнего Витебска вышел гений Шагал. Так что Беларусь рождала не только Лукашенко.

Жоров был невероятно красив. Это была красота настоящей русской профессуры или великих артистов – Станиславского, Бекетова. Тимирязева, Вотчала, Юдина. К тому же Жоров любил жизнь, её простые радости – парную, горячий чай с лимоном и бубликами. К слову, «святая пятница» вовсе не была для нашей клиники метафорой. Думаю, что если бы даже разразилась атомная война, то всё равно в пятницу в 14 часов шеф испарился бы из клиники и пошёл в парную. Там были их фронтовые еженедельные посиделки.

Думаю, догадываюсь, домысливаю, что Жоров любил женщин. А уж в том, что женщины любили его, не было сомнений. Но в отличие от нас, особенно от меня, вокруг него не возникало никаких, подчеркиваю – никаких! – правдивых или ложных слухов. К нему не прилипала грязь, ибо он, может быть, и не читавший в отличие от меня Генриха Гейне, свято блюл его заповедь: «Если ты близок бываешь с дамой, / Имя храни её, друг, упрямо: / Ради себя, если дама мещанка, / Ради неё, если дама дворянка».

Всё это – талант, смелость, мужество, благородство были до конца отданы Жоровым одной из самых великих идей гуманизма – борьбе с болью. В жизни каждого бывает дихотомический перекрёсток, развилка. Жоров был учеником великого русского хирурга П.А. Герцена. Он учился и у другого большого хирурга Н.П. Бурденко. И сам был замечательным хирургом, одним из первых успешно оперировавшим аневризмы магистральных сосудов – все-

гда нестандартные операции. Для того времени это было равносильно сегодняшней трансплантации сердца. Думаю, что при всех его национальных трудностях путь хирургии принёс бы Жорову – талантливому хирургу – больше дивидендов – и моральных, и материальных. Так поступил замечательный хирург Дмитрий Алексеевич Арапов, первая книга которого посвящена ингаляционному наркозу. Так же поступил и Дьяченко, выпустивший с Виноградовым хорошее руководство по анестезиологии. Для всех них эти работы были лишь способом прорваться в хирургическую элиту. Для всех, кроме Жорова, для которого гуманистическое начало медицины, а оно, может быть, наиболее присуще именно анестезиологии, являлось высшим законом.

Правда, восторжествовал диалектический закон отрицания отрицания. Жоров, как и его великие современники – Макинтош, Грей, Югнар, Фрей – необычайно, я бы сказал, чрезмерно, расширили возможности хирургии. Сегодня хирургия захватывает другие разделы медицины, даже те, в которых можно и нужно лечить больного нехирургическими методами. Для этих же великих анестезиологов расширение возможностей хирургии означало лишь поиск предела – физиологической дозволенности, – а не беспредельное расширение хирургии, когда гуманная цель – спасение больного от болезни операцией – превращается в свою противоположность – экспериментирование на человеке.

Сегодня это особенно важно, так как возможности рукоделия столь велики, что жизнь потенциального донора оберегается значительно меньше, чем жизнь убийцы, приговорённого к пожизненному заключению. Жоров не дожидаясь инструкции, в которой диагноз смерти мозга определяет конец усилий борьбы за жизнь пациента. Но мой учитель не верил, что местное обезболивание – предел гуманизма. Сегодня мы, хоть и не все, наконец понимаем, что построение социализма в одной отдельно взятой стране – не конец истории человечества. Мы поймем, что даже если у человека нет души (а может быть, всё же, хоть и не у всех, она есть!), то возможности воссоздания мозга не исчерпаны.

Достижения этой специальности велики. В России есть современная анестезиология-реаниматология. Многие мои коллеги, пришедшие в аспирантуры и ординатуры в конце 50-х годов, внесли в неё существенный вклад. Но с огромным трудом приоткрыли им дверь лучшие врачи и учёные из предшествующего поколения: Брюхоненко – создатель науки об оживлении – и Жоров – отец современной анестезиологии в нашей стране.

Жоров учил главному – идти своей колеёй, как пел Высоцкий. Даже в наш век, по Мандельштаму – «век-волкодав», Жоров был человеком как будто другой эпохи – эпохи Возрождения. Мне всегда казалось, что именно про него Пастернак написал свои великие строчки: «Другие по живому следу / Пройдут твой путь, за пядью пядь, / Но пораженья от победы / Ты сам не должен отличать. / И должен ни единой долькой / Не отступаться от лица. / Но быть живым, живым и только, / Живым и только. До конца!»

Стиль



марксизма, как известно, три составные части. У стиля клиники Жорова – также три: больной, наука, любовь.

Больные

Конференция начиналась в 08:15. Всегда. В клиниках, которыми мне довелось руководить, конференцию заменял обход. Даже теперь, через 18 лет после моего ухода из клиники, кто бы ни был руководителем, обход начинается в то же время и ни минутой позже.

Присутствовал на конференции весь коллектив клиники. Разумеется, кроме тех, кто готовил больных к плановым операциям, назначенным на сегодня. Докладывал ответственный дежурный хирург. И о тех, кто был оперирован, и о тех, кому решили отложить операцию, и о тех, кого сочли возможным отпустить домой. Шеф точно улавливал моменты, которые хотела бы «не фиксировать» дежурная бригада, – задержка экстренной операции, её осложнения, затянувшееся пробуждение больного после общей анестезии. Но провести шефа было невозможно. Моментально – и горе тому! – наступало разоблачение. Сразу же после доклада шеф в сопровождении всей дежурной бригады бежал к такому больному и возглавлял, если было нужно, консилиум. Высказывание всегда начинал самый младший по возрасту и должности. Как на совете в Филях.

Если не было осложнений, шеф шёл на операцию. Выбирал он самые сложные: аневризмы крупных сосудов, каллёзные язвы желудка, спаечную болезнь кишечника. Шеф никогда не уходил из клиники, пока оперированный им больной окончательно не пробуждался. После операции или операций начинался его обход. Ежедневно. Даже в пятницу. Как ждали этого больные! А как ждали мы! Ведь «приговор» – как был обследован больной – обнаружился только после обхода. Шеф не забывал ни одного больного. А ведь только в одном «чистом» отделении было 60 больных. Столько же было и в отделении гнойной хирургии.

Клиника разрабатывала методы лечения самых распространённых «хирургических» заболеваний – язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, холецистита, грыж, варикозного расширения вен, геморроя, гнойных поражений лёгких. Искали новые, более безопасные, более щадящие методы. В клинике, в одной из первых, стали применять лапароскопию. Теперь этот метод стал обыденным, а тогда нужно было преодолеть сомнения не только хирургов, привыкших к широким разрезам, но и больничного начальства. Дело в том, что почти во всех клиниках существует двойное подчинение. Больницы подчиняются органам здравоохранения, а кафедры как бы «арендуют» соответствующие отделения. Бывает, что заведующий кафедрой определяет всё. Так было и есть в 13-й клинической больнице, на базе которой долгие годы работала кафедра Ю.Е. Берёзова. Но бывает и по-другому, когда формальный руководитель больницы попросту мешает работе кафедры. Бывает и «перетягивание каната». Сколько ненужных сил приходится тратить, чтобы соблюсти этот баланс. Хирургии без осложнений не бывает. И чем тяжелее болезнь, тем сложнее операция, тем больше вероятность осложнений и во время неё, и в послеоперационном периоде. Всё это даёт возможность «ущемить кафедру», которую многие главные врачи и их замы не упускают. Чтобы поставить точный диагноз и решить вопрос о необходимом объёме операции у больных с гнойными заболеваниями лёгких, необходим комплекс многих исследований. В клинике разрабатывался новый метод – бронхография под наркозом. Нужно было ввести рентгеноконтрастное вещество в поражённый бронх. Под местным обезболиванием это было мучительно для больного. Сделать эту достаточно сложную манипуляцию под общей анестезией было значительно легче и проще и для больного, и для рентгенолога. Но это было и опаснее. И для больного, и для врачей. Утверждаю, что бригада – рентгенолог, анестезиологи и хирург – облучались не меньше, чем ликвидаторы в Чернобыле. Вся ответственность ложилась на руководителя клиники. А ведь у больных с поражением лёгких и без того всегда была опасность возникновения тяжелейших осложнений. Не один раз очередной приступ неукротимого кашля заканчивался остановкой сердца. Но тогда дефибрилляторов – приборов, необходимых помимо адреналина для восстановления работы сердца, – не было. Дефибрилляцию проводили столовыми ложками, соединёнными проводами с обычной электрической розеткой. Если больной погибал без дефибрилляции – это было «законно», если после наших попыток оживления, следовал длительный разбор больничного начальства, надолго прекращавший разработку новых методов лечения. И только шеф мог восстановить баланс и продолжить работу.

Геноцид

Скольких несчастий можно было бы избежать, если бы нашу специальность развивали по законам цивилизации, послав за границу, как Пётр I, способных отроков. Но искали, как и теперь, свой особый путь, тогда – за железным

занавесом. Так было и с новым веществом для общей анестезии – флюотаном, созданным в Великобритании. Шефа чудом выпустили за рубеж. Там он не украл, нет! – ему подарили – два флакона этого нового общего анестетика. Из-за краткосрочности командировки учитель не мог узнать детали применения флюотана, и поэтому методику мы изучали по немногим вышедшим тогда статьям. Типичное заочное обучение.

Поэтому, прежде чем применить флюотан у больных, было решено испытать его на себе. Ответственность взял шеф. Кроликами были мы. Но никто бы не смог обвинить шефа в русофобии, как бывало в 50-е годы, да и сейчас. Испытуемыми были Михельсон, Миланян и я. Эксперимент проводили в институте психиатрии – самое место, – так как там были необходимые исследовательские приборы. Опасность эксперимента мы понимали: к этому времени появились сообщения об остановках сердца при неправильном применении флюотана. Поэтому был накрыт операционный стол. Шеф помылся для операции открытого массажа сердца. Тогда, в 1958 году, закрытый массаж ещё не применяли, и эксперимент начался.

Всё решалось демократически, по жребию. Номер один выпал мне, второй – Михельсону, последний – Миланяну. Меня уложили на кушетку. Наложили всяческие электроды, и Виктор начал капать флюотан. Действительно, очень быстро, не испытывая неприятных ощущений, я заснул и, казалось, через мгновение проснулся (а прошло 20 минут). Потом лёг Михельсон. Анестезию благополучно провёл Миланян. А потом настала его очередь, и анестезию пришлось проводить мне. Но в отличие от того, что писали в статьях, у меня был выражен синдром «похмелья», и я передозировал флюотан. Артериальное давление у Миланяна упало до нуля. К счастью, я выронил маску, и действие флюотана быстро закончилось. Всё обошлось благополучно. Но Миланян утверждал, что флюотан специально придуман для геноцида его нации.

Флюотан сегодня заменён более совершенными препаратами, но в нашей стране это почти единственный ингаляционный общий анестетик. Но только применять его должны не дилетанты, а квалифицированные специалисты. Это относится и к вождению самолётов, и к руководству страной.

Любовь Михайловна

Учитель был первым в нашей стране, кто понял необходимость наблюдения во время наркоза и операции не только за пульсом, но и за дыханием. Монитором были придуманные им «усы» из ваты. Их приклеивали под носом больного и следили за размахом их колыханий. Если дыхание становилось слишком слабым или вообще останавливалось, колыхание ваток прекращалось. Контролировать этим монитором, может быть, и было возможно, если наркоз был внутривенным или, как мой авертиновый, ректальным (через ж...).

Но для наркоза эфиром или флюотаном этот метод был неприемлем. Да и для науки метод не годился. Справедливо утверждение, что в любой дисциплине столько науки, сколько в ней числа. Нужно было оценить влияние новых методов прежде всего на дыхание. Долгие годы для этого использовали приборы, позволявшие измерить один из главных показателей дыхания, – концентрацию двуокиси углерода в крови. Для этого нужно было забрать кровь (много крови) из артерии.

Но к тому времени, как мы начали заниматься наукой, появился прибор, придуманный шведским учёным Аструпом. Назывался он «микроаструп». Достаточно было взять каплю крови из мочки уха в тоненькую трубочку, потом засосать эту кровь в специальное приспособление придуманного им прибора, и через несколько минут ответ о концентрации двуокиси углерода был готов. Да не только её, но ещё десяток других важнейших показателей. Увы, в Москве да и во всей огромной стране таких приборов было меньше числа его показателей. «Но разведка доложила точно...»: прибор есть у Любови Михайловны Поповой. Уж не помню, была она тогда уже профессором, но все знали, что она – единственный специалист в стране, который может настоящему реанимировать. Базой её лаборатории была инфекционная больница в Сокольниках. Прямая линия метро от нашей больницы. Если достать нужные трубочки-капилляры, наполнить их кровью из мочки уха, замазать капилляры с обоих концов, положить их на лёд и как можно быстрее довести их до прибора, можно по-настоящему исследовать влияние флюотана на дыхание. Да и не только его.

Оставалось, как в том анекдоте, уговорить не графа Потоцкого, а Любовь Михайловну. Тот, кто знаком с так называемым научным медицинским миром, знает, как ревниво оберегают и не допускают в свои «ниши» коллеги. Но Любовь Михайловна не только дала согласие использовать прибор, не только снабдила нас драгоценными капиллярами, но и обучила нас забору и транспортировке. Перевозить кровь могла бы и лаборантка. Но счастье общения с ней было выше, чем постоянная нехватка времени. И почти год мы смогли общаться с Любовью Михайловной, получая бесплатные уроки современной диагностики нарушений дыхания и их терапии. Мне посчастливилось сохранить добрые отношения с этим настоящим врачом и учёным. Именно она настояла, чтобы одну из мемориальных лекций на одном из международных конгрессов прочитал я. Наверное, это был мой единственный «звёздный час». Так как после моего ухода от одной из жён меня не выпускали за рубеж лет двенадцать.

Просто любовь

Это была третья составляющая. Были мы – и врачи, и сестрички, и лаборантки – молоды, крепки духом и телом. Кто-то был замужем или женат. Кто-то был холост или разведён. Возникали и исчезали симпатии и антипатии. Больница была нашей большой коммунальной квартирой. Отдельных квартир почти ни у кого не было. Поэтому, как и в любой коммунальной квартире, нужно было точно знать и время, и место, когда и где можно было уединиться от недрёманого ока соседей. В данной ситуации – от коллег. Иногда выдавалось свободное время. Пожалуй, единственным местом для уединения в летнее время были пароходики. Они курсировали от Северного речного вокзала. Рейс продолжался 4 часа. На пароходиках были отдельные каюты. А, главное, для получения в ней места паспорта не требовалось. Думаю, что в то время это была явная идеологическая недоработка. Но речной вокзал был далеко, свободного времени почти не было, поэтому мы вынуждены были искать другие места для свиданий.

Лучшим местом был кабинет шефа. Но счастье длилось недолго. Помешал мой «романтизм». Однажды я пошёл (не один) в театр. В Малом театре на дневном спектакле давали «Веер леди Уиндермиер». С Быстрицкой. Был я тогда в неё влюблён. Наверное, не один я! Это были первые дни сентября 59-го года. Через несколько дней предстояла защита кандидатской диссертации. Но не пойти на Быстрицкую, хоть и с чужой женой, было выше моего «категорического императива». В театре нас застучал муж попутчицы. Вместо того чтобы набить мне морду, он позвонил по начальству. Добро бы моему шефу. Но позвонил он тогдашнему главному врачу больницы. А меня она люто ненавидела. Будучи влюблена в моего коллегу, который обычно дежурил со мной вторым хирургом, она вечерами приходила в больницу, симулировала почечную колику и доверяла лечение только моему напарнику. Интересы как женщина она не представляла. Напарник просил моей защиты, и я отправлял его на какую-то срочную перевязку. Винаватым в том, что лечение осуществлял другой, а не желанный врач, оказывался я. Женская месть, а уж женщин-начальниц особенно, бывает страшна.

Защита срывалась. Я был первым после долгих лет перерыва – с 52-го года – аспирантом у шефа, и он очень не хотел срыва защиты. Поэтому принял решение наказать меня собственными силами. Собрали собрание. Шеф кричал: «Я знаю, что половина бракосочетаний совершается у меня на диване! Но я требую, чтобы в клинике БИЛ стиль! Разберитесь: кто с кем спит! И вообще, – тут он перешёл на дикий ор, – все эту (тут он назвал имя попутчицы) потребляют так, а Маневичу нужна чЭрёмуха! В театр он её повел!» Шефу – комсомольцу 20-х годов – запал в душу Пантелеймон Романов. «Без черёмухи». И черёмуха стала моей визитной карточкой на всю оставшуюся жизнь.

Шеф говорил: чЭрёмуха, БИЛ, Иразберитесь, – но писал прекрасным русским языком. К слову, шеф был безумно красив и сам не чуждался чЭрёмухи.

Кандидат

Наступал 1960 год. Я всё же защитил кандидатскую диссертацию, и поэтому мне было оказано большое доверие: меня поставили ответственным хирургом в ночь на Новый год. От защиты у меня осталась подаренная четвертиночка какого-то хорошего коньяка. В магазинах Москвы, в отличие от магазинчиков Чкаловска, было действительно всё, но мы, врачи, роскошествовать не могли. Эту четвертинку мы решили распить в 12 часов ночи в кабинете шефа. Однако, накрыв к празднику его письменный стол, обнаружили, что у нас нет главного для распития столь драгоценного напитка – лимона. Мы твердо знали из литературы, что коньяк нужно закусывать лимоном. Говорят, что обычай этот идёт от Александра III. Может быть. Но тогда чем закусывать коктейль «Александр III» – равную смесь одеклонов «Тройной» и «Саша»?

Пол-лимона нашлись в шкафу у шефа. И мы – «О стыд! Ты в тягость мне...» Возмездие не замедлило быть. На следующий день после праздника из кабинета шефа раздался грозный рык: «Кто сидел на моём стуле? Кто пил из моей чашки? Кто съел мои пол-лимона?!» Мы, как мышки, сидели в ординаторской, ожидая решения судьбы. На счастье, но какому-то поводу пришёл академик Леонтович, и мы зачем-то понадобились шефу. А это значило, что мы прощены, и казнь отменяется. История вошла в местный фольклор. Когда мы бывали у шефа дома и нам предлагали чай, то от лимона мы всегда отказывались. Да и посещать кабинет шефа в его отсутствие перестали.

С помощью отца и шефа я остался и в Москве, и в клинике. О том, как отец добыл для меня постоянную прописку в Москве, я уже рассказывал. С наименьшим трудом шеф добился для меня места ординатора. Правда, незадолго до моей защиты я был удостоен чести проводить общую анестезию одному из самых знаменитых терапевтов. У него на голени возникла опухоль. То ли, как все опухоли, – по неизвестной причине, то ли после допросов по «делу врачей». Была крохотная надежда, что опухоль доброкачественная. Подтвердить или опровергнуть это могла только биопсия. Хотя она и называется «срочной», но требовала времени. Около часа. Ждать приговора тяжело не только больному, но даже врачам. А их у постели терапевта собралось более десяти. Во главе с главным хирургом армии. Единственным методом тогда, позволявшим в течение необходимого времени выключить сознание больного, был авертин. Преодолев комплекс неполноценности, рискнул, как должно, попросить у больного разрешения осмотреть его. И мудрый старик сказал: «Что ж, осматривайте. Правда, был бы я простой Иван, со мной бы не церемонились». Наркоз я провёл. Осложнений не было. Увы, опухоль оказалась саркомой. Ногу ампутировали. Но больной через год всё равно скончался.

Во время ожидания мой шеф пожаловался Н.Н. Блохину, тогдашнему президенту АМН и директору института онкологии, что вот, мол, молодой

и талантливый учёный, а места для него нет. Блохин тотчас предложил мне место у него – руководителя отдела анестезиологии. Не знаю, как шеф, а я счёл это шуткой. Через год с большим трудом шеф добыл для меня место – классическую должность м. н. с. (младшего научного сотрудника) с «окладом жалованья», учитывая кандидатскую степень, 1200 рэ.

На распутьи

Анестезиология начала отделяться от хирургии. Умножались в геометрической прогрессии кандидаты наук. У меня уже маячила – «там, за горизонтом» – докторская диссертация по флюотану. Тем более, что волею случая ускорилась работа над созданием отечественного аналога. Все фармакологические препараты разрабатывались или, но крайней мере, апробировались во ВНИХФИ (Всесоюзный химико-фармацевтический институт). Ядром его была лаборатория Михаила Давидовича Машковского – автора знаменитого руководства «Лекарственные средства», выдержавшего к концу его жизни 15 изданий.

Жоров договорился с Машковским – оба они были фронтовики – о том, что фармакологи будут пытаться воспроизвести флюотан. О законности или незаконности этого судить не могу. Но работа – создавался отечественный аналог в Ленинграде – шла очень медленно. Для докторской диссертации нужен был отечественный препарат, и я пытался ускорить процесс, который пока «не пошёл». Ускорить мог только Машковский. И я, преодолевая комплекс почтительности, раз в месяц осмеливался его тревожить вопросом о том, как обстоят дела в Ленинграде. Однажды, дозвонившись, я услышал, что голос Машковского резко изменился. Это был голос очень большого человека. А даже в глубокой старости – дожил он и продолжал работать до 93 лет – говорил всегда чётко, с некоторой долей иронии. А в этот раз на мой вопрос – «Вы больны?» – профессор ответил, что вот уже третий день у него болит живот и даже грелка не помогает. Разумеется, я немедленно приехал, уложил больного на лабораторный стол, пропальпировал живот. Последствия разделения медицины на узкие специальности было явным: диагноз острого аппендицита не вызывал сомнений. Позвонил шефу. Привёз больного в клинику. Жоров оперировал. Удалил огромный гнойный червеобразный отросток. Я провёл наркоз. Конечно, флюотаном. И наркоз, и операция, и послеоперационный период прошли с единственным осложнением: Машковского мучил клеол, которым приклеивали повязку. Выписываясь, профессор обещал сделать отечественный флюотан и изобрести заменитель клеола. Флюотан, названный фторотаном, был действительно создан. Замены клеола пока я не знаю.

Путь к докторской диссертации был открыт. Но я-то ведь был хирургом и вовсе не хотел быть анестезиологом. В клинике оперировать я почти не мог. На всех врачей – профессора, доцента, ассистентов, больничных заведующих

отделениями, просто врачей, ординаторов и аспирантов – операций не хватало. На двух бесплатных дежурствах можно было прооперировать максимум одну прободную язву, один острый холецистит и пару аппендэктомий. И второму хирургу, и молодым ординаторам тоже нужно было оперировать.

Мои напряжённые отношения с главным врачом исключали платные дежурства. А зарабатывать на жизнь было необходимо. Мама разрывалась между больным отцом (он перенёс и второй инфаркт, и первый инсульт), внуком и печатанием не только моих опусов, но и других диссертаций по 10 коп. (копеек) за страницу. Я начал подрабатывать хирургом в городских больницах. Все они были далеко от нашей клиники. Нужно было найти такую, где нужда в дежурном хирурге была больше, чем досада на его постоянные опоздания, если дежурства приходились на будние дни, или слишком ранний уход, если дежурства заканчивались в понедельник. На утреннюю конференцию у Жорова опоздать было невозможно. Каким-то не совсем законным путем удалось решить проблему справки-разрешения на совместительство, и 6, 7, 8, а иногда и 10 дежурств были существенной добавкой к семейному бюджету (10 рэ за суточное дежурство!).

Дела житейские

Отец болел всё тяжелее. Был инсульт, потом второй инфаркт. Спуститься с 5-го этажа без лифта было невозможно, а балкон рушился. Кто-то посоветовал написать не на съезд, а в оргкомитет очередного съезда партии. Совет был мудрый. О том, что существует какой-то оргкомитет, мало кто знал. Но я-то вынужден был знать: четыре раза сдавал эту «науку» в институтах, пятый раз – как кандидатский минимум. И нам выделили двухкомнатную квартиру на 1-м этаже на окраине Москвы, в Мнёвниках. Отец смог, хоть и с помощью, но в погожие дни выходить на улицу. Он даже мог крутить ручку арифмометра и подсчитывать бесконечные средние, среднеквадратичные отклонения, доверительные интервалы результатов моих исследований.

Но для остального нашего семейства трудности бытия многократно усугубились. Район был новый. Маме приходилось ехать в центр и за продуктами, и за лекарствами, и к своим работодателям, забирая их рукописи и отвозя отпечатанное. Сыну пришлось поменять школу. В 1-й класс, в мою 93-ю школу он пошёл в 7 лет сам и учился вполне удовлетворительно. К новой школе адаптировался трудно и долго. Мне было не легче. От дома на Смоленской до клиники у метро «Спортивная» можно было добраться за полчаса. От Мнёвников дорога занимала часа полтора. Сперва в троллейбусе до метро «Краснопресненская», потом на автобусе. Троллейбус был всегда переполнен. Поэтому я, если ночевал дома, а не в больницах, выходил на полчаса раньше, ехал в обратную сторону до конечной остановки в Серебря-

ном бору и уж там усаживался у окна в середине салона, чтобы не пришлось уступать место. Я писал «рыбу» своих опусов. У меня уже было более чем достаточно работ для докторской, но самой любимой был обзор литературы, посвящённый фторотану. Он был не только опубликован, но я впервые получил за свой труд солидный (по моим понятиям) гонорар. Спасибо Лёне Крымскому, тогдашнему учёному секретарю журнала, а вообще-то – сыну расстрелянного секретаря МК. Леонид был знаменит тем, что в 56-м году после письма Хрущёва расколотил ломом бюст «отца и учителя» в вестибюле института хирургии. Отсидел 15 суток. Но профессором всё же стал и постоянно опекал молодёжь, печатая в журнале работы по общей анестезии, хотя редактор журнала А.А. Вишневский упорно отстаивал приоритет местного обезболивания по методу своего отца.

К сожалению, медицинские труды оплачиваются далеко не так, как труды по политике и искусству. Поэтому приходилось брать столько дежурств, сколько, как и суверенитет, мог потянуть. Поэтому дома я ночевал редко. Да и свиданки с любой целью – интеллектуальной или сексуальной – стали невозможны. К счастью, на дежурствах удавалось не только оперировать, не только понемногу обрабатывать результаты исследований, но и восполнять дефицит общения с женской половиной человечества.

Разумеется, недрёманные очи быстро доносили о противоправных деяниях. Поэтому больницы приходилось менять. Благо, нужда в дежурантах, умеющих оперировать под местной анестезией, да ещё помогающих создавать в больницах современную анестезиологию, всё увеличивалась. Поэтому до 71-го года, до прихода в институт нейрохирургии, я был, как морской пехотинец у Киплинга, – «солдат и он же моряк» – гермафродитом: и хирургом, и анестезиологом. Увы, как хирург я не совершенствовался. В Чкаловске я оперировал если не лучше, то значительно больше и шире.

Вообще, меня стали считать анестезиологом. На первых порах мне это даже нравилось. Признанных специалистов в этой области было немного. Приглашали и на консультации, и на конференции, и на съезды. Даже предложили написать книгу по анестезиологии. Правда, не для врачей, а для медицинских сестёр. Но в мои студенческие годы многие такие учебники были, пожалуй, лучше учебников для институтов. Такими были учебники Великорецкого по хирургии, Каплана – для акушеров. Мы, действительно, с Виктором и нашими любимыми анестезистками Наташей и Надей написали такой учебник. Он выдержал три издания и, как утверждает моя последняя жена, был лучшим из всего, написанного мною.

На дежурства ко мне стали приходиться не только знакомые женщины, но и молодёжь, жаждущая творить науку. Флюотан (фторотан) стал модным. Особенно после того, как на какой-то конференции я вместо похвалы ему говорил только о его недостатках. Мои потенциальные оппоненты грудью встали на защиту флюотана. А уж потом им деваться было некуда. Сами хвалили! Больше

всего будущих учёных приходило из отделений детской хирургии. В них по-прежнему наркоз проводили только эфиром, самым мучительным методом для детей. Особенно много желающих творить науку было в детской больнице им. Русакова (теперь больница Св. Владимира). Кафедру детской хирургии на её базе возглавил Станислав Яковлевич Долецкий – молодой и талантливый во все стороны, сверху донизу.

Изнанние

Жизнь вошла в обычное русло клинической работы. Операции, анестезии, исследования, писание статей и тезисов на всяческие конференции. Шеф, не переставая периодически называть нас «г...», даже добился для нас с Виктором должностей старших научных сотрудников. Соответствовала эта должность в науке доценту в педагогике. Переделав эпиграмму Евтушенко, адресованную, говорят, Долматовскому, я написал Генриху Ильичу Лукомскому, уже бывшему доцентом несколько лет: «Ты доцент, и я доцент / Нам один эквивалент: / Я – г... и ты – г... / Я – недавно, ты давно». Но тем не менее мы отпраздновали это событие. Разумеется, в «Арагви». Потом пошли вверх по Тверской (тогда улице Горького). Были мы подшофе, и по дороге один из наших коллег всё приставал ко мне, чтобы я почитал Маяковского. Я отнекивался. Но у памятника Маяковскому – островок свободы в те годы – он вновь громогласно закричал: «Сейчас Маневич прочитает...». Окончить фразу не дала орущая толпа, прижавшая нас к кинотеатру «Москва»: «Эти – тра-та-та – контра! В милицию их!» С нами была жена одного из сотрудников клиники – племянница Брежнева. Она кричала: «Фашисты! Подонки!» Это, разумеется, разогревало энтузиазм толпы. Мордобоя, к счастью, не случилось. Нам повезло. Появилась милиция, и нас препроводили в участок. Там мы, особенно племянница, начали «качать права». Последовали всяческие извинения. Но с тех пор мне пришлось увеличить дозировку нитроглицерина в моём пузырьке с каплями Вотчала.

Моя докторская была почти готова. Но первым докторскую диссертацию по анестезиологии защитил Виктор Прокопьевич Смольников. Это был замечательный человек и учёный. Вырос и получил образование в Харбине. Фактически он и был первым профессиональным анестезиологом в нашей стране. И все мы, молодые специалисты, учились по его монографии «Эфирный наркоз». Да и монография «Ингаляционный наркоз», вышедшая одновременно с монографией И.С. Жорова, на самом деле была написана им, хотя первым автором стоял Е.Н. Мешалкин. Увы, таковы правила игры в нашей стране. Виктор Прокопьевич стал руководителем отдела анестезиологии в институте онкологии и первым защитил докторскую диссертацию по этой специальности. Правда, работа эта была засекречена, и мы знали о её сути

лишь по небольшой брошюре, посвящённой наркозу циклопропаном. В те годы это был «модный» общий ингаляционный анестетик. К сожалению, он ещё больше, чем эфир, был взрывоопасен. Циклопропан сейчас не применяют. Но В.П. был первым, обучившим нас принципам грамотного проведения ингаляционного наркоза. Да и вообще с ним было просто приятно пообщаться, поговорить «за жизнь». К сожалению, он страдал нашей традиционной болезнью и преждевременно скончался. Он был первым специалистом-анестезиологом в ВАКе (высшая аттестационная комиссия) и много доброго сделал для молодых учёных.

Вскоре защитили докторские диссертации Тигран Дарбинян, работавший тогда в институте хирургии им. А.В. Вишневского, и Леонард Чепкий, работавший в Киеве. Учитель был их консультантом. Но мою защиту шеф почему-то задерживал. Причины я так и не узнал. Было обидно. Я «петушился» и даже пытался спорить с шефом. Как-то на утренней конференции, опровергая какое-то его заключение, заявил: «Как говорила моя бабушка, воз из цу, дос из иберек!» (что слишком, то нехорошо). Это был один из немногих афоризмов на идиш, которые я знал. Шеф вскочил, крича: «Что ещё говорила ваша бабушка о нашей науке?» Однажды я даже осмелился огрызнуться. За какое-то моё прегрешение шеф начал меня отчитывать, крещендо. И я психанул. Повернулся к шефу задом и от двери крикнул: «Я и отцу не позволял на себя кричать». После этого шеф на меня не кричал, но когда кричал на Лукомского или Михельсона, то не забывал упомянуть меня. В моих виршах, написанных через четверть века, я описал это так: «Вы, Генрих Ильич, – г..о, а уж Маневич ваш – давно! Здесь клиника, а не конюшня!»

Апогея конфликт достиг во время защиты кандидатской диссертации Виктором. После защиты полагался банкет. Его организация была доверена двум Лёхам – Крохалеву и мне. Мы долго не могли найти кафе или ресторан, отвечающий многим, прежде всего финансовым, возможностям диссертанта. Нашли буквально в день защиты. Поэтому и шефу сообщили только к концу учёного совета. Шеф психанул. Он был убеждён, что это – результат моих происков. Он кричал: «Передайте вашему Маневичу, что я – не домработница!» Уговорить его пойти на банкет не смог ни Лукомский, ни диссертант. Смогла это сделать только жена Виктора – Лара Аладинская. Отказать женщине шеф не мог. Но на банкет пришёл с опозданием. На меня не смотрел, точнее, смотрел сквозь меня. С горя я наполнил 6 (шесть) рюмок водкой, и выпил их одну за другой. Банкет я провёл в туалете. Домой меня отвезли на полу 401-го «Москвича».

Склонить повинную голову я не хотел. Конфликт обострялся. Я нахально оспаривал и диагнозы шефа, и выбранные им методы лечения, и методы анестезии. Не знаю, был я когда-либо прав или не прав, но однажды шефу это надоело, и он на обходе бросил мне: «Если у нас разные научные концепции, ищите себе другое место! И я начал его искать.

Прощание

Шеф был причиной не только моей переквалификации из хирурга в анестезиолога, но и – правда, косвенно – моей очередной женитьбы. У шефа был сын. Гораздо менее талантливый, чем отец. Но, разумеется, учитель очень хотел его «остепенить». Володька был неплохой человек, очень любимый женой, дочерью знаменитого академика и падчерицей не менее известного деятеля кино. Работала Ляля на «Мосфильме». Я относился к сыну учителя всю жизнь иронически. Уже незадолго до его смерти подарил ему мой очередной опус с посвящением: «Оно, конечно, здорово / родиться сыном Жорова, / но трудно и ответственно – / ведь надо соответствовать. / Природа ж, всякий знает, / на детях отдыхает». Может быть, он обиделся, но виду не показал. Всё же я помог ему и с кандидатской, и с докторской диссертациями, предложив изучить один из вариантов общей анестезии флюотаном. Но и его семья отблагодарила меня, женив на одной из Лялиных подруг. Подруга, как и Ляля, работала на «Мосфильме».

Добрачный период и сам наш брак продолжались недолго. Но и за это время я познал все прелести бытия людей искусства. Работа коллектива объединения, в котором работала моя супруга, начинала творчество не раньше полудня, заканчивала ночью. Мой день был полностью противоположен. Я заканчивал оформление докторской. Бегал по Москве в поисках работы, оппонентов, мотался из клиники на дежурства и с дежурств в клинику. Но когда вечерами появлялся дома, встречала меня не любящая супруга, а моя временная тёща. Рассказа избегу, так как меня опять обвинят в антисемитизме. До моей защиты диссертации мы всё же дотянули брак, но очень скоро дочь поняла, что я убью её мамочку, и мы расстались.

И всё же я «приобщился» к искусству. Изредка посещая супругу в её объединении на «Мосфильме», я посмотрел какие-то фильмы, недоступные в те времена простым смертным. Но запомнился только один – «Психо» Хичкока. Понял, что немаловажная проблема жрецов киноискусства – заработок. И заработок значительно больший, чем наш врачебный. Если ты, разумеется, не модный гомеопат или дерматолог. Но понял и то, что для этого нужен талант. И профессионализм. Мои попытки с ходу сочинить что-либо похожее на «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (супруга образовывала меня, давая читать сценарии) окончились провалом. Благо, хватило ума понять, что ни талантом кинодраматурга, ни тем более профессионализмом я не обладаю. И обладать не буду.

Поэтому надо пахать на своём поле. Только поля у меня пока не было. Работу я нашёл далеко не сразу. В институте онкологии место уже было занято. В институте рентгенологии явно помешал 5-й пункт. В клинику Петровского я и не совался. Хоть учитель и изгнал меня, но предать его, придя

в конкурирующую организацию, гордость и матросская честь не позволяли. Можно было, конечно, уехать и какой-нибудь институт на периферии, но я уже врал в Москву, да и обстоятельства в семье – болезнь отца, профессия супруги – откладывали такое решение. Да и подавать на конкурс заведующего кафедрой хирургии с незащищённой докторской диссертацией было, как меня уверяли, бессмысленно. Кто хочет найти оправдание, находит его. И поиск ограничился Москвой.

Возвращение в детство

П

лакаться я любил, памятуя основной закон преферанса: «Плачь больше: карта слезу любит». Плакался я и моим молодым подопечным. Они и доложили Долецкому обо мне. Со Станиславом мы уже были знакомы. На каких-то конференциях с тематикой по детской хирургии я выступал и со «своими» авертином и флюотаном. Долецкий же создавал, как теперь говорят, команду.

Долецкий

Станислав Яковлевич был талантлив во всём. Блестяще оперировал. Был достаточно образован (в меру возможностей нашего образования), знал необходимый литературный минимум – от Пушкина до Ильфа и Петрова, неплохо музицировал на фортепьяно и мог изъясняться по-английски. Прекрасно писал и профессиональные, и парапрофессиональные опусы. Был безрассудно смел: именно он привёз из Англии и давал читать мне (и не только мне) «Доктора Живаго» и «Лолиту». Был обаятелен и мог обаять не только женщин, но и мужчин. Нет, он, как и я, не был «голубым»! Просто даже его враги вынуждены были признавать его таланты. Внешне – экстраверт, он на самом деле был скрытен. Мы были достаточно близки, но только после его смерти узнал, что настоящая его фамилия была другой, что отец его был каким-то важным партийным деятелем, разумеется, репрессированным.

В годы оттепели в маленькой книжечке Всеволода Багрицкого я прочитал о том, что Стасик в компании Всеволода был главным «идеологом». Главным идеологом он был и в создаваемой им команде. Уходило старое поколение детских хирургов – Краснобаев, Терновский, Кружков. Другой стала хирургия взрослых. Уже широко не только за рубежом, но и у нас оперировали на лёгких и сердце, аорте и печени. Но во взрослых клиниках оперировать малышей избегали, да и не умели.

Станислав не без труда получил кафедру детской хирургии в ЦИУ. Директором или ректором была Ковригина – бывший министр здравоохранения. Стала она министром, кажется, тогда, когда усатый выгнал предыдущего министра из-за сфабрикованного дела Ключевой – Роскина. Ковригина свято следовала генеральной линии – государственному антисемитизму – в подборе кадров, но допускала хоть не 5%-ную, но 0,1%-ную норму. Так, она согласилась взять ассистентом на кафедру анестезиологии Алика Аксельрода – одного из основоположников КВН. Она сделала заведующим кафедрой хирургии и моего брата. Убеждён, что о еврейских корнях Долецкого не знала. Внешне он был типичный славянин с курносым носом. Скорее всего, напоминал благородного польского пана, как Янковский.

Но уже чего точно не могла предположить Ковригина, так это независимости суждений молодого заведующего. Добро бы в кругу своей семьи. Так ведь публично и громогласно. Не знаю, по какому поводу, но как-то на конференции Станислав обозвал Ковригину солдафоном в юбке. О том, что ей сие было доложено, можно было судить по немедленной реакции её главного опричника – начальника отдела кадров – некоего Буравченко. Он немедленно создал и возглавил комиссию по проверке очередной анонимки о безобразиях, творимых на кафедре.

Так что создать команду в составе кафедры Долецкий явно не мог. Но лучше его детей никто не оперировал, а дети есть и у власть имущих. Уж не помню, кто был тогда министром здравоохранения Союза, но, как всякий следующий, он недолюбливал предыдущего министра. Думаю, что это способствовало тому, что Долецкий был назначен главным детским хирургом страны. Предвидеть всё, даже талантливым людям, было не дано. Главный детский хирург страны был почетнее главного детского хирурга России. ЦИУ входило в союзное министерство. Тогдашний министр воевать с Ковригиной явно не хотел. Поэтому создавать команду можно было только под крышей российского Министерства здравоохранения. И возник зародыш такой команды в Институте педиатрии, подчинённом не союзному, а республиканскому министерству. В этом институте и было утверждено штатное расписание отдела детской хирургии. Мелочь, но такая же ошибка, как «Поручик Киж». Это сыграло роковую роль, разрушив почти всё созданное Долецким.

Богадельня из Кропоткинской

Теперь этой улице возвращено старое название – Пречистенка. Институт давно переименован в Институт педиатрии и детской хирургии, давно переселён из центра Москвы на окраину, давно уже нет Долецкого, создавшего современную детскую хирургию в нашей стране.

Институт больше всего напоминал нынешние «советы ветеранов». Работали в нём старые опытные педиатры. Они прекрасно умели обследовать и лечить детей. Любили и свою работу, и свой институт. Но, увы, безумно боялись новаций, разрушавших их уютный привычный мирок. Во главе института была какая-то безлика женщина. Я проработал в институте года четыре, но не запомнил ни её лица, ни даже фамилии. Правили в институте двое: заместитель по науке и парторг. Заместитель был офицер-фронтовик. На войне он потерял ногу. Был он прекрасным врачом, специализировавшимся на патологии лёгких у детей. Это, в сочетании с фронтовыми заслугами, компенсировало его недостаток – он был еврей. Общаться с ним было интересно только по проблемам лёгочной патологии. Он, как и большинство сотрудников института, чувства юмора был лишен. А уж у парторга это был, видимо, наследственный дефект.

В 67-м году шли бесконечные «базары» в партийных инстанциях о судьбе хирургических отделов, которые переводили из Русаковки в другую больницу. Даже я был вынужден иногда приходить в больницу не к 8:00, а значительно позже. Это не соответствовало моему устоявшемуся имиджу и как-то раз во дворе больницы меня встретил кто-то из коллег. Зная мою пунктуальность, он удивленно спросил меня о причине столь позднего прихода. Я, изобразив гнев, вскричал: «Бюрократы! Мой папа – турецкоподданный, а мне не дают визу в Турцию!» Недели через две, когда я проводил наркоз на тяжелейшей операции у ребёнка по поводу патологии печени, поступил приказ по телефону: к 13:00 явиться в институт к секретарю парткома. Пришлось просить мою любимую Станиславу Ивановну заменить меня и ехать, как я полагал, на очередную разборку.

В 13 часов в институте был традиционный обеденный перерыв. Парторг заведовала биохимическим отделом. Размещался он на втором этаже в одной большой комнате. В ней был выделен закуток – кабинет заведующей. Она же – парторг. Лаборатория была пуста. Только на пороге своего кабинетика стояла вызвавшая меня и манила довольно толстеньким пальчиком. Когда я вошёл, она закрыла дверь и, не предложив сесть, задала вопрос: «Алексей Зинович! Почему вы скрыли от партии, что ваш отец – турецкий подданный?» Меня не поразил идиотизм вопрошавшей. У меня в голове начал прокручиваться фильм. Я точно вспомнил мою шутку, но мучительно не мог вспомнить того, кому её адресовал. Я психанул. Орал: «Если вы – идиоты, вам место – не в институте, а – в психбольнице!» Не знаю, матерился я или нет. Кажется, удержатся. Не изувечил вопрошавшую, но перебил всю лабораторную посуду.

Когда мой отдел уходил из института, припомнили все мои действительные и мнимые прегрешения. Но никогда даже не упоминали о причинённом мною разгроме биохимической лаборатории. Впрочем, может быть, это способствовало обновлению её материальных фондов?

Команда

Долецкий формально не имел отношения к этому институту. Он был только приглашённым членом его учёного совета. Совмещать, как теперь, заведование кафедрой в ЦИУ и руководить отделом в НИИ он не мог. Был убеждён в абсолютной власти авторитета и подбирал команду. Возглавить её формально должен был детский хирург. Докторов наук, детских хирургов в Москве тогда не было. Правда, я уже подал к защите докторскую диссертацию, но к детской хирургии она отношения не имела. На должность руководителя отдела детской хирургии Станислав рекомендовал Виктора Гаврюшова. Мы проработали вместе года четыре. Потом наши пути разошлись. Но до конца его жизни – умер он, к сожалению, очень рано – мы сохранили тёплые дружеские отношения, несмотря на возникшую разницу наших социальных статусов. Виктор стал ректором ЦИУ.

Виктор разрабатывал проблемы хирургии новорождённых и патологии органов брюшной полости. Постепенно у него собралась группа молодых талантливых хирургов. Самым талантливым был Валерка Акопян. Он был не только хирургом, но и прекрасным художником. Он был намного моложе меня, но мы дружили, и он иллюстрировал мою монографию – первое руководство в стране по детской анестезиологии. После моего ухода в Институт нейрохирургии Валерий возглавил и восстановил мою бывшую лабораторию, почти уничтоженную конкурирующей организацией.

Проблемой оставалась кардиохирургия. Оперировать на сердце Станислав не умел, да и не хотел. Специалисты в этой области были наперечёт. Станислав полагал, что ему повезло: из Новосибирска, от Мешалкина, в Москву вернулся Игорь Медведев. Кардиохирургом он стал в клинике Бакулева – одной из первых в нашей стране, начавших оперировать на сердце. Игорь был очень красив и талантлив. Начало его карьеры было блестящим. Совсем молодым он защитил кандидатскую, получил должность и звание доцента и фактически стал наследником Бакулева, женившись на его дочке. Увы, пройти испытание «медными трубами» он не смог. Основная благодарность хирургам в те годы – алкоголь. Правда, ныне покойный Юлий Ефимович Берёзов – один из самых лучших хирургов своего времени, оклеветанный Крейлиным (не читайте «От мира сего»! Утверждаю – это пакость), – говорил: «Если у хиурга (он немного картавил, как Владимир Ульянов) нет под столом ящика коньяку, значит, он не хиург». Удержаться очень трудно. Мне повезло, так как в Чкаловске высококачественных алкогольных напитков не было, а к спирту у меня развилась толерантность после дегустации его, о которой я уже рассказывал.

Игорь, когда был трезв, оперировал прекрасно. Но детей нужно было не только оперировать, но и готовить к операции. На это у Игоря не было ни желания, ни времени. Да и один в поле – не воин. Искали напарника. Но учителя не стремились отдавать учеников. Расщедрился только Галанкин – кардиохирург в Институте

хирургии Вишневецкого, – отдав своего «любимого» аспиранта. И Долецкий, и Гаврюшов, видимо, не читали или забыли «Илиаду». А в ней сказано: «Тимео Данаос эт дона феррентес», что означает: «Бойся данайцев, дары приносящих» или, как перефразировал Ильф: «Бойтесь данайцев, приносящих яйца». К тому же у этого аспиранта было важное достоинство – он был мужем нашего главного врача, моей сокурсницы, Марины Владимировой. Теперь она носила фамилию своего мужа – Малявина. Как могла выйти замуж за этого ублюдка, да ещё родить от него двух детей наша комсомольская богиня, не понимаю до сих пор. Вероятно, от безысходности – после окончания она по призыву партии распределилась в какой-то медвежий угол. Там она его и обнаружила. Муж её происходил явно не от медведя. Вероятнее всего – от хорька. Сколько крови попортил он нам – прости ему, Господь! Но ещё больше крови он выпустил из детей. Однажды только героическими усилиями анестезиологов, возмевшими устроенную им кровопотерю в размере трёх объёмов крови, удалось спасти ребёнка, пока не нашли Игоря, закончившего, к счастью, благополучно, начатую Малявиным резню.

Остановить его было невозможно. Очень скоро был создан самостоятельный отдел кардиохирургии. Возглавил его, разумеется, Игорь. Но когда по тем или иным причинам Игорь отсутствовал, Малявин становился хозяином, «ндраву» которого препятствовать никому не удавалось. Ведь формально всё было по правилам. Да ещё при поддержке главного врача. Потребовались годы, чтобы это поняла, нахлебавшись от него в полной мере, Марина. На 50-летие окончания Рязанского института она не пришла.

Долецкий и Гаврюшов хватались за голову, пытаясь решить проблему болезни Игоря и самодурства его помощника. Я предложил радикальный выход, рассказав анекдот о бедном еврее, пришедшем советоваться к раввину. У еврея была огромная семья, ютившаяся в одной комнате. Раввин посоветовал поселить в комнате ещё козла. Потом ещё одного. Когда бедняк от отчаянья готов был повеситься, раввин предложил выгнать обоих козлов. И бедный еврей возрадовался жизни. Увы, джинн был выпущен из бутылки. Выгнать их было нельзя. Созданный отдел кардиохирургии Долецкому не подчинялся. Он оказался одним из двух отделов, оставшихся в Институте педиатрии и детской хирургии, когда практически все остальные сотрудники уволились из него. Нет, осталась ещё доктор Гранова, которую, как 5-ю колонну, навязали в мой отдел. Как женщина она была «вполне». Как специалист, не знаю. Но ведь кому только партия не доверяла руководство! И Гранова сменила на посту парторга руководителя отдела биохимии.

Расставанье – хуже смерти

Клиника Жорова была президентской республикой. Может быть, в отличие от такой клиники, как клиника Березова, главный врач и её подчинённые пытались взбрыкивать и «качали права», но Жоров быстро наводил «морской

порядок». В клинике не было деления на сотрудников кафедры, сотрудников ЦНИЛА (центральной научно-исследовательской лаборатории), формально не числившихся, а лишь прикрепленных к кафедре, и сотрудников больницы. Зарплату мы получали в разных местах. Но «стиль» был единым.

Был в клинике и исполнительный орган – «малый хурал». Возглавлял его Генрих Ильич Лукомский, ставший доцентом, а потом, после смерти учителя, возглавивший кафедру. Может быть, Генрих и не был таким великим оператором, как Борис Алексеевич Королёв, Юлий Ефимович Берёзов, Виктор Маневич или Виктор Савельев, но, утверждаю, он был одним их самых образованных хирургов. Его диагнозы и выбранные методы хирургии всегда были точны, операции были щадящими, осложнения были исключениями.

Генрих был прекрасный организатор. Много лет он был деканом лечебного факультета и председателем учёного совета. К несчастью, он умер, упав у операционного стола. Но это было, когда я уже был пенсионером. Я всегда пользовался его советами. И к нему бросился за помощью, когда мой сын погибал от кровотечения в плевральную полость. Генрих ночью приехал в клинику, оперировал и спас моего сына. Царствие ему небесное!

Но пока председатель «малого хурала» решал проблемы клиники, до которых не снисходил шеф. Проблем было много. Нужно было и обеспечить клинику достойными бригадами дежурных хирургов. Не по национальному признаку, как в 13-й больнице, а по профессиональным качествам. Нужно было оборудовать клинику современным оборудованием и снабдить медикаментами. Нужно было писать годовые отчеты и править всё увеличивавшееся количество диссертаций. Нужно было прикрывать сотрудников, подрабатывавших в других местах. Генрих умело разделил сотрудников. Красавец Эдик Сваджан стал министром иностранных дел, Виктор Михельсон – внутренних, ваш покорный слуга – спичрайтером. Главное – Лукомский принимал гнев шефа на себя. Однажды с помощью Эдика мы приобрели огромный, как гроб покойника-мафиози, аппарат для гипотермии (искусственного охлаждения). Стоил он каких-то безумных денег и в общем-то оказался ненужным. Но в те годы осуществлять гипотермию с его помощью казалось верхом совершенства. Во время покупки шеф был в отпуске. Вернувшись, он сразу понял бессмысленность приобретения и обрушился, разумеется, не на Сваджана, а на Лукомского. Генрих, едва не выгнанный из клиники, как партизан, не выдал Эдуарда, и тот продолжил свои внешнеполитические контакты. Его светлый образ долго мешал мне, когда я стал оборудовать свой первый отдел детской анестезиологии.

Я же был избавлен от организационных проблем. Меня рассматривали, что было лестно, «мозговым пулеметом». Идей я, правда, особых не выдавал, но зато максимально быстро правил опусы всё увеличивавшегося количества сотрудников, занимавшихся проблемами анестезиологии. Специальность становилась модной. Диссертации пеклись как блины. В песне, 8 строк которой написаны мною, 4 – Мотей Левинтоном, наша специальность характеризовалась

так: «Не кочегары мы, не плотники, / не терапевты, не врачи, / а мы – наркозные работники – / засунем трубку, и молчи! / Засунем трубку без сомнения – / туда-сюда, туда-сюда, / трахеи ширина измерена, / а также «ректум» глубина. / Идём работать утром ранечко, / чтобы вогнать больного в сон; / ведёт нас психоватый Манечка / и бравый Витя Михельсон». Манечка – это моя «кликуха», коей я очень дорожу.

Большинство этих работ, как и моя кандидатская, представляют теперь только исторический интерес. Даже вышедшие из нашей клиники. Не говоря уж о диссертациях из других клиник, посвящённых «новокаиновому наркозу» и ему подобным методам. Почти любой текст я правил к утру. Поэтому меня считали «идеологом», хотя я только реализовывал свою первую профессию – учителя русского языка и литературы. Количество грамматических ошибок в моей правке не уменьшилось, но стиль совершенствовался. Поэтому мои коллеги по клинике прощали мои взбрыкивания, например порванный первый вариант нашей книжечки «Основы наркоза». Психовал я, главным образом, если нарушалась договорённость. Кажется, мой соавтор отдал свою часть на несколько дней позже обусловленного срока.

«Психовал» я нередко и в Институте педиатрии, ставшем вскоре Институтом педиатрии и детской хирургии, и в Институте нейрохирургии. Только поводы уже были другие. На меня легли «весомо, грубо, зримо» все организационные проблемы, от которых меня избавляли коллеги в клинике Жорова.

Сотворение мира

В моей жизни были периоды влюблённости. Речь идёт не только о прекрасной половине человечества. Такие, разумеется, были. Но были и периоды влюблённости в поэтов. На фоне постоянной любви к самым великим – Пушкину, Маяковскому, Блоку, Цветаевой, Ахматовой, Лермонтову, Тютчеву – был период Баратынского, период Слуцкого, период Мартынова. Был долгий период влюблённости в Киплинга и период Пастернака. К самым великим я причислял и Генриха Гейне. У него я учился ироничности, спасавшей меня в чёрные полосы жизни. Одну его заповедь я возвёл в абсолют: «Само сотворение мира не сложно: / в 6 дней я его сотворил потом: / по плану, по замыслу только можно / Творца оценить целиком».

Решение перейти в детскую хирургию далось непросто. Мне казалось, что я был начисто лишён способностей организатора. Да и зачем мне это? В ближайшее время будет защищена докторская диссертация. Она открывала путь к заведованию кафедрой. Вряд ли – в Москве, но на периферии – почти со 100%-ной вероятностью. А может быть, учитывая мои заслуги в анестезиологии, меня бы взял профессором на свою кафедру Борис Алексеевич Королёв? О большем я и мечтать не мог. Да и переходя в Институт педиатрии,

я здорово ущемлялся материально. Тогда институты делились на категории. 1-й медицинский институт был и 1-й категории. Институт педиатрии – 3-й. Зарплата старшего научного сотрудника в нём была едва ли не на сотню меньше, чем моя нынешняя. А «...у него была семья», как писал Евтушенко. Правда, было обещано, и это оказалось действительностью, что вскоре создадут самостоятельный отдел анестезиологии.

И я решил. Прощание с клиникой Жорова было тягостным. Я ещё долго пользовался любым предлогом, чтобы прийти в клинику, хотя избегал встречи с учителем. Думаю, что и он любил меня. Во всяком случае, умирая, он попросил только Виктора и меня проститься с ним. И, честно говоря, я не терял надежды, что шеф попросит меня вернуться. Не попросил. Но и не возражал, когда я приезжал в клинику оперировать. Сложилось так, что я был единственным хирургом, который мог резецировать желудок под местной анестезией по А.В. Вишневскому, а ещё были больные, которые категорически отказывались оперироваться под «общим наркозом». Так что я в душе оставался хирургом. Да и число дежурств по хирургии пришлось увеличить. Большую часть зарплаты я отдавал в законную семью. Но надо было и помогать родителям. Отцу становилось всё хуже. Маме пришлось почти бросить свои машинописные заработки. Тем более, что она уже в 5-й или 7-й раз перепечатывала мою докторскую диссертацию. Она была в трёх томах. Напечатанная на бумаге «верже», весила она около пуда. Не знаю, сохранилась ли она в ЦМБ (Центральная медицинская библиотека). Но знаю точно, что мой экземпляр выкрал и сохранил один из моих учеников.

С чего начинается Родина, мы знаем из песни. С чего начиналось создание нового направления в медицине? С плана будущей монографии. Мои подруги из ЦМБ дарили мне на дежурствах не только свою любовь, но и приносили бесценные дары – литературу, запрещённую к выносу из библиотеки. И не только приносили, но и организовывали покупку за рубежом. К моей чести, всё – раньше или позже – было возвращено.

Когда я защитил докторскую, то стал приобретать литературу на законных основаниях в книжном отделе Академии наук. Впервые я попал туда в 1958 году. Мой учитель послал меня в отдел, ведающий приобретением иностранной литературы для докторов наук и выше. Зарубежная научная информация оценивалась в валюте и распределялась строго по рангам. Когда я вошёл в этот дом, то, как говорится, раскрыл варежку и долгие годы не мог её закрыть. Поразил интерьер. В этом доме – удивительной красоты обеденный зал, переживший усатого и его подручных. Поразила величественная тишина. Но главное – почтительно-вежливое обращение ко мне – аспиранту второго года обучения в потрёпанном пиджачке. С переляку я оставил в этом отделе и неделю бесплодно искал свой обзор литературы, разорванный шрифтом и склеенный доцентом. К счастью, сотрудницы этого отдела позвонили шефу. «Труд» был без титула. Но тогда мой шеф был единственным учёным,

действительно занимавшимся наркозом. Это было общеизвестно, и поэтому обращение к нему было естественным.

С этого момента (уж не говорю о красоте женщин Дома учёных, особенно главы отдела, где нашлась моя пропажа) у меня не было большей мечты, нежели стать его действительным членом. Правда, когда мечта сбылась, и я стал на законном основании посещать его, то понял, что инволюция коснулась и этого островка интеллигентности, что Дом далеко не тот, что был во времена его первого директора – Марии Фёдоровны Андреевой. Обидно, что Дом учёных, кажется, единственное такое заведение в Москве, в котором после «евроремонта» вообще исчезли портреты более или менее знаменитых его членов. Наверное, были и учёные, отдавшие жизнь в Великую Отечественную войну. Но и их память нынешнее руководство Дома предало забвению.

Самое лучшее (для меня) место в Доме учёных – библиотека. Как всякая интеллектуальная часть организма, она гонима и выселяема. Когда-то она располагалась на втором этаже. Потом, в годы всеобщего пищевого дефицита, её вытеснила столовая. Теперь она – на задворках отреставрированного под «нуворишевский» стиль дома. По этому поводу я написал следующие вирши: Хоть от науки далеко / сие под злато рококо, / зато библиотека, / как для учёных – Мекка». Правда, и в ней стеллажи заполнены «Нашим современником» и «Роман-газетой». Но ведь и рыгозины, и зюгановы, и узкоглазевы остепенлись званиями и могут на законных основаниях считаться учёными. Впрочем, учёными считались и Вышинский, и Лысенко.

И швец, и жнец, и на трубе игрец

Я вживался в Русаковскую больницу. В первый же день мне устроили проверку «на вшивость», попросив в отделении новорождённых сделать венесекцию у недоношенного ребёнка. Но уж чего-чего, а интубировать трахею, накладывать трахеостому, пунктировать или обнажать вены я умел, пожалуй, как никто. Даже великий торакальный хирург Михаил Перельман уступил мне честь накладывать трахеостому умиравшей дочке Володи Бураковского, тогдашнего директора Института сердечно-сосудистой хирургии. Венесекцию я сделал бескровно и быстро. Интубировать даже малышкой я научился ещё в больнице им. Дзержинского, когда творил свою кандидатскую. Так что личный экзамен я выдержал. Оставался более трудный экзамен: создание анестезиологической службы по образу и подобию клиники Жорова.

В отличие от его клиники хирургия была далеко не единой. Только часть больничных врачей действительно сотрудничали с Долецким. Многие, особенно урологи и травматологи, активно мешали ему. К моему счастью, «стариков» в детской анестезиологии попросту не существовало в природе. Посвятили себя этой профессии только неудавшиеся, вроде меня, хирурги. Был среди

них и заместитель главного врача по хирургии, мой первый диссертант – Лёва Пашерстник. Он был добр и талантлив, фантазёр и абсолютный дезорганизатор. Разрешал он всем и всё: опаздывать или вообще не приходить на работу, разрешал оперировать хирургам, у которых руки росли совсем из другого места. Но зато он великолепно писал весёлые вирши, значительно лучше, чем авторы тогдашнего КВН, и готов был возить меня на своей «Волге» куда угодно и с кем угодно, лишь бы я правил его попытки научных творений. Писать их он не умел. Но интуицией обладал уникальной. Утверждаю, что он первым не только в стране, но и в мире попытался избежать интубации трахеи у детей, необходимой, но опасной у них манипуляции. Лёва придумал и сделал – в одном экземпляре – прибор, позволявший проводить наркотическое вещество, но не через трубку, а не входя в трахею, у входа в неё. Понадобилось четверть века, и были созданы трубки, воплотившие идею Пашерстника. Увы, как всегда, не в России, а за рубежом.

Вряд ли я смогу кратко объяснить всю сложность анестезии у детей. Она во многом отличалась от анестезии у взрослых. Отечественных книг по анестезии у детей не было. Да и в зарубежной литературе этой анестезиологии мало уделялось внимания. Была одна монография, но получить её не удавалось. Главные из них: обезбоживание, расслабление мышц, выключение сознания. Обеспечить их у детей – значительно сложнее, чем у взрослых. Дети, особенно самые маленькие, иначе реагировали на наркотические вещества и мышечные релаксанты. Существовавшие тогда аппараты для наркоза абсолютно не предназначались для детей. На обычных операционных столах дети быстро замерзали, а операции становились всё сложнее и всё продолжительнее. Особенности и вопросы можно перечислять до бесконечности. Но нужно было с чего-то начинать.

Начало

Я начал с плана. Не научного плана, который я был обязан сделать для Института педиатрии, в который был зачислен по конкурсу. Я начал с плана книги о детской анестезиологии. К этому времени у меня сложились дружба с издательством «Медицина». Точнее, с лучшей частью её сотрудников, коих, увы, уже нет. Ещё в конце 50-х годов мы с Виктором Михельсоном выполнили первую работу для издательства, сделав предметный указатель к монографии учителя «Общее обезбоживание в хирургии». Работа была трудная и нудная. Платили гроши. Никаких компьютерных программ, разумеется, не было. Нужно было все термины вынести на карточки, а потом просмотреть все 40 (!) печатных листов и внести на карточки номера страниц, на которых встречался термин. Сроки были жёсткими. Если они нарушались, сотрудники издательства лишались премий. Но мы сделали это. В срок.

В награду нам предложили написать маленькую, но первую в нашей стране книжицу для медицинских сестёр о современном наркозе. А попутно я начал подрабатывать, редактируя всё увеличивающееся количество книг по анестезиологии. За годы работы с издательством я отредактировал несколько десятков их. Утверждаю, что работу делал быстро и качественно. Это было неплохой и нетрудной для меня подработкой. Редактировал я книги на дежурствах, в свободное от операций время. А оно было, так как дежурить я соглашался только при одном условии: принимает больных и пишет истории болезни напарник, я – оперирую. А ведь в медицине основное время уходило и уходит не на дело, а на писанину. К моменту моего прихода в педиатрию в издательстве уже лежала заявка на монографию, посвящённую моей докторской диссертации. Но моя дружба с издательством помогла другой заявке – на монографию об анестезии у детей. Такой анестезии ещё не было в нашей стране. Но я был уверен, что «...город будет, что саду цвезть».

Центральным вопросом в плане была оценка отличия детей от взрослых. В Институте педиатрии у меня сотрудников не было. Аспиранты мне не были положены, пока я не защитил докторскую. О врачах – сотрудниках больницы, посвятивших себя анестезиологии, я уже писал. Аспиранты и ординаторы были на кафедре Долецкого. Пришлось соглашаться, чтобы первым научным руководителем становился он. Хирург, а не анестезиолог! Это был компромисс. Не последний компромисс в моей жизни. Но нужно отдать должное Станиславу: вторым научным руководителем этих диссертаций всегда был я. Поэтому к моменту утверждения моей докторской диссертации у меня уже было 5 защищённых кандидатов, что давало мне право на звание профессора. Да и я уже стал руководителем самостоятельного отдела анестезиологии. Правда, с присвоением этого почетного звания, единственного в моей жизни, – дело торжественное. У заместителя директора по науке докторская ещё не была готова. Так что профессором я стал только в 40 лет. Мои коллеги получили это звание, раньше, будучи на 4–5 лет моложе меня. Ровно на столько, сколько лет я отдал своему патристическому порыву в войну.

Пошла муха на базар

Теория – теорией, а лечить детей нужно было ежедневно и круглосуточно. А кроме древней маски Эсмарха для наркоза эфиром были ещё только пара наркозных аппаратов, уж никак не предназначенных для наркоза у малышей. Металлические иглы не годились для необходимых длительных внутривенных вливаний: вены быстро тромбировались. Выручала солдатская смекалка. Иглы и стеклянные канюли заменили пластиковыми оплётками проводов. На какой-то выставке украли пару специальных трубок для интубации трахеи у детей. При-

способили грелки, чтобы обогреть операционный стол, а паровой ингалятор из парикмахерской – для лечения паром детей, задышавшихся от бронхита.

Труднее всего оценить состояние больных детей. Ничего, кроме старых методов – подсчёта пульса и дыхания, – не было. А я ведь пришёл из клиники, в которой усилиями Эдика Сваджана уже были и «микроаструп», и современный кардиограф, и даже электроэнцефалограф. Правда, в приданое мне подарили вентилометр – прибор для измерения объёма вдоха-выдоха, но для малышей этот прибор не годился.

Институт педиатрии относился к Министерству здравоохранения России. А это министерство было бедным, как церковная мышь. Оно не могло помочь даже приборами из стран «народной демократии», а уж о приборах из капиталистических стран не стоило и мечтать. Оставалась надежда на кафедру, то есть на Долецкого. ЦИУ, как и 1-й мединститут, относился к союзному министерству, у которого, как говорит Жванецкий, «было». Только получить что-либо удавалось лишь приближённым к власти имущим. И Станислав сделал мне подарок ко дню рождения: обаял тогдашнюю главу материнства и детства Союза. Она подписала распоряжение о выделении для кафедры детской хирургии 1 (одного) «микроаструпа». Оставалось только его получить.

Бумага пришла и учреждение, называвшееся в те годы «Союзмедтехника», в отдел импорта, в котором «царствовал» Эдик Сваджан. Одна из сотрудниц этого отдела была влюблена в него. Он, только для блага больных и клиники, якобы отвечал взаимностью. Но на дежурствах он входил в мою бригаду, как анестезиолог, и умолял меня не соединять с влюблённой в него девицей. Повторилась история с главным врачом. Девица и три её напарницы в отделе импорта возненавидели меня лютой ненавистью. И я познал всю прелесть и все возможности бюрократического терминала. Бросая самые неотложные дела в отделении, я шёл с копией разрешения на получение прибора в отдел импорта, и начиналось: «Сегодня неприёмный день! Сейчас у нас перерыв! Сегодня идёт проверка в бухгалтерии». И т.д., и т.п. В общем, наряд я получил 25-го декабря. Но в этот день банки закрывали остатки на счетах организаций. Так что на счету у ЦИУ было 00 рублей 00 копеек. А в отделе импорта мне было заявлено, что, если в течение 3 (трёх) дней счёт не будет оплачен, прибор передадут в другую организацию. Но «фиг вам!» Мы нашли нужную сумму: Долецкий, Балагин (тогда мой диссертант и сотрудник по штатам больницы) и я внесли на счёт ЦИУ нужные 800 рублей. Не знаю, как для Долецкого – он всё же был заведующим кафедрой, – но для нас с Балагиным это были суммы, эквивалентные ныне суммам за иномарку. Правда, в это время я ещё не платил очередных алиментов. В течение года бухгалтерия ЦИУ возвращала нам деньги, рублей по 50 в месяц.

Пытка продолжалась до весны. Долецкий выбивал разрешение на какой-то прибор, отдел импорта пил мою кровь. Но однажды...

Придя в отдел, я поразился заплаканным лицам всех четырёх девиц. Заплаканные они стали ещё агрессивнее и на мой вопрос: «Что случилось?» – послали меня «далеко, далеко, где кочуют туманы». Но сработал мой инстинкт. Я всё же узнал причину страданий: сын одной из сотрудниц, не поступив прошедшим летом в институт, призывался в нашу «любимую и непобедимую». Добиться отсрочки не удавалось. Даже самым высоким авторитетам, открывавшим дверь в отдел импорта ногой. Я предложил помощь. На меня посмотрели с презрением, заявив, что «не такие люди не смогли помочь!» И всё же разрешили позвонить. Трубку поднял мой диссертант. Он же – полковник медицинской службы и главный стоматолог чего-то в армии. Мою просьбу я сформулировал так: «У моей потенциальной любовницы сын нуждается в отсрочке, чтобы поступить осенью в мединститут». Ответ был по-военному чёткий: «Фамилия, имя, отчество? Военкомат? Можете ли вы подождать 30 минут? По какому телефону Вам позвонить?» Испросив разрешение дать этот номер телефона, я сообщил его вопрошавшему. Поблагодарил и вышел, несмотря на просьбы ждать звонка в кабинете, в коридор. Я был бедный, но гордый.

Звонок раздался через 12 минут: «Алек-к-к-сей Зин-н-н-ович! Док-клад-дываю...». Дальше воспроизводить заикание не буду. Сыну затравившей меня женщины было предложено на следующий день к 10:00 явиться в райвоенкомат. Ему была предоставлена отсрочка до осени. Он благополучно сдал экзамены, поступил и успешно окончил мединститут и даже стал профессором, а я получил открытый доступ ко всем сокровищам медтехники. И не какого-нибудь соцлагерного производства, а самого что ни на есть гнивающего капитализма.

Увы, один из аппаратов одной капиталистической страны стал первой трещиной в нашей профессорской семье (я уже был ещё раз женат на очаровательном профессоре клиники Изабелле Георгиевне). С огромным трудом мы приобрели в Англии аппарат для вспомогательной вентиляции лёгких. Ухаживать за аппаратом было поручено Мише Петрову. Большим недостатком аппарата был клапан-шарик. Он вечно рвался. Миша вечно плакался, что клапаны на исходе. Мне надоело, и я мимоходом предложил делать клапаны-шарики из изделия №2. Миша воспринял мою рекомендацию на полном серьёзе, закупил сие изделие, действительно решил проблему подручными средствами, а запас положил в ящик моего письменного стола. Белке что-то понадобилось в моём кабинете. Она наткнулась на это изделие, коим мы не пользовались (СПИДа ещё не было!), и вечером не пустила меня в дом. Объяснить появление этого изделия в моём письменном столе я не мог. Забыл свою же рекомендацию об использовании «подручных средств». Отлучение от семьи продолжалось не менее недели. Наконец Мише потребовался ещё один клапан, и тогда я всё вспомнил, как тот еврей, который забыл свой зонтик в публичном доме.

Беречь зубы смолоду

Облагодетельствовал – моим союзом с «Медтехникой» – мой диссертант. Конечно, это было смешно, что полковник, прошедший фронт от первого до последнего дня войны, выполнял просьбу капитана запаса. Но случилось так, что я действительно был его научным руководителем. Он был добрым знакомым моего учителя. Ещё по фронту. Учитель лечил зубы в поликлинике, коей этот полковник был начальником. Как и все по-настоящему храбрые люди, учитель испытывал нелюбовь к бормашине. Он убедил начальника поликлиники, что и в амбулаторной стоматологии можно и удалять, и лечить, и готовить для протезирования зубы под общей анестезией. Ведь недаром первый наркоз закисью азота ещё в 1842 году был проведен при удалении зуба! Шеф убеждать умел, и начальник поликлиники согласился.

Шеф немедленно откомандировал меня и Виктора. Изучить проблему пришлось мне. Пару дней я просидел в библиотеке и после совещания «малого хурала» в номере Центральных бань было решено провести первую анестезию эндотрахеальным методом. Поликлинику мы оборудовали портативным наркозным аппаратом завода «Красногвардеец». Аппарат приспособили для наркоза флюотаном. Был он на трёх ножках, а его дыхательный контур (не знаю уж, как обозвать его по-простому) был из мягких гофрированных шлангов. С помощью начальника поликлиники оборудовали место для удаления зубов под наркозом. К нашему удивлению, нашлось немало желающих. Первым оказался полковник-танкист двухметрового роста. Он был усажен в полулежачее кресло. Предплечья были фиксированы, как у приговорённых к экзекуции на электрическом стуле. В вену тыла кисти я ввёл специальную иглу, позволявшую при необходимости дробно вводить нужные препараты, и Виктор ввёл тиопентал натрия. Пациент быстро уснул. Тогда ввели мышечный релаксант. Не 10, как вводил Боря Жилис, а 100 миллиграммов. После небольших судорожных подергиваний всех мышц нижняя челюсть отвисла. Я быстро ввёл трубку в трахею и продолжил наркоз смесью закиси азота, фторотана и кислорода. Но ведь первый блин – всегда комом. Изготовившийся к удалению зубов хирург случайно опрокинул наш треногий аппарат. Наркоз прервался. Началось возбуждение. К счастью, танкист никого не покалечил. Операцию отложили, а на следующее утро танкиста госпитализировали с диагнозом «токсический грипп». После того как этого полковника выписали из госпиталя и удаление зубов всё же было проведено под наркозом, пациент рассказал о том, как тяжело он болел «гриппом»: «По мне – рассказывал он, – как будто танк проехал!» Увы, мы уже умели быстро расслаблять мышцы. Но мы ещё не умели предотвращать осложнения этих быстродействующих мышечных релаксантов. Чего-то мы недосмотрели во время мастер-класса сэра Роберта Макинтоша. Мы ведь были самоучки! А оказывается, нужно было перед быстродействующими мышечными

релаксантами вводить небольшую дозу длительно действующего препарата – настоящего кураре.

И так было



И так было

И так было я и лечил зубы до их полного исчезновения. Не знаю, существует ли этот кабинет сейчас. Прекрасный человек и замечательный хирург-стоматолог умер. Царствие ему небесное. Это был один из лучших людей, которые встретились на моём пути.

Моя команда

Мой отец не дожил до моей защиты докторской диссертации. Но только благодаря его арифмометру и «Ундервуду» моей мамы я смог обработать 1000 наркозов, опубликовать пару десятков статей и завершить сей труд, завещанный мне... учителем. Всё это было в прошлом. Настоящее было замечательное: создавался коллектив. Даже лучше, чем в клинике учителя. Там даже те, кто занимался проблемами анестезиологии, всё же в душе оставались хирургами. В новый коллектив пришла молодёжь, целиком посвятившая себя новой специальности. В отличие от меня, влюблённая в нее. Получавшие за свой каторжный труд гроши, и врачи, и медицинские сестры выхаживали детей так,

как не выхаживает мать любимого ребёнка. Станислава Ивановна могла едва ли не 10 часов сжимать дыхательный мешок наркозного аппарата на сложных и длительных операциях Валеры Аюпяна. Оля Полякова по несколько суток не выходила из больницы, пытаясь спасти малыша с неизлечимой инфекцией.

А операции становились всё сложнее и длительнее. Нужны были новые методы не только наркоза, но и внутривенных вливаний, искусственной вентиляции лёгких, обеспечения свободной проходимости дыхательных путей у детей с крупом. Всего не перечислить. Всякое бывало. Но мы были самым молодым и самым лучшим коллективом «в Москве и Московской области». А может быть, и в стране. Во всяком случае, мы создали первое руководство по педиатрической анестезиологии. Правда, увидело оно свет уже только после того, как наш коллектив был разрушен.

20 марта 64-го года я защитил докторскую диссертацию. Вообще-то защита была назначена на 13-е, но я суеверен и 13-го уступил защиту Вейну. Защищались мы в один день с Сергеем Ефуни. Лёва Пашерстник посвятил нашим защитам поэму. Полный текст её не сохранился, а Лёва, к сожалению, уже умер. В поэме пародировались выступления оппонентов с положительными и отрицательными отзывами. В отрицательном отзыве были такие строки: «Вот там Ефуни защищает – / Толковый парень, дело знает, / А эта тема – фторотан – / Ну, скажем прямо, не фонтан!» Зато положительный отзыв точно воспроизвел мои предзащитные муки и мою неразличимость с другими учениками Жорова – Михельсоном и Юревичем: «Мой подзащитный, врач Юревич... / То исть – Михельсон... То исть – Маневич / Всё сделал так без лишних слов: / Чтоб кворум вдруг не стал помехой. / Чтобы Арапов не уехал, / И Макаренко был здоров. / И в результате, в эту дату / Бедняга принял столько мук, / Что он достоин кандидата... / То исть – звания доктора наук!» Упомянутые хирурги были оппонентами на моей защите.

Разумеется, после наших защит было два банкета: мой в «Пекине», Серёжкин – в «Будапеште». Мой банкет был первым. Так что я не знаю, кто был 4-м, а кто 5-м доктором наук по анестезиологии. Во всяком случае, я вхожу в первую пятёрку таких специалистов.

На моём банкете начались сложные семейные перетасовки. Среди моих 80 гостей были и мои прежние любви, и моя настоящая, и одна из моих будущих жён. На этом банкете впервые познакомились Тигран Дарбинян – тогдашний формальный лидер анестезиологии – и Ира Усватова – моя боевая подруга. В порядке исключения, не по любви, а по гормонам (надпочечника). Но это уже другая история.

Закончился 64-й год вообще необычайно: меня выпустили за рубеж. Правда, не для усовершенствования, как мечтал мой учитель, а в туристическую поездку в Румынию. Туда мне и пришла телеграмма от мамы, что мою докторскую утвердили. Вскоре был создан первый в стране отдел детской анестезиологии. И я стал его руководителем. Кончилась моя вольная жизнь. Часто мне

приходилось бросать работу и ехать на тяготящие заседания учёного совета в Институте педиатрии и детской хирургии (так переименовали институт), составлять какие-то липовые научные планы и писать годовые отчеты. Именно с этого времени 90%, а то и все 100% моего времени уходило не на профессиональные дела – исследование, наркозы, осмысление сделанного, – а на организацию и на всяческие заседания.

Зато я получил возможность ездить по городам и весям страны и даже за рубеж. Мучительны, кроме одной, были командировки в стране. Мне приходилось быть проверяющим. По идее – распекающим за пробелы в организации детской хирургии. Распекать коллег, у которых не было ни должных помещений, ни штатов, ни оборудования, я не мог и не хотел. Общаться с руководителями областного ранга мне было неинтересно: обычно это были женщины постбальзаковского возраста. Мое игнорирование областных руководителей отлилось мне, когда я расставался с российским Минздравом. Но зато одна из командировок была в Сибирь. Вначале – в Кемерово и Новокузнецк, а потом и в мой родной Новосибирск. Там меня действительно радостно встретили друзья. Даже Гуля Алексеева, ставшая в бальзаковском возрасте ещё красивее. Она была замужем и счастлива. Конечно, ведь не я был её мужем.

В Кемерове в республиканской больнице красавица-повар, сошедшая с картины Малявина, угощала горой пельменей. Пельмени были с ноготь мизинца. Вкуса «спесифического», как говорил Райкин. Больше никогда в жизни я таких не едал. В Новокузнецке у меня «отвисла челюсть». Это было в хирургической клинике, руководимой Червинским. И по эстетике, и по объёму операций, и по организации службы анестезиологии-реаниматологии эта клиника превосходила на порядок большинство клиник столицы. Мне удалось, вернувшись в Москву, помочь им издать результаты трудов. В издательстве «Медицина», в котором я тогда входил в редакционный совет, выпустили их книгу по основам реаниматологии для медицинских сестёр.

Мы были в Грузии...

Станислав избавил меня, хоть и не совсем, от закомплексованности. И тогда, да и сейчас я отношу себя к «псевдопрофессуре». Это не кокетство. Просто я знал настоящих профессоров. Таким был мой учитель. Станислав внешне не походил на профессоров старой школы. Но ни на минуту не сомневался в том, что он-то и есть настоящий врач – от Бога. И держался он соответственно в самых необычных ситуациях, когда я ощущал себя Акакием Акакиевичем.

1964 год. Мы отдыхаем в Малом Ахуне. По договоренности «без пьянства и без дамского полу». Поэтому у нас с собой только спортивные синие костюмы. У меня – новые вельветки, у него – старые кеды. Но в один прекрасный день нас выдёргивают и военным самолётом доставляют под конвоем в Тбилиси.



1990 г. Тбилиси. Два пенсионера в гостях у моей ученицы Тины Дanelия. В одной из эпиграмм я писал: «Только держите в Москве Тинатин, / И мирной Грузия будет вечно». В 1985 г. Тинатин вернулась из Москвы в Грузию. Она была невероятно талантлива, но очень рано умерла. Я всё ещё надеюсь, что приду на её могилу, хотя она в Тбилиси.

За 8 дней до этого внука тогдашнего зампреда Совмина Грузии и председателя Комитета народного контроля проглотила две пятикопеечные монетки. Они застряли в кишечнике. У трапа самолёта нас встречала кавалькада чёрных «Волг», на которых нас доставили в лечкомиссию (так в Грузин назы-

валось 4-е Управление). Нас, в наших спортивных костюмах, встретил синклит грузинских корифеев хирургии и педиатрии, одетых едва ли не в чёрные смокинги. Привели очаровательную девочку. Показали рентгеновские снимки. Действительно, у Баугиновой заслонки – две монетки. Робким голосом (я был полностью закомплексован и своей одеждой, и присутствием грузинских корифеев хирургии) спросил: «Какие консервативные меры проводили за эти 8 дней?» Оказалось, что никаких: «Вас искали!» Я предложил сделать инъекцию прозерина и поставить половину свечки с белладонной, сказав, что рядом с лечкомиссией есть аптека (в Тбилиси я уже бывал на консультациях). На это руководитель сего номенклатурного учреждения умоляюще попросил меня выписать рецепт. Этого я уже не делал лет семь. На мой скорбный взгляд Стас заявил: «Ты назначил, ты и выписывай». Пот катился градом с моего чела, но рецепт на одну свечку я всё же составил. Нас отвезли в гостиницу. У каждого были двухкомнатные номера. На столах стояли вазы с фруктами и бутылки с винами, коньяком и шампанским. Ожидали результата. Если не подействует, надо оперировать. Стас, положив на лицо подушку-думку (она у него всегда была с собой), немедля блаженно уснул. А я метался из угла в угол, не убеждённый в правильности дозировки. Через пару часов раздался радостный звонок: девочка благополучно разрешилась от бремени. И начался всегрузинский праздник. Неделю нас возили по Грузии. В Мцхете нас закармливали шашлыками из осетрины и молодого козлёнка, в Кахетии упоили маджари и ещё какими-то необычайными винами. Станиславу надо было улетать в Москву. Провожали его как национального героя. Сзади четыре шли великана, 24 несли чемодана.

С дарами Грузии. А меня – у меня ещё продолжатся отпуск – переправили в Сухуми, в санаторий, в котором Коба, говорят, провёл ОДНЫ сутки. Спал я в его спальне. Небольшой. Правда, отделанной деревом. Зато сортир был, как писал Галич, 8 х 10. Провожали меня в Москву с меньшей помпой, чем Долецкого. Но всё же до сих пор мне не удалось выпить весь подаренный коньяк. Одну бутылку 50-летней выдержки завещаю распить на моих поминках.

Статус руководителя обязывал откликаться на всяческие просьбы о помощи. Чаще всего из наших южных республик. Их гостеприимство я познал ещё в клинике Жорова после выступления то ли рецензентом, то ли оппонентом на диссертации сына одного из ведущих терапевтов Грузии. Это было моё первое знакомство с Тбилиси. Прошли годы. Но до сих пор я помню, как и по возвращении тогда в Москву, только фрагменты моего визита. Защиты не помню. Вечер. Гора Мтацминда. В бокалы с шампанским бросают кусочки шоколада. Дают мне в руки рог с каким-то красным вином и произносят тост за моего отца: «Желаем, чтобы твой отец был так же здоров, как здорово и прекрасно это вино». Я выпиваю содержимое литрового рога. Всё. Нет, ещё какой-то стадион. И отрывки футбольного матча «Динамо» Тбилиси – «Динамо» Москва. Провал. Очнулся только в Москве.

Говорят, что грузины так принимают только «нужных» им в данный момент людей. Ложь и клевета. Через несколько лет с одной из моих будущих жён мы решили побывать в Тбилиси. Обратился к моему бывшему подопечному. Нас встретили и опять угощали так, что моя тогдашняя будущая супруга умолила меня «сбежать». Мы тайком поселились в другой гостинице, известив о якомбы срочном отъезде. Устроились и пришли в отчаянье: в Тбилиси был табачный голод – нельзя было достать табаку даже на одну закрутку. А мы выкуривали не менее трёх пачек в день. У входа в гостиницу я, преодолев стыд, обратился к незнакомцу-грузину с просьбой угостить сигаретой. Через полчаса мы были снабжены сигаретами и табаком на весь оставшийся отпуск. Угощение не ограничилось сигаретами. Продолжилось грузинское гостеприимство нашими новыми знакомыми. И через день мы действительно удрали из Тбилиси. В Ереван. Армяне оказались не менее гостеприимными, вынудив нас бежать на российские курорты. Там мы полной мерой испытали наш ненавязчивый сервис.

Кстати, об Армении и ещё раз о Станиславе. Было в нем что-то от Фанфан-Тюльпана или гусара (не поручика Ржевского). Пожалуй, из моих знакомых только Юрий Николаевич Шанин (увы, недавно он умер) – один из создателей современной отечественной анестезиологии-реаниматологии – «гусарил» от души. Однажды мы со Станиславом оказались в Ереване. Большой профессорский набор: защиты, лекции, операции. Потом кавалькада авто – персональное у каждого в сопровождении хороших переводчиц – отправилась к Севану. На берегу озера – это был конец апреля – Станислав сказал: «Жаль, что у меня нет полотенца – я бы искупался!» Сопровождавшая меня девушка предложила

вместо полотенца свою гипюровую кофточку. Отступить было некуда. Стас нырнул. Я повторил его подвиг, попросив после выпитой бутылки коньяку записать, что я нырял в ледяную воду Севана два раза: первый и последний. Больше я, в отличие от Долецкого, никогда не гусарил. А Стас гусарил и на старости лет, женившись на очень хорошенькой девице, моложе его почти на полвека. Не знаю, удалось ли ему соперничество с Пигмалионом, но после его внезапной смерти Галатея много претерпела от его детей. Они унаследовали красоту матери – жены Станислава – совершенно изумительной женщины Киры Даниель-Бек. Зато преумножили его умение отбрасывать использованных когда-то близких ему людей. Бог им судья. Но уверен, что Станиславу это не приносит радости на том свете.

Совки за границей

Конечно, мне не написать так, как написал Марк Твен «Простак за границей». Но всё же попробую. Впервые выпустили меня в Румынию. В группе было человек 30, разного пола и возраста. Возглавлял группу молодой кагэ-бешник. Заместителем его была молоденькая дочка, как я вскоре узнал, также кагэбешного начальника. Особо они нас не ограничивали. Лишь однажды во время нашего турне я был вызван руководителем на ковёр. Одна их экскурсий была в музей деревянной архитектуры. Была в этом музее и маленькая церковка. У входа на мой скудный валютный бюджет я купил свечку, зажёл и поставил её у иконы Девы Марии. Мне был сделан строжайший выговор. Я был предупреждён, что при повторении сего преступления об этом будет сообщено в мою партийную организацию. Судя по дальнейшим событиям, в Москве доноса не последовало. Мы подружались не столько с руководителем делегации, сколько с его заместителем. С ней мы и посетили музей в Бухаресте. В нём я впервые увидел и навсегда влюбился в Эль Греко. Через много лет, в Мадриде, преодолевая безумную боль (у меня разыгрался приступ подагры), я всё же пошёл в «Прадо» и увидел не одну, как в Бухаресте, а большинство картин Эль Греко.

В Румынии я познал унижение. В Бухаресте была клиника знаменитого хирурга-уролога профессора Бургеле. Я передал ему письмо от Долецкого. Он весьма доброжелательно принял меня и пригласил присутствовать на операции. В предоперационной мы начали переодеваться. Когда я снял штаны, Бургеле бросил мимолетный взгляд на мои чёрные семейные трусы. Сам он был в белоснежных трикотажных трусиках. Sapient sat (умный поймёт). Выйдя из клиники, я бросился в магазин и опустошил свой кошелёк, купив несколько пар аналогичных исподних.

Следующая поездка – уже командировка – была в Польшу. Я был назначен руководителем делегации на какую-то конференцию детских хирургов. В де-

легацию должно было войти 8 человек. Но пустили только двух – меня и Таню Красовскую. Думаю, что после Долецкого она была лучшим детским хирургом в стране. Прибыли мы в Лодзь. После окончания конференции нам посчастливилось побывать в одном из самых прекрасных городов мира – Кракове. Но это было потом. А по прибытии в Лодзь (вечером) нас разместили в отеле, соответственно официальным рангам и препроводили в какой-то ресторан на первую встречу с другими делегациями. Усадили за столик «на курьих ножках», но с двумя флажками ВНР (Венгерской Народной Республики) и СССР, четырьмя бокалами, бутылкой красного вина и тарелочкой с печеньем. «Банкет» и тосты продолжались несколько часов, и мы, голодные, проклиная всё и всех, вернулись в отель. Опыта зарубежных поездок у нас не было. Ни Таня, ни я не взяли с собой не только какой-нибудь существенной еды, у нас не было даже ломтика хлеба или кусочка сахара. И ни одного злого! Валюту должна была дать принимающая сторона.

Утром, напившись воды из-под крана, мы пошли на конференцию. Как я, будучи голодным как волк, делал доклад, не представляю. Но в перерыве мне дали расписаться в какой-то ведомости и выдали толщенную пачку золотых. Как потом оказалось, выдали сумму, предназначенную для всех восьми делегатов. Мы немедленно бросились в какой-то шикарный ресторан, наелись и объелись, истратив едва ли не половину пачки, игнорируя приглашение на вечерний приём. Знаем, мол, ваши приёмы! Но вечером нам дали лимузин и привезли на обкомовскую дачу. Чего там только не было, включая жареных фазанов. Увы, ничего, кроме холодной воды, утолявшей жажду после нашего обеда в ресторации, мы не могли даже попробовать.

Школа Долецкого «сам себе закон» – едва не закрыла передо мной границу. После Польши меня с одной из сотрудниц института Гельмгольца командировали на какую-то конференцию в ГДР. Проходила она в Магдебурге, куда мы и прибыли. Также вечером, но с каким-то запасом еды. Поэтому от голода мы не страдали и, получив от принимающей стороны «гонорар», не прокутили его в ресторане, а после окончания конференции отправились в путешествие. Посетили Дрезден, Веймар, Лейпциг и ещё какие-то достопримечательности Восточной Германии. Накануне окончания срока командировки прибыли в Берлин, дабы отбыть восвояси. Но свободных билетов на поезд «Берлин – Москва» не было. Пришлось идти в посольство, чтобы продлили командировку. И нас «торжественно» встретили. Оказалось, что я, как руководитель этой представительной делегации, должен был испросить разрешения у посла, дабы совершить турне. Нас, как я понял, вообще уже считали изменниками Родины со всеми вытекающими последствиями. На радостях, что мы таковыми не оказались, нас простили, устроили в частную гостиницу и дали бронь на билеты до Москвы. Увы, в посольстве бронь была только в вагоны 1-го класса. Нам пришлось доплатить за наши второклассные билеты, и у нас остался минимум: на

посещение Потсдама (как не увидеть зал, где капитулировали фашисты!) и на 1 (одну), правда, литровую бутылку молока. Мне было стыдно, но пустую бутылку я всё же сдал. Хватило на хлеб, коим мы и утоляли голод до пересечения нашей границы, когда смогли на наши кровные рубли поесть в вагоне-ресторане. В нём мы впервые и встретились на пути в Москву: в ГДР не разрешалось ехать в одном двухместном купе парам, не находящимся в законном браке.

Mea culpa

Да, я виновен: вместо того чтобы в августе 1968 года выйти на Красную площадь с теми, кто осмелился на это, я в сентябре поехал с нашей делегацией к Англию. Известие о нашем вторжении в Чехословакию застало меня с моей тогдашней супругой в Анапе. Приехали мы туда с семьёй моего ученика на его автомобиле «Победа».

Первое веление моего сердца было благородно: немедленно возвращаться в Москву и открыто протестовать. Наверное, я бы мог найти денег на билет до Москвы. Наверное, нашёл бы денег даже на самолёт. Я не сделал этого. Поверил голосам из «Спидоль», что оккупация Чехословакии предотвратила опасность немецкого реванша. Этим я оправдывался потом перед моими иностранными коллегами в Англии. Для оправдания это годилось. На самом деле я попросту струсил. Вернулся в Москву. На Красную площадь не вышел и поехал на международный конгресс в Лондон.

Нашу делегацию из 9 молодых и одного – Жорова – пожилого членов Европейской ассоциации анестезиологов из-за событий в Чехословакии с трудом допустили на конгресс. Уличных демонстраций протеста не было, но в первые дни холодок в отношении к нам был очень и очень силён.

В Лондон мы прилетели почти ночью. И, только-только устроившись в гостинице, не испрашивая разрешения, отправились с Виктором Гологорским на Пикадилли. Разумеется, с нами отправилась представленная для наблюдения за нами переводчица. Чёрт с ней! Даже она не испортила настроение полной раскрепощённости. Нас поразили хиппи, сидевшие и лежавшие у фонтана на площади и никак не реагирующие на огромный плакат в витрине какого-то магазина: «Коммунизм – будущее человечества». Мы решили, что попали в это будущее.

Программа – мы участвовали в международном конгрессе – была насыщенной. Но почти все вечера были пусты, так как не всегда зарубежные коллеги нас приглашали в рестораны (было и такое), а у самих нас денег, разумеется, не было: 14 фунтов стерлингов на 14 дней! Окна нашего номера выходили на какой-то пустырь, где иногда обжимались парочки. И когда надоедало обсуждать научные проблемы, начиналась ностальгия. К 10-му дню она захватила всех.

Возвращаясь в гостиницу на «личном» автобусе, мы дружно начинали петь «Степь да степь кругом...». Потом слушали моё чтение «Онегина».

Перед закрытием конгресса нас пригласили посетить лондонские клиники. Мы с Виктором Гологорским выбрали больницу в районе Челси. Это был не футбольный клуб, а один из районов столицы Англии. Гостеприимство превысило наш русский размах: на банкете я впервые увидел блюда с огромными рыбами, наверное, не меньшими, чем рыба хемингуэевского рыбака, и огромными окороками, по величине то ли от слонов, то ли от мамонтов. Перед банкетом мы немного постояли в очереди к стойке за алкогольными напитками. Это было так называемое «коктейль-парти». К нам подошла какая-то худощавая леди и спросила (передаю смысл): «Не хотите ли вы поработать в Англии?». Мы, разумеется, гордо отказались, но, по глупости, рассказали об этом нашим коллегам. Запомнилось объяснение этого предложения Бунятяном: «Это ведь не из-за ваших научных заслуг, а потому что вы – евреи». У русских членов делегации таких реплик не было. Через много лет я узнал, что с аналогичными предложениями обращались и к ним.

Чёрная полоса

Примерно через год после создания хирургического отдела в институте педиатрии Станислав приютил у себя на кафедре Юру Исакова. Он был, кажется, доцентом на кафедре детской хирургии 2-го мединститута и чуть ли не институтским партийным вождём. Что-то он не поделил с тогдашним ректором этого института, и она избавилась от него. Юра быстро вписался в коллектив кафедры. Хирург он был средний, но организатор не только хороший, а, как показала жизнь, просто блестящий. Станислав и Юра организовывали многочисленные конференции и симпозиумы по проблемам детской хирургии. Одну такую конференцию почтил присутствием новый министр здравоохранения Союза Борис Васильевич Петровский. И в её кулуарах предложил Исакову стать начальником ГУУЗМа. Для непосвящённых – это главное управление учебных заведений союзного министерства. А сколько власть имущих хотело и хочет, чтобы его ребёнок поступил в медицинский институт!

Первоначально отношения Долецкий – Исаков складывались отлично. Юра, получив взрастившую его кафедру детской хирургии на базе больницы им. Филатова, предложил мне пойти к нему профессором кафедры. Думаю, что это было не совсем этично. Но я бы пошёл, если бы не...

Оценивая себя сейчас, я убеждён, что моё действительно место в жизни было бы на кафедре. Я – не первооткрыватель, но отменный систематик. То есть – не как Мендель, а как Менделеев (ха-ха!). Утверждаю, что планы всех учебников по специальности «анестезиология-реаниматология» и даже двухтомного руководства Долецкого и Исакова по детской хирургии сделаны мной. И я

бы, переговорив со Станиславом, перешёл на эту кафедру. Может быть и, дожив почти до 80 лет, продолжал бы получать «зряплату», как многие мои коллеги-старики. Но случилось так, что умнейший и хитрющий тогдашний завгорздравом Лёня Вороховов бросил за каким-то застольем: «Конечно, Маневич теперь уйдёт к богатенькому». Для меня шлагбаум закрылся. И я порекомендовал Юре взять на кафедру Виктора Михельсона. Виктор долго ломался, мол, не знает детской хирургии. Но до того, как в 2014 г. умер от инфаркта миокарда (дома не оказалось хорошего анальгетика – морфина или промедола), он 35 лет возглавлял детскую анестезиологию, получив все возможные награды и регалии.

А к нам – команде Долецкого – пришла беда. Главным детским хирургом российского Минздрава и заместителем переименованного Института педиатрии и детской хирургии был назначен какой-то тип, подавший к защите докторскую диссертацию. Ни имени, ни фамилии его не помню. Пока диссертацию не утвердили, он лизал Долецкому всё, что можно было облизать. Но как только его утвердили в сём звании, был немедленно издан приказ: все хирургические отделы института переводятся из Русаковской в другую больницу. У Киплинга в стихотворении «Бремя белых» есть такие строки: «...твой труд разрушит лентяй или глупец». Глупцом этот тип не был. Просто чиновникам Минздрава этим типом можно было управлять. Управлять Долецким было нельзя.

Нужно отдать должное Юре Исакову: он поспособствовал возникновению приказа тогдашнего министра здравоохранения Союза о создании лаборатории при кафедре Долецкого. Увы, через голову ректора ЦИУ. После сложных перипетий и треволнений лаборатория всё же была создана. Выделили огромный штат. Помимо руководителя в ней было 9 старших, 9 младших научных сотрудников и столько же лаборантов. Формально возглавить лабораторию должен был я – единственный узаконенный доктор наук, и даже профессор. Вот этого Ковригина пережить не могла. У неё в ЦИУ уже был один Маневич. Любимый ею. И она, мумия тех времён, помнила фразу, которую мог бы сказать усатый: «Зачем вам два Синявских?».

Возвышение даром не проходит. Исаков заболел. Мы – Долецкий, Гаврюшов и я – навестили его в номенклатурной Кремлевской больнице. Обсуждали мирно проблемы детской хирургии. Раздался телефонный звонок. Звонил Б.В. Петровский, предложивший Исакову стать членкором Академии медицинских наук. Исаков озвучил предложение. Немая сцена из «Ревизора» превралась заверениями Исакова, что раз уж так получилось, то он добьётся следующей единицы членкора для Стасика.

Может быть, так оно и было бы лучше для детской хирургии, но это было, по моему мнению, абсолютно несправедливо, Долецкий всё же попытался, хотя понимал бессмысленность, конкурировать на выборах. Разумеется, Ковригина отказалась выдвинуть его кандидатуру от ЦИУ. Разумеется, только одна моя тогдашняя супруга, профессор Климович (я не был членом этого учёного совета), выступила на этом учёном совете в его поддержку. Разумеется, избрали Исакова.

И началась травля кафедры. Начали с Изабеллы. Она была не только замечательным детским хирургом – она воплощала идеал советской женщины, воспетой Александровым в кинофильме «Светлый путь». В девичестве – Третьякова – не из богатых, а из пролетарских носителей этой фамилии, она училась в школе так, что удостоилась чести сидеть за партой Зои Космодемьянской. Потом она работала токарем. Потом окончила медицинский институт. Потом заочную аспирантуру. Она могла по несколько суток не выходить из больницы, выхаживая детей, оперированных на лёгких, отвечая за эту проблему кафедры и больницы.

Но, главное, она была очаровательная женщина. Чуть-чуть курносенькая, с ямочками на щеках, улыбающийся рот с чётко очерченными пухлыми губами. О фигуре лучше всего написал на её защите докторской диссертации Лёва Пашерстник: «В фигуре есть и недостатки: / Места есть слабые, и линии не гладки. / Но, в общем-целом, экстерьер – / Похвален свыше всяких мер».

Мы были женаты недолго. Я в очередной раз втрескался в красотку на какой-то научной конференции. Вскоре мы расстались и с Беллой, и с моей новой любовью. Но и тогда, и сейчас для меня Изабелла – воплощение идеального врача. Увы, она вскоре была вынуждена покинуть кафедру. Говорят – не знаю, так как я уже не работал в ЦИУ, – что Стас не смог её защитить. Ни с ней, ни с Долецким мы больше не встречались. Мне она не простила измену, я не простил Станиславу, считая, что он мог бы, приложив все усилия, защитить Изабеллу.

Разогнали и мою лабораторию. Сперва, сократив на две трети штаты, а потом и вовсе ликвидировав должность её руководителя. Было понятно, даже Станиславу, что мне в ЦИУ не работать. Используя наши связи, мы устроили уволенных сотрудников. Труднее всего, по понятным причинам, мне было устроить одного из старших научных сотрудников – лицо еврейской национальности. И всё же это удалось. Отдел нейрохирургии Института неврологии АМН бедствовал без анестезиолога-реаниматолога. А нужда, как известно, заставит и калачи есть. Так что и ему удалось сохранить и статус, и «оклад жалованья». Он-то и рассказал мне о том, что новый директор Института нейрохирургии имени Бурденко АМН ищет руководителя отдела анестезиологии и реаниматологии.

Первородство продано

У

каждого – своё первородство. У меня – хирургия. Это была любовь. Может быть, без взаимности. Но ведь утверждал Спиноза: «Кто любит Бога, отнюдь не должен требовать, чтобы Бог любил его». Спиноза был гранильщиком алмазов. Так что «отнюдь» – вовсе не обязательно термин гнилых интеллигентов-завлабов, например Гайдара. А я любовь предал, испытав в полной мере отмщение за это.

На распутье

Поняв, что в ЦИУ мне не работать, я начал поиск места под солнцем. Разумеется, как хирург. Искать место заведующего кафедрой или даже профессора кафедры хирургии в Москве было бессмысленно. Я не смог найти даже места заведующего больничным хирургическим отделением. Не пустил Лёня Ворохобов.

В медицинском мире я был уже достаточно известен, правда, как анестезиолог-реаниматолог. К счастью, в провинции далеко не везде понимали, что эта специальность – уже отрезанный от хирургии ломоть. Поэтому несколько влиятельных знакомых предложили мне кафедры – одну на севере, одну – на юге. От «северной» кафедры меня отговорил мой тогдашний приятель, создавший там замечательную, может быть, лучшую по тем временам кафедру анестезиологии. Побывав на «южной» кафедре (общей хирургии) понял, что будь я даже С.С. Юдиным или Б.А. Королёвым, все равно буду в этой республике чужаком.

И меня, как волка, загнали под выстрел – путь был только по одной тропинке в анестезиологию-реаниматологию. Появлялись парламентёры. Обычно это была молодёжь, искавшая быстрых путей в науку. Но было и начальство. Тогдашний директор института сердечно-сосудистой хирургии Володя Бураковский – ближайший друг Примакова – даже сам приезжал в Русаковку, уговаривая меня идти к нему в институт. Но у него анестезиология и интенсивная терапия были полностью разделены. А меня мирило с анестезиологией только выхаживание умирающих больных. Было ещё несколько хороших предложений,

но они были неприемлемы по «критическому императиву»: освобождая мне место, выгоняли неугодного предшественника.

Чаще всего наведывались сотрудники института нейрохирургии. Предыдущий заведующий ушёл на «повышение», в так называемое 4-е Управление («Кремлёвку») – нынешнее Управление делами Президента. А докторов наук по этой новой специальности в институте нейрохирургии не было. Мой опыт в нейрохирургии ограничивался руководством Поленова и Бабчина и несколькими больными в Чкаловске. Но среди удостоивших меня посещением была одна потрясающе красивая белокурая анестезиологическая медицинская сестра. Ноги у неё росли прямо от ушей. Держалась она, как принцесса королевского дома. Не скажу, что только она, но она в большой степени, стала причиной моего согласия познакомиться с её институтом, прежде всего с его новым директором – Александром Ивановичем Арутюновым.

Арутюнов

Глаза. Чёрные блестящие испанские маслины. Чуть-чуть навязке. Улыбчивые, ласковые и хитрющие, как у любимого домашнего кота. Я тотчас влюбился. Мне уже было всё равно, кем я буду и с кем я буду работать. Лишь бы с ним.

Прельщал меня, показывая институт, молодой заместитель Арутюнова по науке. Был он тогда только кандидатом в доктора, вполне интеллигентен и доброжелателен. Уж не помню, то ли из-за моего суеверия, то ли из нежелания омрачить моё впечатление, но моё хозяйство мне показано не было. Моё согласие было получено.

Оставалось уговорить «графа Потоцкого» – учёный совет института и президиум Академии медицинских наук. Я честно предупредил Арутюнова, что в президиуме заседает мой персональный недруг – тогдашний главный хирург Союза. В те далекие года я был членом редакционного совета издательства «Медицина». На одном из заседаний я осмелился выступить против заявки на монографию из его клиники. Заявка была по одной из проблем анестезиологии, но первым автором стоял этот номенклатурный хирург. Такие эскапады не прощают.

Моё признание только разохотило директора института заполучить меня. Человек он был азартный, да и с армянским гонором. Учёный совет института проголосовал единогласно. Президиум академии заседал долго. Наш козырь оказался старше козыря противной стороны, и меня утвердили. Говорят, что решил голос Исакова. Человек он вообще был доброжелательный, а тут и появилась возможность радикально решить проблему конкуренции в детской хирургии. Правда, он не знал, что приоритет клиники Долецкого в создании детской анестезиологии исторически закреплён. В том же году вышла первая отечественная монография по этой специальности. Да ещё с «элементами реанимации и интенсивной терапии».

В старые меха

Говорят, что нельзя в них влить молодое вино. Но ведь это был не 56-й, а 70-й год! Я даже в страшном сне не мог предположить, какое наследство оставил мне предшественник. В институте было около 300 коек. Четыре дня в неделю шли плановые операции. Ежедневно оперировали 10–15 больных. И это были не грыжесечения, не удаление вросшего ногтя. Это были операции на головном мозге. В палатах реанимации было 24 койки, всегда полностью занятые тяжелейшими больными.

И на всё про всё было: 1 старший научный сотрудник, 2 младших научных сотрудника и 3 врача-ординатора. Этому мощному коллективу нужно было обеспечить все операции, заканчивавшиеся зачастую к полуночи, и круглосуточные дежурства. И наркозы, и искусственную вентиляцию лёгких, так часто необходимую при нейрохирургической патологии, обеспечивала допотопная техника: наркозные аппараты типа мушкета д'Артаньяна, два отечественных аппарата для искусственной вентиляции лёгких и один приличный аппарат «Энгстрем-200», оставшийся после реанимации академика Льва Ландау.

Ужаснее всего были кровати. У них была продавливающаяся под тяжестью тела сетка и не было даже малюсеньких колёсиков. Тяжеленные койки размещались в маленьких изолированных палатах, закреплённых за соответствующими хирургическими отделениями. Свободную койку, как в анекдоте, ждали, как в ресторане свободную косточку от съеденной свиной отбивной, чтобы подать её другому клиенту. На первую освободившуюся койку клали больного, поступившего из операционной. Койка могла освободиться по двум причинам: первая – больному стало лучше, он не нуждался (или условно не нуждался) в интенсивной терапии и переводился в своё отделение; вторая – больной умирал. Освободившуюся койку тотчас занимали любым больным, поступившим из операционной или экстренно из приёмного покоя. Возникла диспропорция: количество коек, занятых больными одного отделения, превышало его лимит за счет дефицита коек другого отделения.

Моё перо бессильно описать мой рабочий день. Лучше это сделал мой ученик в книге, изданной в одном экземпляре:

«Шеф вихрем ворвался в отделение. Цветастой походкой вошёл в кабинет. Аккуратно раскидал по углам костюм, рубашку и галстук. Сел на стул и стал сучить ногами, пытаясь переобуться. Затем он накатал длинный список дел, которые ему предстояло совершить сегодня. Неотложных дел было три, остальные девять нужно было сделать немедленно и 12 заключительных – обязательно до часу дня.

Вдруг в коридоре раздался крик, шум и топот. Через некоторое время в дверях кабинета показалась шапка-ушанка. Вместе с ней, обмотанный проводами, в ватнике, появился электрик.

– Ща свет отключим, готовься, – сказал электрик. – Чего смотришь? Электрика не видал?

– Стой! – закричал шеф. – Этого никак нельзя! У нас приборы, исследования! Больные на аппаратах!

– А у меня ремонт, наше дело такое, как говорится...

– Ну, может как-то... спараллелить... Ну, для меня...

– Ладно, уговорил, начальник! – процедил электрик, показав, что за благородство надо платить...

Шеф снова сосредоточился на делах.

– Алексей Зиновьевич! Срочно бегите в дирекцию! Через 10 минут он вернулся с ворохом каких-то бумаг.

– Алексей Зиновьевич, вы здесь? А я вас ищу. – В дверях стоял сотрудник.

– Ну, что тебе? Быстрее! Что?

– Домой хочу, – кратко рапортовал сотрудник.

Шеф посмотрел на дверь. Там на очереди по этому же вопросу стояло ещё трое.

– Пошли все к такой-то матери! – приказал шеф, решив, что покой дороже.

Через минуту порог кабинета заслонила санитарка:

– Вы Маневич? Тогда распишитесь. Собрание завтра?

Не успела она уйти, вошёл представитель Бюро и солидно произнес:

– А.З., напоминаю, что у вас на той неделе отчёт...

Через минуту интеллигентный голос:

– А.З., голубчик, что будем делать с нашими больными? Нам абсолютно некого забирать из реанимации. Все очень тяжёлые, а ваша дикая женщина-реаниматолог ругается и грозитя всех выкинуть из отделения...

В дискуссию уже вмешалось несколько хирургов и началась братоубийственная потасовка...

– А.З., дайте кого-нибудь на наркоз.

– Обратитесь к заместителю.

– Его нет.

– Ищите!

– У нас больной на столе!

– Положите его на пол!

Вбегает сестра:

– А.З.! Больному в операционной плохо!

– А-аааа! Подите все к чёрту! – Профессор прибежал с маской на затылке и в колпаке, съехавшем на одно ухо. – Ларингоскоп с прямым клинком! Быстро! Отсоси слизь! Надави на трахею! Всё! Теперь дай побольше кислорода и не балуйся фторотаном.

– Спасибо. А.З.!

В этот день удалось сделать только одно важное дело – никого не покалечить».

Вот так 16 лет подряд!

Период первоначального накопления

Прежде всего, согласно Генриху Гейне – план. Теперь говорят «бизнес-план». Тогда я написал, как учила родная партия, «программу-минимум» и «программу-максимум». Минимум включал оборудование и штаты. Максимум – создание «научно обоснованной» нейроанестезиологии.

Относительно просто было с оборудованием. Мои боевые подруги максимально быстро обеспечили нас койками с колёсиками, наркозными аппаратами и лабораторными приборами из стран народной демократии. Но оказалось, что оплатить их наш институт не имеет права: он относился к Академии, а не к союзному министерству. Я познал принцип финансовых обходных путей. На базе института подвизалась кафедра нейрохирургии. Относилась она к ЦИУ. В свою очередь ЦИУ был подразделением союзного министерства. Поэтому счёт выписывали на кафедру. Кафедра в лице её заведующего – директора института А.И. Арутюнова – обращалась к ректору, который накладывал резолюцию о невозможности оплаты из-за отсутствия бюджетных ассигнований. Тогда заведующий кафедрой просил разрешения передать оборудование своей базе (т.е. директору института нейрохирургии А.И. Арутюнову). После положительной резолюции ректора счёт переписывался и оплачивался уже институтом. Другим ведомством. Но всё же у нас появились передвижные койки и вполне достойное по тем временам оборудование. Удавалось с помощью тех же боевых подруг получать даже оборудование из капстран.

Хуже было со штатами. Пришлось идти «по живому следу», путем Станислава Долецкого. Мне было труднее. Без его обаяния. Брал «интеллектком», точнее, памятью. Заговаривал зубы, «только слушать согласись». Для этого очень годятся Евтушенко и Есенин. Стимулируют не верхнюю, а нижнюю половину слушательниц. Сработало. Кроме времени утратил только одну книгу из любимых – «Французскую кухню». Но получил штат – 20 врачей-ординаторов, столько же медицинских сестёр и нескольких лаборанток.

И немедленно едва ли не пришлось уйти из института: директор отобрал 2/3 штата. Моего! Полученного всеми фибрами, гормонами и секретами моего организма, отравленного не «нарзаном», а кофе, чаем и сухим вином. Знает только – не ночь глубокая, а тогдашний секретарь Александра Ивановича. Ругались мы от души, посылая друг друга к нашим родителям. Несколько раз я просил у секретаря листок бумаги и писал заявление об уходе. Но компромисс был найден: я получил половину и даже чуть-чуть больше – шашлык, лично приготовленный Александром Ивановичем! Квартира его находилась в доме – непосредственном продолжении института, и мы дружно поднялись к нему восстанавливать силы.

Для тех, кто не слышал об Александре Ивановиче Арутюнове: он был любимым учеником создателя института Николая Ниловича Бурденко. В вой-

ну Александр Иванович был главным хирургом фронта. После войны создал институт нейрохирургии на Украине и был в те годы одним из лучших, если не самым лучшим, нейрохирургом в мире. Перенёс он несколько инфарктов, клиническую смерть и 108 дефибрилляций – рекорд, достойный Книги рекордов Гиннеса.

Вот так мне ещё раз повезло на учителя. Ими были: Георгий Александрович Рихтер, Милита Николаевна Мясникова, Борис Алексеевич Королёв, Исаак Соломонович Жоров и Александр Иванович Арутюнов. Царствие им небесное!

Потенциальный убийца

Проблем всё равно хватало с избытком. Я впервые работал не на базе, а в собственной клинике. Раньше у меня были, хоть и не всегда дружелюбные, но отвечающие за повседневные заботы – график работы, ведомости на зарплату, годовые отчёты по лечебной работе – заведующие отделениями больниц. Теперь всё это ложилось на меня. Что-то пришлось редуцировать. Под сокращение попали мои подруги из Центральной медицинской библиотеки (их заменил книжный отдел Дома учёных), слушательница по консерватории и даже облагодетельствовавшие меня министерские дамы. Вдобавок резко удлинился мой путь на работу. Одна из тёток съехалась с мамой, а я поселился в её комнате на 3-й Владимирской улице. От неё до работы было не менее полутора часов.

И я приобрёл автомобиль. Не помню, то ли подошла очередь (вряд ли), то ли в институт поступила разнарядка на автомобили, но я получил соответствующую бумагу. Сколько моих друзей и коллег завидовали мне! А я страсть люблю, когда мне завидуют! Проблема денег была решена гонораром за монографию «Педиатрическая анестезиология». Она позволила мне одарить ею моих новых сотрудников, купить вполне приличную обувь для ношения только в клинике и добавить оставшуюся небольшую сумму к одолженному тётей Елей основному капиталу для приобретения только что увидевшего свет автомобиля «Лада».

Автомобиль и сыграл роковую роль в моей судьбе. Зимой он стоял покрытый снегом во дворе института. Я же пока получал права. По благу. С помощью моего любимого диссертанта и друга-стоматолога. Учил меня мой друг родом из детства – Ромка Голубовский. Был он профессиональным таксистом. Поэтому свободного времени у него было немного, и выдавший мне права гаишник немедленно предупредил моего друга-стоматолога о моей профнепригодности. Я торжественно обещал ликвидировать пробелы, но времени на это не было.

Мой первый выезд состоялся с неликвидированными пробелами в практике вождения. Поехал я и приехал в Институт хирургии им. А.В. Вишневского, где выступал оппонентом. Сам удивился, но до этого института добрался почти без приключений, даже раньше времени. До защиты оставалось полчаса. Подзащитная беседовала с какой-то женщиной, казавшейся мне удивительно

знакомой. Долго вспоминал: где же я её видел? А видел я её впервые на киноэкране, а второй раз на её дипломном спектакле в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Это была Вера (точнее – Вера-Мадлен-Николь) Боккадоро.

Дипломный спектакль, кажется, это был балет «Американец в Париже» на музыку Гершвина, мне не понравился, а вот сама она в фильме Алова и Наумова «В мир входящему», где она играла освобождённую нами из концентрационного лагеря француженку, – очень и очень.

Немедленно начался охмурёж. Диссертантке я сказал, что решил выступить с отрицательным отзывом. Диссертантка, поняв шутку, промолчала. На амбразуру легла француженка, заявив, грассируя, что мой отзыв она читала, что он весьма и весьма положителен. Я ответил, что передумал, но... если она будет сидеть на защите рядом со мной, то я всё же дам положительный отзыв и, более того, начну и закончу отзыв стихами. Консенсус был достигнут. Я был во вдохновенье. Защита при любом моём отзыве прошла бы всё равно блестяще, – руководителем был Тигран Дарбинян, тогдашний лидер анестезиологии. Но удочка с наживкой была закинута. Вечером предстоял банкет. По договоренности с Тиграном рядом с моим институтом, на Маяковке (теперь на Триумфальной площади), в ресторане «София» (теперь – забегаловка «Ростикс»).

Я подъехал к воротам института. Под углом 45 градусов. Врата открылись. Я нажал на акселератор. Автомобиль рванулся прямо на отворившуюся врата. Слава Богу, она отскочила. Машина остановилась, врезавшись в стену института и провалившись колесом в яму подвального окна.

Ремонт стоил мне унижения: ремонтёр – служитель нашего патологоанатомического отделения – требовал, помимо оплаты нашими родными рублями, ещё 1,75 рубля чеками. Я знал близко, но в прошлом только двух владельцев таких – дочку и маму, работавших в наших внешних торговых организациях. Но с моим приходом в институт они попали под сокращение. Пришлось идти на Каноссу. Чеки были получены. Ремонт состоялся. Правда, вскоре я опять разбил мои «Жигули». Уже на Ленинском проспекте. И в этот раз я, проявив достоинство и бескорыстие, немедленно после аварии пошёл играть в преферанс (в первый раз – на банкет по случаю защиты).

В конечном итоге, как писал всё тот же мой ученик, я внёс неоценимый вклад в безопасность движения: продал автомобиль. Цитирую: «Маневич-автомобилист. Это легенда, передаваемая из поколения в поколение работниками ГАИ. Управлять автомобилем оказалось для него значительно сложнее, чем жизненно важными функциями организма. Но трезвый ум победил и на этот раз, оценив перспективу оказаться в руках друзей-нейрохирургов из отделения нейротравматологии. Шеф будет жить и не умрёт насильственной смертью!»

В те годы отделением нейротравматологии руководил прекрасный человек, которому я бесконечно благодарен – он дал мне скопировать «Лебединый стан» и «Перекоп» Цветаевой. А ведь он был фронтовиком, побывавшим в плену! Но

как нейрохирург и он, и его тогдашние сотрудники не были ни Арутюновыми, ни Коноваловыми, ни Потаповыми.

Так что мой отказ от вождения был вынужденным. Правда, я заимел на ближайшую пятилетку собственного водителя.

И тот не наш

У Александра Сергеича – «...кто на полячке». Моим водителем вскоре стала подруга диссертантки, имевшей отношение не только к балету, но и к прекрасной и безнадежно любимой мной Франции. Через несколько лет я узнал, что и не только к ним.

Несмотря на психологический, моральный и материальный ущерб, я в прекрасном настроении пошёл на банкет. У меня был шанс «убить медведя» – заманить к себе на 3-ю Владимирскую улицу одну очаровательную аспирантку. Как писал Гашек, «она почти дала себя уговорить». Я никогда не сажусь в «президиум» банкетов и, дабы не компрометировать аспирантку, да ещё из мусульманских краёв, сел на некотором отдалении от вождя объекта. Оказался я супротив упомянутой диссертантки и её подруги. Провозглашали тосты. О чём-то я переговаривался с соседями и моими *vis-a-vis*, но душа моя и тело были уже на 3-й Владимирской. Несколько раз я вставал, надеясь, что встанет моя аспирантка и состоится «похищение сабинянок». Уж не помню почему, но меня утащили в смежный зал (без окон) какие-то амбаловидные мужики и начали «угощать» какими-то порнографическими журналами. Как и Ульянов, я предпочитаю «опыт революции проделывать», чем на это смотреть.

Пленение продолжалось около часа. Когда мне удалось вырваться и вернуться в зал, моя аспирантка исчезла. Я обратил всю нерастрченную энергию на моих *vis-a-vis* и даже пошёл их провожать. Жили они, точнее официально жила там Вера, а Наташа – её подруга и телохранительница лишь была постоянной гостьей, в Волковом переулке. Для немосквичей: это в центре Москвы, на Грузинах, позади зоопарка. В этой однокомнатной квартире я и остался в эту ночь и на несколько последующих лет.

Переулочек, переул...

Обычный 9-этажный панельный дом. Однокомнатная квартира, кажется, на 5-м этаже. Комната – 20 кв. м., пятиметровая кухня, малюсенький туалет. В комнате у окна – кушетка, под углом к ней, у стены – ещё одна. У двери шкаф, отгораживавший закуток, в котором спала девочка трёх лет – дочь Веры. У оконной кушетки – стол-раскладушка, табуретки. На оставшихся 6 квадратных метрах помещалась или раскладушка, или труппа театра «Ромэн». Чаше рас-

кладывался стол, за которым умещались гости, жаждавшие общения с хозяйкой дома. Как у Некрасова в «Парадном подъезде» – весь московский бомонд. Хозяйка была гражданкой прекрасной страны Франции, в которой, как известно, мужчины занимаются войной, а женщины – любовью.

Как и почему Вера – иностранная подданная – была владелицей московской квартиры, я к своему нынешнему стыду, не задумывался. Мне было интересно, и я был горд: мне завидовали! Жёны-француженки были только у Высоцкого (встречались только на приёмах во французском посольстве) и у Михалкова-Кончаловского (частый визитёр)! Не хухры-мухры!..

Было не только престижно, но и удобно. Когда француженка уезжала, её заменяла подруга. Она, видимо, и была прикрытием. В этом доме, а потом в доме на улице Качуевской (переулок у Дома литераторов, соединяющий улицу Герцена и улицу Воровского) я впервые узнал, что в доме могут быть так называемые консьержки. Сидели они у лифта. Походили на церковных мышей. Но знали всё и про всех. Полагаю, что до моего брака с француженкой были убеждены, что я любовник Наташи, а не Веры. Мы их не разубеждали, что на какое-то время оградило меня от недрёманного ока органов. Потом, когда мы расхворались с гражданкой Франции, именно представительницы этой профессии были главными свидетелями моих аморальных поступков.

Сейчас иногда мне попадается литературное творчество кремлевской обслуги. Из опуса лакея Ельцина я смог прочитать пару страниц. Осилит в туалете Треухову. Мне неинтересен, в отличие от Бориса Николаевича, нынешний президент. Но, что бы ни писала эта журналистка, впечатление – «уволненная секретарша». Её аналитических обзоров не читал. Но, судя по книге, талантливая она не может быть по определению. Не хочу быть богатым, иметь обслугу и прислугу. Сам – экстраверт. Готов рассказать, ежели интересно, с кем и как, но не терплю лакейское враньё. Люблю анекдот брежневских времен: Петроград. Смольный. 25 октября старого стиля. По коридору взад-вперёд мечется загримированный Ульянов: «Начинать? Не начинать?» К Ильичу подходит 11-летний мальчик: «Начинайте, В.И.!» – «А ты кто такой?» – «Лёня».

Крови консьержки попортили мне много, но зато они сдружили меня с Андреем, рассказав ему о том, что «в нашем доме поселился удивительный сосед» – нейрохирург (коим я не был) и профессор (что было правдой). Андрей и Катя жили на 7-м этаже. И когда я одуревал от богемистых гостей Веры – никто не отменял моих обходов в 8:15, – я поднимался к ним. В их точно такой же однокомнатной квартире было уютно и тихо. Как истые москвичи, мы разговяляли кручину чаем и читали стихи. Стыдно, но читал стихи главным образом я. Катя жива и соврать не даст. А стыдно мне: Андрей – это Андрей Миронов.

Потом, когда наши семьи переселились в престижный дом на улице Наташи Качуевской, наши квартиры оказались рядом. И, увы, количество наших богемистых гостей удвоилось. Гости Кати и Андрея чаще всего вечеряли у нас, ибо в их семье народилась будущая звезда – Маша Миронова.

Андрей вскоре ушёл из этой семьи. Увеличилось число Катиных поклонников, ожидавших засыпания Машеньки у нас. Я приходил поздно. Усталый и злой. В институте у меня было много проблем. Но в нашей гостиной ожидал своего счастливого часа какой-либо Катин обожатель. На нём я и разряжался. Однажды – на, увы, покойном Сенкевиче. Когда я вошёл в нашу гостиную, он встал, поздоровался и представился: «Сенкевич». Я отвечал: «Маневич. Уже смешно. Вы, – спросил я, – тоже артист?». Полагаю, что Сенкевич впервые встретил человека, не знавшего его. Он попытался рассказать о путешествии на «Ра», назвал имя Хейердала... Я изобразил возмущение: «Простите, но мы едва знакомы, а вы употребляете не совсем приличные слова! Хер...». Сенкевич пробкой вылетел из квартиры. На разводном суде это был один из важных пунктов обвинения меня в хулиганстве. Откуда об этом знала консьержка, понятия не имею. На встрече с Сенкевичем она не присутствовала.

Поэт, не дорожи любовью народной

В 20:45 раздался звонок из Риги. Глухого голоса Канделя, в то время нейрохирурга, теперь, увы, покойного, я не узнал. Всегда у него был уверенный, властный баритон. Сейчас он говорил с трудом: «Когда ты можешь прилететь? Погибает Андрей. Разрыв аневризмы. Куда прислать машину?» Я попросил заказать билет на ближайший рейс. От машины отказался, полагая, что потеряю время, убеждённый, что любой повезёт врача для Андрея. Через 15 минут я выскочил на проспект Вернадского. Было уже темно. Я метался, голосуя, между осевой и боковой дорогами. Машины мчались мимо. Остановились пять или шесть, но водители отказывались везти меня в Шереметьево, хотя я умолял: «Умирает Андрей Миронов!».

Минут через 20 кто-то – к стыду своему я, не спросил его имени – согласился везти меня в аэропорт. Я успел на рейс. Прилетел в два часа ночи. Андрей был ещё жив. Кандель сделал всё возможное и невозможное, но спасти Андрея было нельзя. Разорванная аневризма была гигантской. Вижу безжизненное лицо Андрея. Не лицо, а трагическую маску... Равнодушное дыхание аппарата искусственной вентиляции лёгких. Утром остановилось сердце. Совсем не помню обратной дороги в Москву. Обрывки воспоминаний о нашем знакомстве в Волковом переулке, потом на улице Наташи Качуевской.

Он был знаменит, но, если меня спросят: какие из человеческих качеств были у Андрея? – я отвечу: скромность, мужество и доброжелательность. Андрей сам выполнял все трюки, которые делают лишь лучшие каскадёры. Но мало кто знал, что Андрей был уже тяжело болен, что каждое движение ему давалось с трудом, что потом он валился почти без сознания. Но никогда не жаловался. Отправить его к врачам было невозможно. И не только потому, что он был одержим творчеством, но, главное, потому, что он был стеснителен и

скромнен. Даже тогда, когда уже на Качуевской в его двухкомнатной квартире собиралась актерская братия, он как будто ступёвывался, предоставляя «держатель стол» другим. И всё равно центром был он. И говорили для него. Ожидая его молчаливого одобрения (чаще) или неодобрения (реже).

Последнее не потому, что не говорили глупостей или пошлостей, а потому, что Андрей был абсолютно доброжелателен. Ещё в Волковом переулке, точно 27 ноября 1972 года, я ждал его после спектакля, Андрей вернулся поздно и был чем-то угнетён. Что-то неприятное произошло в театре. Он сел за стол, но не притронулся ни к питью, ни к еде. Молчали. Андрей сказал: «Милиционер родился». Тогда я рискнул попросить его сделать подарок моему сыну – поехать, хотя была уже ночь, к нему на день рождения. От Волкова до Фестивальной, где жил сын, путь неблизкий. О том, как встретили его сын и друзья, лучше бы рассказали они. А я думаю о другом: Андрей вёл машину по заснеженным, безлюдным улицам той же дорогой и почти в то же время, по которой через несколько лет меня лишь один человек из шести повёз в аэропорт. Иногда мы с сыном вспоминаем этот вечер и говорим, что это был один из самых прекрасных вечеров (и ночей). Но потом я думаю: а все ли из тех, кто был с Андреем в тот вечер, как и те, кто восхищался им в театре и кино, стоял на площади в день его похорон, немедля согласились бы ехать ночью в аэропорт ради спасения его жизни?

...блат / Вознёсся пышно, горделиво

Работа в институте налаживалась. Койки на колёсиках облегчили жизнь медицинским сёстрам и санитаркам. Хорошие наркозные аппараты и респираторы (аппараты искусственной вентиляции лёгких) облегчили труд врачей, а диагностическое оборудование позволяло предупреждать возможные осложнения и их своевременную диагностику, если осложнения всё же возникали. Без этого не бывает в большой хирургии. Создавалось научных планов «громасьё». Постепенно внедрялось в сознание нейрохирургов, что отделение нейрореаниматологии – не причуда Арутюнова и Маневича, а очень полезная штукавина. Начали выхаживать даже казавшихся безнадежными больных. Уменьшились, если совсем не исчезли проблемы с дежурантами – анестезиологами-реаниматологами. Мы впервые в стране установили централизованную систему газоснабжения, не только с кислородом (как у всех), но и с вакуумом и сжатым воздухом (только у нас). Мои боевые подруги из «Медтехники» закупили в ФРГ для нас такую систему. Полностью автоматизированную. Даже оплатили консультанта для её установки. Увы, консультант приехал только на двое суток. Место для установки консультант одобрил. Но потребовал для системы цементную основу, для коей нужно было три тонны цемента. Ни цемента, ни нарядов на него у нас не было. Но мы добыли и наряды, и цемент. Но мы уложили его

в один день. И немцы сказали ту сакраментальную фразу: «Ведь могут, если захотят!» Спасибо вам, мои коллеги той поры. Система работает до сих пор. Вот уже 30 лет без передышки!

Можно было и мне заняться своим бытом. У меня появилась собственная квартира. И не где-нибудь, а в центре Москвы, у института. Моя приятельница – увы, покойная, – главный врач специализированной гинекологической больницы, в которой я иногда подрабатывал – однажды позвонила в субботу: «Лёха, тебе нужна кооперативная квартира? Тогда приезжай сейчас же». Приехал. Провёл наркоз (10 минут) на прерывании беременности. На всё про всё – наркоз, кофе и кое-что ещё – ушёл час. Уехал. Женщина оказалось женой одного из глав тогдашнего Моссовета. И через два дня раздался звонок председателя жилищно-строительного кооператива архитекторов и работников кино, к коим я, разумеется, не относился. «Вам, – угрюмо сказал он, – выделена однокомнатная квартира на 5-м этаже. Вам нужно в течение недели внести...». Он назвал сумму. Кажется, 3000 рублей. Все мои гонорары были израсходованы на приобретение и ремонт автомобиля. Пришлось поклоняться моим друзьям в издательстве «Медицина». Выручили. Дали работёнку – редактирование 200 п. л. (15 рублей 1 п. л. – печатный лист – 40 000 знаков). Это ведь помимо работы от 08:00 и до... Операции заканчивались к полуночи. Ночи сузились до тех 4 часов, которые оставались у меня для сна, как и в год получения диплома учителя средней школы.

К счастью, в моём распоряжении была квартира Веры и – полное обеспечение её подруги. Вера с дочкой летом уезжали во Францию. Квартира была получена, но никогда не обустроена. Она вошла составной частью в трёхкомнатную квартиру на улице Наташи Качуевской.

Потрогал – женись

Осенью Вера с дочкой и купленным во Франции подержанным автомобилем возвращались поездом. Встретили мы их – я и Наташа – в Бресте. Наташа с Татулей (домашнее имя ребёнка по имени Наташа) уехали в Москву, а мы, сгрузив автомобиль, попытались на нём добраться до столицы моей родины. Самая маленькая проблема – не отсоединённый, а потому разряженный аккумулятор – была разрешена в течение суток. Пришлось спать в машине. Это был «Фиат-124», прообраз нашей первой модели «Жигулей». Но это была ещё та машина! Как говорил Маяковский – «истрёпанная, как пословица». Французские реставраторы позаботились о нравственности пассажиров – сиденья в автомобиле не раскладывались!

Поэтому к вечеру следующего дня, после дневного пробега (рулила только Вера, справедливо не доверяя этого тяжелобольного мне) мы остановились в какой-то колхозной гостинице (удобства во дворе). Ночью нас разбудили

наши бдительные органы. Мне казалось, что они просто обалдели от такого нахальства: иностранная подданная без соответствующих разрешений ездит по Белоруссии в сопровождении какого-то внешне подозрительного субъекта (кличка – профессор). Нам дали доспать, порекомендовав как можно раньше убраться с их охраняемой территории. Мы убрались. Увы, в Калинин (нынешняя и первоначально – Тверь) полетело что-то в моторе. Ещё двое суток – на правах подпольщиков.

В общем, когда мы всё же добрались до Москвы, стало ясно, что я полностью разоблачён как иностранный агент. Но куда меня не вызывали. Только увеличилось количество гостей. Большинство – служители Мельпомены и трущиеся около неё. Но были и военные достаточно высокого ранга (один – командир атомной подводной лодки), и партикулярные лица. Гости приходили и уходили, как я понимаю, оценивая нового сожителя – то ли Веры, то ли Наташи.

Как понимаю теперь, были среди гостей и сотрудники «ока недрёманного». Вероятно, было дано добро. Очень скоро друзья стали настойчиво рекомендовать узаконить наши отношения. Я бы ещё подумал. Но однажды нас с Верой пригласил в гости Александр Иванович. Приглашение было с благодарностью принято. Вера очаровала и Арутюнова, и его супругу, и его дочерей. Разумеется, последовало наше приглашение. Возникла какая-то неловкость. На следующий день Александр Иванович сказал, что в гости он может прийти только после того, как наши отношения будут увенчаны официальным браком. Последствия этого шага я не просчитывал. Вера (особенно вместе с подругой) мне нравилась. Корыстные мотивы исключались, так как у меня теперь было собственное жильё в центре Москвы. Более того, моё бескорыстие подтверждалось желанием немедленно стать законным отцом дочери Веры.

Маму я не спрашивал. Она, как всегда, радушно приняла новую невестку. Сын также не возражал. Он привык к сменам своих мачех. Французская мачеха одаривала его какими-то недоступными нам, советским людям, благами – джинсами, блайзером, открытками с писающим мальчиком. Да и сам он становился самостоятельным человеком. Поступив, не без труда и не без помощи моих подруг из «Медтехники», в мединститут, он где-то подрабатывал анестезистом и даже готовился сделать меня дедушкой.

Не исключаю, что временные даты могут быть несколько иными, но сути это не меняет. Браки заключаются на небесах. Этот брак с помощью моих друзей был заключён во Дворце бракосочетаний. Могу предположить, что очень симпатичные друзья Веры – Галя и Игорь – были как-то связаны с нашими бдительными органами. Потом они куда-то исчезли. И лишь много лет спустя, уже в новом тысячелетии, мы случайно встретились на рынке. И оказались, как говорил мой учитель, по разные стороны баррикад. Я не смог их разубедить в том, что профессором я стал не благодаря, а вопреки той власти, которой и они, и я верно служили.

Около искусства

По натуре я – чеховская душечка. Только с моей второй (официально), а на самом деле первой официальной женой я был ведущим, она – ведомой. Будучи женат на деятельнице киноискусства, я пытался (безуспешно) писать киносценарии. Женатый на хирурге, правил её труды, выскивал в только мне доступном библиотечном фонде всяческие зарубежные новации по хирургии лёгких у детей.

Теперь я погрузился в мир Терпсихоры. Вере покровительствовал Григорович. Поэтому мне посчастливилось увидеть все его балеты и всех прекрасных балерин Большого театра – Тимофееву, Бессмертнову, Максимову. Да и в балетах, поставленных Верой, танцевали прекрасные солисты балета. Но поразила меня в самое сердце не самая «народная Союза», а «народная всего лишь России» – Алла Осипенко. Она танцевала с Джоном Марковским «Лебединое озеро». Классическая постановка. Без украшений Бурмейстера или Григоровича. Я не видел в роли Одетты-Одилии Уланову, поэтому лучшей (для меня) была, есть и будет Осипенко. Мне очень хотелось после спектакля полететь в космос или хотя бы побродить по Ленинграду. Одному. Но мы были гости Аллы. Отпраздновав встречу в «Баку» (ресторане, не столице Азербайджана), мы на двух авто, в великолепном настроении, подшофе въехали на Дворцовую площадь. Там Алла и я устроили хоровод (см. картину Матисса) вокруг Александрийского столпа, сопровождая танец исполнением «во весь голос»: «Ленинград мой, милый брат мой...» Подбежал страж порядка. Увидев, что хулиганит любимая ленинградцами Алла Осипенко, вежливо попросил продолжить концерт не на Дворцовой площади.

Но и я внес свой вклад в балет. Утверждаю: мне принадлежит идея назвать французский вариант, сочиненный Верой, русского перепляса – Pro et contra. Утверждаю, что идея балета «Моцарт и Сальери», поставленного Боккадоро в Большом, также принадлежит мне. Мы – Вера и я – ждали Андрея Миронова у его театра, после очередного (в энный раз) радостного визита на его «Женитьбу Фигаро». Андрей задержался. У Веры было плохое настроение. Долго не решался на самом «высоком» уровне вопрос о принятии её в труппу Большого, и я процитировал: «Коль мысли чёрные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти «Женитьбу Фигаро». Я прочитал наизусть «Моцарта и Сальери». Дочитывал я уже, когда вышел Андрей, по дороге домой. Григорович идею одобрил. Вера из очередного вояжа на родину привезла пластинку с опусами Сальери и поставила этот балет. В один день с балетом Плисецкой – «Гибель Розы».

Конечно, московский бомонд пришёл на премьеру Плисецкой. Но всё же и премьеру Боккадоро встретил весьма доброжелательно. Недовольна была только Плисецкая. Её балет шёл после балета Веры, и цветы, устлавшие, как положено после премьеры, сцену Большого, очень раздражали нашу великую балерину. Она – свидетельствую – отбрасывала их ногой. А я, впервые столк-

нувшись с Плисецкой лицом к лицу, вопреки Есенину («лица не увидеть») порядком испугался. Она вовсе не была розой, даже умирающей. Скорее всего, она была похожа на Наину, испугавшую Руслана. Но зато потом, на сцене, она была почти Алла Осипенко.

Супруги всех стран, объединяйтесь!

Как я получил свою однокомнатную, я уже описал. Как получила Вера свою двухкомнатную в центре Москвы, у Дома литераторов, не знаю. Но уж коль семья, значит – семья. Решили объединиться. Из многочисленных вариантов выбрали дом Веры. Быстро нашлись желающие. Выбрали коллегу. Бывшую – Рабинер, нынешний псевдоним – Егорова (для блага дочери!). Именно в её лаборатории на базе больницы Кашенко и было осуществлено испытание флюотана (фторотана). Опять же придётся цитировать моего ученика. Кстати, спасибо моим коллегам-сотрудникам: без них бы этот съезд не был бы осуществлён и мне бы не пришлось потом скитаться по Москве. Но... «Всё, что ни делается, всё – к лучшему в этом лучшем из миров». Вот почасовая хроника этого обмена в изложении моего ученика – непосредственного участника событий:

Сокращённый вариант драмы «Четыре дня без унитаза»

День первый

- 9:00 День выдался удачный: достал чешскую плитку. Ездили с соседкой – милая общительная женщина, с которой я буду меняться квартирой. Наконец-то у меня будет кабинет.
- 10:00 Звонила соседка; обговорили мелочи. Настроение отличное.
- 12:00 Привезли плитку. Приходила соседка. Всё измерила.
- 13:00 Достал унитаз, причем голубой. Шикарная вещь. В квартире соседка и две её подруги.
- 14:00 Достал голубую раковину. У соседки болит голова.
- 15:00 Она опять звонила. Сейчас придёт, старая дура!
- 16:00 Соседка просила свозить её мужа и дочь купить продукты. Переезжаем за мой счёт.
- 17:00 Звонила соседка. У неё раскалывается голова.
- 18:00 Звонила соседка. Голова болит у её мужа.
- 19:00 Приходила соседка. Ещё раз всё перемерила.
- 20:00 Опять она пришла. Всё! Не могу. На! Рви меня на части, жри меня с маслом, бери мои последние штаны.
- 22:00 Если она заставит меня в двадцатый раз мерить мою собственную квартиру, без боя не сдамся. Видите ли – плитка у меня на 2 мм меньше, чем у неё! Дай только переехать!
- 23:00 Звонила соседка. Сейчас забежит. Так, встану за дверью и порешу сердечную одним ударом голубого сорта. Идёт!
- 24:00 Ошибся. Приходил управдом.

День второй

Ночью снились кошмары. Соседка мне всё время давала указания, а я всё делал и делал. Потом я делал уроки за её дочь и не мог решить задачу. А потом меня замуровали в голубые плитки. Проснулся в холодном поту от звонка. Звонила она. Вопрос был один: не забыла ли я у вас расчёску?

4:00 С горя разбил телефон и топтал его ногами.

6:00 Боже правый! Как хочется в туалет! Куда пойти? Может быть, к Андрею? Не откроет. Как это будет выглядеть: звоню, он открывает дверь, а я – раз, сразу в туалет. А там хоть трава не расти. Нет, скорей на работу!

День третий

Писать буду короче. Экономить силы. Терпеть. Воды нет. Туалет третий день не работает. Положение осадное. Отколол плитку с пола. Болит спина. Хочется лечь, но если лягу – не встану. Одна мысль рождает другую. Без унитаза можно обойтись. Терпит же Коновалов по 12 часов, и ничего. А соседке я поставлю белый унитаз. Именно белый. Пусть она свихнётся. Теперь надо думать, где достать олифу, цемент, песок, седуксен. Пачек десять. Опять припёрлась соседка.

За всё в жизни надо расплачиваться. А за что, собственно, расплачиваюсь я?»

А расплачивался я за перефразированное изречение Генриха IV (французского): «Париж стоит алиментов».

Десять лет до

Последние 10 лет до пенсии начинались счастливо. Работа в отделении, хоть иногда и поскрипывала, но вполне соответствовала уровню нашей специальности в лучших клиниках. Быту моему завидовали и друзья, и недруги. Мои школьные друзья и подруги, побывав однажды в нашей обустроенной трёхкомнатной квартире (большинство ещё жило в коммуналках), заявили, что так они представляют себе жизнь в обещанном партий и правительством будущем. Напомню, что нам торжественно обещали, что в 1981 году наше поколение будет жить при коммунизме. Сын учился в институте. Мама была здорова. Я создавал «нетлёнку» – монографию по своей специальности и первый в нашей стране учебник. А в 1975 году и вовсе воплотил в жизнь одно из своих заветных мечтаний – отправился в путешествие по Франции.

90 дней

Наполеон по возвращении из ссылки удержался во Франции 100 дней. Мой визит, из-за железного занавеса, – 90. До этого три месяца ушло на получение партийной характеристики, визы, добычу билетов на круизный лайнер и выяснение отношений с какими-то функционерами из МК партии. Полагаю, что получением разрешения на столь длительный вояж в капиталистическую страну я был обязан связям моей супруги-француженки.

Много лет спустя, в годы перестройки моя нынешняя супруга, законопослушная гражданка нашей отчизны, абсолютно правоверная по всем своим корням, так и не смогла получить разрешения на 5-дневную туристическую поездку в Финляндию. Месяц ей морочили голову: то требуя какие-то справки о прописке, то подписи, чуть ли ни Горбачёва и его личной явки на заседание комиссии из рамоликов в РК КПСС (супруга, в отличие от меня, никогда не опозорила себя членством в сей организации). Отказали, не объясняя причины.

В 1991 году нас с супругой пригласили уже в объединённую Германию (в 89-м я перестал быть невыездным и уже побывал с лекциями в США). Нам

отказали в пресловутом ОВИРе, ссылаясь на то, что приглашение было в одном бланке на двоих, а мы – позор! позор! – не были в законном браке. Ах, с каким наслаждением отказал чин в районном ОВИРе, заявив в ответ на мои протесты: «Вам что, советская власть не нравится?» На мой вопрос: «Это вы-то советская власть?» – чин оху...в, влетел в свой кабинет, захлопнув дверь. По счастью, в том же году эти учреждения уже не давали виз. Боюсь, ненадолго.

1 июня 1975 года мы из славного города Одессы на теплоходе «Литва» в каюте 1-го класса (спасибо Серёже Федорову, оперировавшему какого-то чина из Министерства морского флота) отправились к берегам Франции. Остановки: Стамбул – Неаполь – Генуя – Марсель.

Стамбул

Кого теперь удивит этот почти наш российский город? Но ведь это было в те «баснословные года»! Конечно, прежде всего, мы пошли на Стамбульский базар. Конечно, мы останавливались у каждой витрины (даже Вера, коя уже бывала в Стамбуле). Конечно, мы посидели в какой-то кофейне. Вдруг мы очутились в берёзовом лесу. В огромном зале, как сталактиты (сталагмиты?), вырастали каменные стволы торшеров из оникса. То ли от изумления, то ли от сумрака зрачки Веры расширились до предела. Я понял и одобрил её желание – украсить нашу квартиру сим чудом природы и искусства.

Было у нас отложено на Стамбул 100 немецких марок. Продавец запросил 200. Мы повернулись, чтобы уйти. Нас едва ли не взяли в заложники. Но не посадили в зиндан, а угостили моим любимым чаем в армудах, снизив цену до 170 немецких марок. Потом, когда мы попытались уйти, нас угощали кофе, снизив цену до 150 немецких марок. В конце концов, мы купили полюбившийся торшер за наши единственные 100 немецких марок.

Может быть, мы и купили бы его дешевле, но тогда наш лайнер ушёл бы без нас. До отправления оставалось меньше часу, а у нас не было ни одной лиры, ни одной марки, ни одного франка. Весь наш резерв, слава Богу, остался в каюте. И мы побежали к пирсу. Вера бежала с длинной медной трубкой, на которую нанизывались, как на детскую пирамидку, тяжеленные ониксные кругляши. С кругляшами бежал я. Напомнил тяжёлым корешковым синдромом (по-деревенски – радикулит) мой сломанный в 44-м позвоночник. Весил я тогда едва ли не столько же, сколько весил этот торшер. Кругляши были тяжелее моих нынешних сумок. И они были не на колёсиках. Вот тогда и полетел мой позвоночник, переломанный в 44-м году. Не спросил у моей дочки (усыновлённой), когда она приезжала в гости, – сохранился ли этот торшер в парижском доме моей бывшей супруги?

Истинные достопримечательности Стамбула я увидел лишь спустя 10 лет, когда мы, отдыхая в Болгарии, совершили автобусную экскурсию. Автобус,

конечно, не лайнер. Но в 96-м году наши рынки были не хуже стамбульских. Поэтому мы увидели все чудеса Стамбула, кроме волоса Пророка.

Неаполь

Города миллионеров я не увидел. Бельё на верёвках над узкими улицами полностью подтверждало правдивость великих фильмов итальянских неореалистов. Сердце выскакивало из груди. Правда, не от сочувствия к беднякам Неаполя, а потому, что я выпил напёрсток неаполитанского кофе. Великолепный кофе я пил и на набережной Сухуми, и в Ашхабаде. Но, видимо, в Неаполь поставляют какой-то особенный сорт, специально для туристов. Дабы увеличить их стремление увидеть достопримечательности – Помпею, грот на Капри, Везувий.

Красоты – красотами, но в Неаполе, точнее, в Помпее, я получил первые уроки эротики. Как мольеровский мещанин во дворянстве, не знавший, что всю жизнь он говорил прозой, так и я не знал, что это, которого у нас в Союзе нет, называется эротикой. В развалинах Помпеи нам показали фрески с изображением какого-то патриция, у которого коленопреклонённая женщина то ли откусывает нитку, каковой чинила его брюки, то ли совершает действие, название которого нам, советским людям, было якобы неизвестно. Дабы понять и изучить эту проблему, я потратил часть отпущенных мне лир на приобретение слайда с этой фрески. Вера пыталась отговорить меня от покупки, разъясняя опасность транспортировки слайда при возвращении. Но я ведь по истории партии имел пятёрку. Пришлось уподобиться агентам «Искры»: я засунул слайд в обложку своего партийного билета.

Генуя

Каравелла то ли Колумба (Коломба?), то ли Магеллана не впечатлила. Мы и «Аврору» видывали! Не впечатлили и мраморные надгробья на знаменитом генуэзском кладбище. Я, как и Олег Баян, был человеком с широкими запросами. Его интересовал зеркальный шкаф. Меня – сотни аквариумов, наполненные прозрачной водой. Без рыб. В воду были погружены десятки и сотни часов – water resistant и water proof (разницы между ними до сих пор не знаю). Даже не рискнул попросить у казначея (супруги) денег на эту мечту. Ограничились парой шёлковых (?) галстуков, годящихся для сувениров и детских карнавалов.

Зато я впервые попробовал пиццу. Теперь она стала нашим фирменным семейным блюдом. Сочетание теста из хлебопечки, остатков нарезки (моё любимое оружие – ломтерезка) и кулинарных талантов моей супруги в который раз поражает гостей и не обременяет наш пенсионный бюджет.

Марсель

«Литву» пришвартовали к какому-то непрезентабельному торговому пирсу. Город я увидел мельком и то на обратном пути. Поэтому мой любимый анекдот обо мне в Марселе – плод моих нереализованных мечтаний. Рассказываю эту байку так: Марсель. Воскресенье. На улицах – матросы 6-го американского флота (сам их видел, в Тулоне). Меня по большому благу устроили в бордель с русскоговорящей бандершей и к русскоговорящей путане. В бордель ломятся матросы. Мест нет, а у меня – пардон – не стоит. Бандерша стучит Розе: «Роза, ну что, скоро?». «Белла Абрамовна, у Маневича не стоит». Грустная реплика бандерши: «Товарищ Маневич! Товарищ Маневич! Ви бы с вашим, дико извиняюсь, х...м могли прийти в будний день!».

Вместо угощения тогдашней французской экзотикой – борделем – встречавшие друзья Веры одолжили нам консервную банку на колёсах. Называлась она «Амисис», что означало «АМІ 6». По сравнению с ней наш «Запорожец» – «Мерседес-200». Но без этого инвалидного автомобиля я бы не увидел и половину достопримечательностей Франции. Так что спасибо дарителям. Мы им хорошо оплатили. Однажды припарковали наш лимузин у набережной Сены. Мне доверили купить у букинистов страницу каких-то старинных нот. Вернувшись, обнаружили листок штрафа. Не оплатили. Убеждён, что многократно увеличенную сумму штрафа оплатил владелец этого лимузина. Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

Из Марселя по прибрежной дороге мы отправились в Ниццу, к отцу Веры. Была у него: вилла, жена (уже не мама Веры) и несколько квартир, наследницей одной из которых должна была когда-нибудь и стать Вера. Уж не знаю, получила ли моя бывшая супруга это наследство, я бы в ней жить всё равно не смог: квартира была точно на том же 5-м этаже без лифта, на который не мог подняться мой отец, а теперь не смог бы подняться и я.

Ницца не поразила меня. Наш Сухуми (тот, не разрушенный) казался и красивее, и уютнее. Влюбился я в море и в маленький городок – Сен-Поль-де-Ванс (кажется, так). Море было хрустально-прозрачное. Городок старинный. Весь он был пешеходной зоной. На лужайках играли в «боль» – наши «расшиши». Только вместо монет – тяжеленные металлические шары. На одной из лужаек играл Ив Монтан. Мы не познакомились. Вероятно, он постеснялся.

Ницца – Париж

Мы побывали в Арле и в Авиньоне, в доме Рабле и в ресторанчике имени товарища Панурга, ещё в каких-то городах и городках. Потом, когда нашей базой стал Париж, мне посчастливилось увидеть и замки Луары, и Шартр, и

гобелены в Анже. Но об этих достопримечательностях и красотах лучше меня можно прочитать в путеводителях. А ещё лучше увидеть самому. Теперь ведь это пока возможно!

В Париж мы въехали к 12 часам, к обеду. Святые часы – с 12 до двух пополудни: Франция обедает. Найти что-нибудь в это время – безнадёга. Несколько дней потом я боролся с тёщей, дабы не возвращаться обязательно из прогулок по Парижу к этим часам. Квартира моей тёщи была на авеню Клебер. Это 16-й арондисман (район) Парижа. Самый центр. Там и наше посольство, где нам однажды посчастливилось купить селёдку.

Рассказывать о Париже – бессмысленно. Лучше ещё раз прочитать Хемингуэя или Эренбурга. Мне рассказывать о Париже – всё равно что рассказывать о самых интимных частях тела любимой женщины. Поэтому только о том, как я познавал её, то бишь его – Париж. А познавал я его так: 20 франков в кармане – мои дневные «командировочные». На метро по радиусу – на одну из конечных станций на окраине. Оттуда – пешком. В 12 часов – продовольственный магазинчик. Багет (длинный хрустящий хлеб). Нарезка салями или сыра и «миллион терзаний»: что купить? 6 бутылочек сладкой газировки или эквивалент – 2 бутылочки пива? Потом – 6 франков + 1 франк (билетёрше) и двухчасовой передых, менявший постепенно мой менталитет. Фильмы: «Убийство Троцкого», «Последнее танго в Париже», наконец, «Эммануэль». Возвращение на Клебер. Вечерами какие-то визиты ко всяким знаменитостям и полузнаменитостям. Латинский квартал. Стриптизы на Пигаль (скучно), «Крези Хорс Салун» и «Аль-казар» (прекрасно!). Ещё прекраснее маленькие шоу в подвалах и полуподвалах. Дорогие и недорогие рестораны и ресторанчики. На халяву. Иногда – везло: оставался дома один. Подсовывали Солженицына. «В круге первом». Читал ещё в Москве. Не понравилось. В Париже просмотрел «Архипелаг ГУЛАГ». Странно, но не впечатлил так, как потом Шаламов. Сталинистом я уже не был, но и веру в светлое будущее человечества ещё не потерял.

Если же выдавалась свободной вторая половина дня, то мчался в Лувр на сэкономленные деньги. Посчастливилось быть в нём тогда раз десять. Но всегда, прежде всего, я приходил на свидание к двум женщинам – к Нике Самофракийской и к Моне Лизе. Ника посылала меня смотреть Делакура, Жерико, Давида, Рубенса, Босха, Эль Греко; Джоконда – старых итальянцев, Энгра, Фрагонара, Ватто, фаюмский портрет, Халса. Уставал страшно. Но, всё равно, перед уходом не забывал попрощаться с Никой и Джокондой. Очень хотелось после свидания с ними не возвращаться на Клебер, а бродить одному по Парижу, как когда-то я бродил по Москве после балета с Улановой. Возвращался. Валился без задних ног на раскладушку. Но готов был на следующий день бежать на свиданье с Никой и Моной Лизой.

С кем поведёшься

Познание умножает скорбь и совершает открытие. В первый день я познал, что моя супруга – на самом деле уже не француженка, а на 100% – наша советская женщина. Любимый анекдот: еврейского мальчика устраивают на полный пансион в семью попа, дабы избавить от местечкового говора. Через месяц родители навещают мальчика. Дверь открывает поп, радостно восклицая: «Ой, это кто и к нам приехал, кто?»

Вера впервые побывала в Союзе в 1957 году, на фестивале молодёжи и студентов. Была она тогда танцовщицей в кордебалете Гранд Опера. Вместе с Клер Мотт и Мариной Влади. Обосновалась в Москве. Поступила в ГИТИС (Государственный институт театрального искусства). О её дипломном спектакле я уже писал. Как она сблизилась с Григоровичем, а потом с Тихоном Хренниковым, не знаю. Но в анналах Большого театра есть две или три её постановки балетов. Ставила она танцы и у Любимова («Час пик»), и в каких-то фильмах. Так что явно начинала входить в «обойму», одновременно обретая наш «советский» менталитет.

После обеда, во время которого я обидел тещу, отказавшись от какого-то дорогого вина, – из алкоголя люблю только водку или хороший самогон, – заявил, что теперь пойду по Парижу. Сам. Попытки отговорить – мол, заблудишься, – были безуспешны. Как всякий полунинтеллигентный русский (по менталитету), я был уверен, что Париж знаю не хуже Москвы. Читали! И картинки видали!

Вышел из дома на Клебер и пошёл, как положено, налево (в смысле направления, а не метафорическом!) к видневшейся Триумфальной арке. Дойдя до широкого проспекта, понял: вот они, Елисейские Поля! Опять пошёл налево. «Ещё немного, ещё чуть-чуть...», и я увижу набережную Сены, букинистов и, для полного счастья, найду у них томик Цветаевой. И у меня будет не ксерокопия «Лебединого стана», а настоящая книга! Действительно, через какие-нибудь полчаса вдали показалась река, но за ней высился Нью-Йорк. Оказалось, что я пошёл в противоположную сторону, к новому району Парижа (ни в этот, ни в последующие разы я так и не побывал в этом районе). Поняв ошибку, повернул в обратную сторону, решив идти по параллельной улице. Пошёл. Увидел магазин дешёвых цен – «Юниприз». Вроде нашей «Копейки». Только дешевле. В кармане было 20 франков. Вошёл.

И... увидел очень знакомый зад. Это была моя супруга. Первый день в Париже. Самый дешёвый магазин, противоположный от центра. Вдали от дома тещи. На малолюдной улице. И в такой магазин едет даже не провинциальная француженка, а коренная парижанка! Так началось моё разочарование и понимание правоты афоризма: «Ни одна, даже самая лучшая, француженка не может дать больше того, что она может».

Дым Отечества

С огромным трудом, со скандалом я получил места на «Литве» на обратный рейс. Перерыв круиза был обговорён в Москве. Но что-то в бюрократической машине не сработало. Бронь кому-то продали. Недели две я обивал пороги наших представительств. Дожал. Возвращались втроём, с Татулей. Увидели прекрасную Барселону (влюбился навсегда), Мальту (запомнился лишь тур по Ла-Валетте на осликах), Афины (не соблазнили доллары желающих купить мой «ФЭД»). Всё – по полной программе.

Родину узнал в Ялте. Пришвартовались. Прошли благополучно таможню. Запрещённого слайда не обнаружили. Зато на набережной узнал родимую! Татуля захотела мороженого. У меня был металлический рубль. Мороженщица подняла ор: «Рубль фальшивый!» Вмешались органы правопорядка. Рубль оказался не фальшивым, но без каких-то букв на ободке. Извинились. Но мороженое всё же пришлось купить у другой продавщицы. До сих пор не знаю, насколько выгодно изготавливать наши металлические фальшивые рубли. Ещё один переход в Одессу. Наконец, родная столица, родной институт.

Мой отчёт описал всё тот же ученик. Не буду цитировать. Перескажу своими словами мой же рассказ о том, что меня больше всего поразило во Франции. А поразила меня больше всего – частная собственность. Я – правоверный марксист – увидел и почти понял: к чему приводит загнивание капитализма. Один из дальних родственников мамы Веры был очень богатый ювелир. Владел он поместьем гектаров в 200–250. Рядом с поместьем (500 га) Бига – изобретателя одноразовых пластиковых ручек и одноразовых пластиковых зажигалок. Это был облагороженный лес. В нём не было не только ни одной мусорной кучи, в нём не было ни одного горлышка разбитой бутылки. В нём были ухоженный подлесок, изумрудная трава на опушке и полянках и жёлтенькие гнёзда лисичек. Я набрал большущую корзину. Ими мы и поужинали вечером в семейном кругу с потрясающе красивой хозяйкой, бывшей крестьянкой, ныне весьма утончённой особой, рассуждавшей о Кафке, Сартре и экзистен... – тьфу, не выговорю! – ...ционализме. Нет, я не эпатировал своим рассказом. Мне просто уже не хотелось быть в рядах могильщиков капитализма.

Уходят, уходят, уходят друзья

Это из песни Галича. С ним меня познакомили подруги из издательства. Ещё до знакомства с Верой. Мне казалось, что его песня – «Я пою под закуску и 400 грамм» – написана про нашу компанию. Мы не были друзьями, поэтому не могу себя винить, что не протягивал ему руку помощи. Хотя иногда снабжал трудно доставаемыми лекарствами. Так что отъезд Галича не был потерей друга.

Песни его я знал наизусть. А ленты с его песнями крутились у сына не реже песен Окуджавы и Высоцкого.

А вот уход Андрея из семьи, то есть из нашего дома, был большущей потерей. У него собирались ироничные, весёлые люди. Не чета Катиным ухаждёрам.

Но самой страшной потерей в этом 1975 году была смерть Александра Ивановича. До этого у него снова обострилась ИБС (ишемическая болезнь сердца). В институте наступил смутный период. На директорское кресло претендовал некий Недоуменко, ставленник совета партийных ветеранов института. Чудом удалось избежать этой катастрофы. Александр Иванович всё же поправился. Воля к жизни у него превышала таковую у джек-лондоновского героя. Его наследник – Александр Николаевич Коновалов – успел защитить докторскую, да и как нейрохирург сравнялся с лучшими нейрохирургами страны, а потом и мира. Он и стал директором института. У нас с ним сложные, но уважительные отношения. Убеждён, что и институту, и вообще нейрохирургии с ним повезло.

Ушёл от меня мой ученик – Виктор Фоминых. Учёный он был никакой, но организатор (особенно личных дел) великолепный. К моему возвращению из Франции от него ушла жена. Обвинил он в этом меня. Не буду оправдываться. Если это так, то это моё высшее достижение. Его жена была хороша, как Жаклин Кеннеди. Я и калым заплатил: Виктор зажулил мою Библию. Да и сосчитать Витины «зигзаги» в период их брака нужен мощный калькулятор. А я всегда был за равноправие женщин и мужчин. Даже с преобладанием прав у женщин.

Пришёл ко мне просить благословения на отъезд и мой бывший старший научный сотрудник, которого я устроил в институт неврологии. Там он познакомился с сестрой, а потом и с самим Арманом Хаммером. Повидав звериный оскал капитализма, я благословил его. Ни он, ни я об этом не пожалели. Правда, тогда я не удержался и написал очередные вирши:

Только выстрел треснул!

Эдуард Багрицкий

По-русски рубаху рванув на груди...

Константин Симонов

УехАете? УехАйте!

Пусть вам будет вдали тепло.

И не охайте, не вздыхайте,

Что вам больше, чем мне, повезло:

Вас не будет трясти бездорожье,

Стукачи не бегут доносить,

И в далеком сибирском острожье

Вы не будете с голоду выть.

Не заденет крылом лихолетье,

Девять граммов в затылок свинца
Вас не кончат на этом свете,
А на том – всё равно – тишина.
Будет талесом, не тельняшкою,
Чресполосица бед и удач...
В старом Яффо я не заплачу,
Но и ты на Арбате не плачь.
Здесь мой дом. Хорошо или плохо,
Но другой для меня нет земли.
Я с тобой до последнего вздоха.
Изготовилась?

Целься.

Пли!

Интуитивно я чувствовал, что, увы, в России опять появятся «патриоты», так что я уже никогда не осуждал тех, кто решился искать лучшей доли на чужбине.

Париж стоит алиментов

Первую фразу «Анны Карениной» знают все. И всё же напомним и дополню: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Моё дополнение: развод всегда одинаков – неинтеллигентен. В порядке самокритики: неинтеллигентен был я. Андрей просто ушёл из дома. Я же недолго пытался восстановить «статус-кво» – вернуть своё жильё.

Не всё было гладко в «датском королевстве» ещё во Франции. Но однажды, придя домой, я прочитал записку гласившую, что Вера – у соседа, арендовавшего квартиру на том же этаже. Сосед был каким-то мидовцем и на днях отправлялся за рубеж, защищать нашу отчизну от происков империалистов. На кухне сидели Вера, сосед и ещё какой-то философ-грузин. Интеллектуальный трёп по поводу недавно вышедшей в серии ЖЗЛ книги «Чаадаев» перешёл на поливку партии и правительства. Я «озверел». Терпеть не могу двурушников. Кричал: «Если бы я не был гнилым интеллигентом, то сделал бы всё, чтобы вас не пустили за рубеж!» Хлопнул дверью. Закрылся в своём кабинете – комнате у кухни – и выгонял приходивших просить прощения в одиночку и скопом.

На следующий день в моём кабинете (на работе) раздался звонок. Представившись, сотрудник соответствующих органов попросил меня прибыть в удобное для меня время по такому-то адресу. В отличие от героя Галича я не взял с собой «щётку, мыльницу», но пошёл в сопровождении моей тогдашней законспирированной подруги, дабы, если не вернусь, она сообщила горестную весть маме и сыну. Этого не понадобилось. Но беседа развивала дух и букву

вчерашнего скандала. Диктофона, во всяком случае у меня, не было. Так что передаю смысл: «А.З.! Мы знаем, что вы – настоящий патриот нашей страны. Вот если в вашем присутствии будут говорить о ней плохо, вы сообщите нам?» Ответил: «Если это будет иностранец, то да, если мой соотечественник, то – нет. Ибо это – неинтеллигентно». Их попытки изменить мой ответ были безрезультатны. Инстинктивно я избрал тактику придуривания. Охотно отвечал на вопросы о моих контактах с зарубежными фирмами, о том, что я готов помочь в приобретении самых сложных приборов, в том числе запрещённых к ввозу в СССР. Отпустили на этот, и на следующие разы. Вежливо на последнем свидании посоветовали держаться подальше от представителей инофирм: «все они агенты разведок!».

На мой вопрос супруге: «Ты?» – она начала рассказывать о том, что когда она обратилась с просьбой об учёбе в ГИТИСе, то её попросили встретиться с Нуриевым, уговорить его вернуться... Я ушёл из дома. И начал скитаться по Москве.

Органы от меня немедленно отвязались, но за рубеж не выпускали 12 лет. Уж не помню, в каком году, но в Канаде был нейрохирургический конгресс. Мне на нём дали 30 (!) минут (обычно дают не более 12 минут) для доклада «Водно-электролитные нарушения – диагностика и интенсивная терапия – при нейрохирургических вмешательствах». Меня не пустили, сославшись на случайную ошибку при оформлении документов. Больше я и не пытался. Себе дороже. Проблем у меня хватало и на родной земле.

Я два года мыкался по столице, то пользуясь гостеприимством друзей, то с большим трудом снимая комнату в противоположных концах Москвы и её пригородах. Трудности были двух порядков: в столице тогда, как и теперь, арендовать жильё непросто, а за умеренную плату и попросту невозможно. А мой бюджет холостяка был значительно ниже прожиточного уровня профессора: я выплачивал алименты усыновленной дочке, помогал маме, приобретал иностранную литературу на мой профессорский лимит в Доме учёных, оплачивал аренду квартир, а через пару лет расплачивался за однокомнатную квартиру в том же кооперативном доме, выделенную мне под нажимом Тихона Хренникова. Она была хуже моей в Ворониковском переулке, но лучше квартир в «хрущёбах». Пришлось снова искать дополнительный заработок. Увы, хирургом я уже не был. А дежурить анестезиологом на подхвате у хирурга я не хотел.

Все болезни – от коры

В годы моей студенческой юности, когда так называемое «павловское учение» было так же обязательно, как «Краткий курс истории ВКП(б)», родился афоризм: все болезни от коры (подразумевалась – кора головного мозга), только две – от удовольствия – гонорея и люэс (сифилис). Сегодня количество ИППП

(инфекции, передающиеся половым путем) увеличилось на порядок, но в сознании неврологов это утверждение остаётся справедливым.

Моим учителем неврологии была профессор Наталья Николаевна Брагина. Неврологию она знала так же блестяще, как Любовь Михайловна Попова, хотя «консенсуса» с ней мы так и не нашли. Она самоприкомандировалась к нашему отделу нейрореанимации, я учился у неё и терпел уходы с обхода, становившегося ей неинтересными, как только речь заходила о грешном человеческом теле и его составляющих – лёгких, сердце, почках, печени – больных. Я не стал первоклассным невропатологом. Она не стала анестезиологом-реаниматологом, но убеждён, что наши совместные обходы принесли, как назвал Алексей Максимыч одного из своих персонажей, «маленькую пользу». Во всяком случае, мне: я, уйдя из клинической в поликлиническую медицину, смог перекалиброваться в невропатолога.

Институт нейрохирургии им. академика Николая Ниловича Бурденко – звучит гордо. И меня охотно взяли консультантом-невропатологом в поликлинику УХЛУ (Управление хозрасчётными лечебными учреждениями). Правда, для этого пришлось совершить почти подлог – получить справку с разрешением на совместительство. Спасибо покойному Федору Андреевичу Сербиненко. Коновалов был в отпуске, и Федор не только дал мне такую справку, но и отпустил в ЦИУ на кафедру неврологии, дабы я получил официальную бумагу о моей принадлежности к касте неврологов. Вернувшийся Коновалов ворчал, но подтвердил, что Сербиненко имел на то право.

Имел я право консультировать 12 больных в месяц. Формально я получал за консультации немного, но консультации были на дому у больных. Они оплачивали такси (цену определяли в регистратуре). Но я-то ездил городским транспортом. А это было существенным прибавкой к моей редуцированной зарплате. Тем более – каюсь – ни партийных, ни профсоюзных взносов я не платил, отрицательно отвечая на вопрос армянского радио: «Нужно ли платить партийные взносы со взяток?»

Пол и характер

Это не реферат знаменитой книги самоубийцы О. Вейнингера. Это две проблемы, возникшие в моём отделе. Первая – пол отделения нейрореанимации. Вторая – «половой синдром имени Клинтона».

Отделение занимало этаж трёхэтажной пристройки к старинному разрушающемуся основному зданию института. Хотя было поновее и получше основного здания. Но проблем хватало и в нём. Главная проблема – половая. Функциональные финские койки хоть и были на колёсиках, но их постоянное перемещение из одной маленькой палаты в другую маленькую не только обременяло ненужной работой медсестёр, но и травмировало пол. Образовывались и

расширялись щели. Удалить из этих зияющих провалов их обитателей – микробов – было практически невозможно. Александр Сергеевич Грибоедов написал: «...радикальные потребности тут лекарства».

В одну из своих поездок я посетил областную больницу в Тюмени. И в России ещё сохранились и настоящие врачи, и настоящие организаторы здравоохранения. Лучше всего в этой больнице был цельнолитой, без единого шва пол. О его сердцевине я узнал потом (знал бы, не пытался повторить!), а покрыт он был каким-то голубым блестящим пластиком, сверкавшим стерильной чистотой. Вернулся в Москву. Уговорил Коновалова. Выписали автора пола. Затеяли капитальный ремонт и перестройку отделения. О теории этого пластика и его компонентах мы узнали от приглашённого директора какого-то НИИ пластмасс и полимерных материалов. Фамилия его была то ли Нехорошев, то ли Неудачин. Знакомясь, Коновалов сказал: «Представляю, каков будет пол!» Я ответил: «В нашем институте: директор – Коновалов, его ассистент на кафедре – Умрихин, главный врач – Падалко. А некоторые больные всё же поправляются». Коновалов, даже став академиком, сохранил чувство юмора.

На его 70-летний юбилей я послал телеграмму-панегирик: «Многие лета в институте этом» и открытку:

Фамилии противореча,
Больных ты лечишь, не калеча.
Быть может, в будущем – святой,
Пока для многих – Дорогой.

Не обиделся, хотя подковырку понял: лечение в Институте нейрохирургии дорогого стоит и дорого.

И мы сделали этот пол! Но количество рубчиков на моём бедном сердце и седых волос на моей головушке прибавилось. Не всё получилось так, как хотелось, но всё же в реконструированном отделении хорошо работалось ещё лет 20, пока не построили новый корпус.

Но вот окончание строительства стало причиной другой половой проблемы. Коллектив собрался в отремонтированном отделении отпраздновать наш труд. Действительно трудились все, как тогда, когда за сутки сделали основу централизованной системы газоснабжения. В отделении не только умели трудиться, но умели – использую эвфемизм – и флиртовать. Сдуру я и пофлиртовал с одной очень хорошенькой сестричкой (и не только с ней). Через несколько дней, когда мы уже обжили отремонтированное отделение, мне доложили на утреннем обходе, что приглянувшаяся мне сестричка заявила ночью надоевшей ей больной, мешавшей вздремнуть: «Ты всё равно умрёшь – у тебя опухоль». Не будучи искушённым в административных правилах, – надо бы написать рапорт главному врачу, и пусть бы он потом мучился – я издал приказ об её увольнении.



Какой-то международный анестезиологический конгресс. Лёня Глазман (теперь главный врач Института!) пытается на пальцах доказать профессору Зорабу (Великобритания) бесспорные преимущества методов нейроанестезиологии, используемые в клинике Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Профессор А.И. Трещинский (главный анестезиолог-реаниматолог Украины) красноречиво молчит, думая про себя: «Пряатель, ври, но знай же меру!»

И началась разборка, по-нынешнему – базар. Собралось партбюро. Нашлись свидетели моих гнусных предложений этой медсестре – образцу чистоты и непорочности. Нервы трепали мне недели две. Хорошо, что «заява» о моём аморальном облике поступила не до, а после случившейся гадости (кстати, медсестра и не отрицала сказанного больной). Дабы сохранить честь института, не выносить сор из избы, чем грозила медсестра, было решено не уволить её, а перевести в отделение рентгенологии. В то время это была мечта всех медсестёр: и надбавка за вредность больше, и на пенсию можно было выйти через семь с половиной лет.

Скоро на учёном совете, на котором меня представляли к званию заслуженного деятеля науки, мой аморальный облик был одной из двух причин, заставивших добрую половину (если не больше) членов совета завалить меня. Тогда мне было плохо. А сейчас – рад, что так случилось: я ничего не должен институту и имел полное право уйти из него тогда, когда захотел.

Я – плагиатор

Второй причиной моего провала было обвинение меня в плагиате. В 1977 году вышел, наконец, первый в нашей стране учебник по анестезиологии-реаниматологии для медицинских вузов. Авторами его были Бунятян (тогда сотрудник союзного министра здравоохранения Б.В. Петровского), Рябов (тогда и, кажется, теперь – главный анестезиолог-реаниматолог «Кремлевки») и я, создавший и план, и отредактировавший учебник целиком. Я уже писал о том, что и тогда учебник был далёк от совершенства. Переживал, что авторы были поставлены не по алфавиту, а по должностному ранжиру, что соавторы настояли на персонализации каждой главы учебника. Но ведь «все, что ни делается, всё к лучшему в этом лучшем из миров». Теперь я смог запретить переиздавать этот устаревший учебник, который, по утверждению моих бывших соавторов, занял 1-е место в рейтинге книг по этой специальности. Всё может быть в нашей стране чудес!

В одной из глав учебника, написанных мной, был рисунок – схема тяжёлого поражения мозга – комы. В те несколько лет, когда создавался учебник, я был и научным консультантом докторской диссертации моего сотрудника. Была она посвящена проблемам тяжёлых поражений мозга. Писалась она не столько им, сколько коллективом из уважения к тому, что этот сотрудник не позволил прекратить реанимацию А.И. Арутюнова. Схема стадий комы рождалась во время мучительных родов этого неудавшегося создания. Кто уж придумал эту схему, видит Бог, не знаю. Не убеждён, что принимал в её создании участие. Но действительно ставил. Славы мне она не прибавила. Нервы потрепала. Ну, да это обвинение было не главным.

Главным обвинением меня в «плагиате» стал обзор литературы по коллоидно-онкотическому давлению (аббревиатура – КОД), опубликованный в журнале «Анестезиология и реаниматология». Это был плод совместных усилий автора моего жизнеописания, моего сына и меня. Именно в таком порядке обзор и был сдан в редакцию. Потом ученик (не сын!) порядок изменил. Я стал первым автором и, следовательно, ответственным за все достоинства и недостатки обзора. В редакцию журнала поступила анонимка. Авторство было секретом Полишинеля – отправил её Неговский. Писал её, конечно, не он, так как проблему КОД он понимал так же плохо, как и действительные проблемы реаниматологии. Автор (авторы) анонимки утверждали, что наш обзор литературы по проблеме КОД списан с работы английского аспиранта, опубликовавшего обзор в одном из английских анестезиологических журналов. Статья аспиранта увидела свет на несколько месяцев раньше. Но наша-то статья была послана в редакцию задолго до того, как в свой журнал обзор прислал англичанин. В отличие от нормальных журналов, в наших журналах дата поступления работ не указывается. Разумеется, как во всяком обзоре совпадали и многие цитированные авторы, и смысл этих пуб-

ликаций. Анонимка была полным бредом. Автор (авторы), например, в качестве свидетельства того, что наш обзор – плагиат, приводили пример: величина КОД – 25 мм рт. ст. у аспиранта и 25 мм рт. ст. в нашей статье. На заседании редколлегии пришлось отбиваться мне. Очень хотелось врезать по полной программе, но «у меня была семья», как писал Евтушенко о Галилее. Сын разрабатывал проблему КОД в абдоминальной хирургии, а всякий скандал в нашей стране обсуждается так: то ли он что-то украл, то ли у него что-то украли, но, в общем, что-то было. Неговский пытался что-то вякать на редколлегии, но, услышав, что величина КОД, равная 25 мм рт. ст., приведена в учебнике по физической и коллоидной химии для фельдшерских училищ, вынужден был замолчать. Не устроил скандала и я: у сына предстояла защита кандидатской диссертации. Ещё один компромисс в моей борьбе за истину о первооткрывателях науки об оживлении, начавшейся после выхода нашего учебника. Впрочем, через пару лет Неговский попросил меня взять в аспирантуру одну девицу. В аспирантуру её я взял, но научным руководителем сделал своего зама.

Мини-Лысенко

Роковую роль сыграла одна фраза. В главе учебника «Краткий исторический очерк» (и без того компромиссной) мне пришлось написать: «Нельзя не упомянуть о значительном вкладе в развитие реаниматологии В.А. Неговского и его сотрудников...». Сам-то я был убеждён тогда и убеждён теперь, что ничего, кроме вреда, он науке не принёс. Но вот его сотрудники – добровольные или силою обстоятельство вынужденные – действительно сделали очень много. Ведь именно в его лаборатории Н.Л. Гурвич первым в мире доказал возможность восстановления остановившегося сердца с помощью непрямого массажа и дефибрилляции сердца – основы современной реаниматологии. Сам же Неговский только повторил оживление человека с помощью нагнетания в артерию крови под давлением. Способ этот был придуман и осуществлён в эксперименте патофизиологом Ф.А. Андреевым, а 16 декабря 1939 года белорусский военный врач Иван Антонович Берилло оживил этим методом человека.

Потом много врачей-хирургов оживляли этим методом, а во время Великой Отечественной войны, в её первые страшные годы, первым оживил раненого солдата Борис Васильевич Петровский. У хирургов, оперировавших и оживлявших во фронтовых госпиталях, времени на писание статей и тем более книг не было.

Только уже после разгрома фашистов в 43-м году под Курском раненого в тыловом госпитале оживила бригада Неговского. И он написал об этом книгу. И книгу прочитал усатый и задал один вопрос: «Видел ли оживлённый солдат Бога?». Говорят, что ответ был: «Нет, не видел». И Неговский получил премию, кажется, имени усатого. И получил лабораторию.

В своей первой книге автор всячески возвеличивал первооткрывателей – Ф.А. Андреева и И.А. Берилло. Но в последующих его монографиях имена первооткрывателей исчезли. И теперь даже многие профессионалы убеждены в «приоритете» Неговского.

Но я ведь писал учебник. Поэтому полез в первоисточники. А одним из первоисточников было личное дело В.А. Неговского, так как лаборатория «по проблемам восстановления жизненных процессов при явлениях, сходных со смертью», коей он руководил до войны, входила в состав нашего института. Я лежал дома с загипсованной голенью – переломом двух лодыжек. Попросил моего сотрудника Юру Рагозина принести мне из архива материалы по этой лаборатории. Таковых не оказалось. Вместо этого он принёс мне личное дело Неговского. Наверное, те, кто получил доступ к архивам ЦК и КГБ, испытывали шок. Испытал его и я. В личном деле был приказ 1941 года об исключении Неговского из партии. Во время исхода из Москвы в октябре 41-го Неговский вывез не научные приборы, а вместо них личные запасы продовольствия. Думаю, что так поступил не он один. Но, будучи хромым, он не был ни репрессирован, ни лишён лаборатории. Наоборот, написал и защитил диссертацию (диссертации), а после выхода лауреатской книги не только восстановлен в партии, но и попал в обойму и стал подручным лысенков, бошнянов, лепешинских.

Вот фрагмент из статьи Б. Малкина (нашёл в Интернете) о заседании, на котором травил академика Штерн: «Вторым, весьма темпераментно, выступил Неговский. Речь его вскоре перешла в крик и напоминала истерический припадок. Он обвинял Штерн в низкопоклонстве перед западными учёными, в космополитизме. «Прежде всего, – сказал Неговский, – я хотел бы остановиться на вопросе о низкопоклонстве... Первым примером исключительного низкопоклонства и антипартийности Штерн и её сотрудников является сборник «Проблемы биологии и медицины», посвящённый 30-летию научной деятельности Л.С. Штерн. Сборник был издан в 1935 году». В зале раздался громкий смех, но остановить Неговского (в руках у него был сборник, и он размахивал им как саблей) было уже невозможно. Он продолжал: «Что в этом сборнике? Здесь 690 страниц. Сколько же страниц напечатано по-русски? 90, а 600 напечатано на немецком и французском языках... Сборник издан в Москве, на советские деньги...». Далее Неговский остановился на том, что Штерн в работах по физиологии развивала химическую теорию сна и не указывала на работы И.П. Павлова. Это послужило основанием для заключения об антипавловском направлении работ Штерн: «Мы никому не позволим ни скрыто, ни прямо ревизовать Павлова». В заключение Неговский утверждал, что Штерн – сторонница морганистско-вейсманистских, антимарксистских концепций, так как она в одной из популярных брошюр отмечала решающее значение для нормальной жизни клеточных структур непрерывного обновления и очищения окружающей их среды. (Ранее эту мысль высказывал И. Мечников.) Штерн писала: «Прежде всего остановимся на вопросе, является ли смерть общим

законом для всего живого». Вырвав эту фразу из текста брошюры, Неговский заключил: «По Энгельсу является, по Марксу является. Штерн же развивает концепцию Вейсмана о вечной зародышевой плазме, т.е. она считает, что не является».

Аналогично его выступление и на «мичуринской сессии» Академии медицинских наук.

Бог бы с этим. Сказано в Евангелии: «Кто без греха, пусть бросит в него камень». Я бы и не бросил. Уж больно противно писать об этом микролысенко. Но Неговский десятилетиями насаждал единственный «научный» метод оживления, как насаждали и единственный метод анестезии – местное обезбоживание – внутриартериальное нагнетание крови. И только он виновен в том, что метод закрытого массажа сердца, разработанный в его лаборатории, хоть и не им, а Наумом Львовичем Гурвичем, был «открыт» и внедрён в практику за железным занавесом.

Все это я высказал пришедшему ко мне парламентёром Саше Гурвичу. Он был во многом обязан Неговскому, приютившему его в годы государственного антисемитизма. Александр Гурвич сполна оплатил эту милость, став тайным идеологом этого коллектива. Я пошёл на компромисс: во втором издании учебника написал о вкладе лаборатории, а теперь Института общей реаниматологии в проблему оживления (мне больше нравится русский термин). Я не покривил душой, так как в институте был ведь не только руководитель, коего я не уважал, но были и другие сотрудники – настоящие учёные. Жаль только, что их вклад в эту специальность занесен под другим именем. И эти строки я пишу в надежде, что кто-то «пыль веков от хартий отряхнет, правдивые сказанья перепишет».

А караван идёт

Трёпка нервов – трёпкой, но нужно было выхаживать больных, заканчивать монографию по нейроанестезиологии, читать и править диссертации сотрудников, консультировать самых тяжёлых больных с поражениями головного мозга по всей необъятной территории нашей страны – от Мурманска до Кушки и от Бреста до Магадана.

Часто я ездил с выездной бригадой кафедры анестезиологии и реаниматологии ЦИУв (Центральный институт усовершенствования врачей). Возглавляла её одна из самых загадочных женщин нашего медицинского мира – Елена Дамир. Была она в молодости блестящим хирургом. Потом её бывший шеф (любовник?) уступил ей эту кафедру, а она создала великолепный коллектив, действительно сеявший «разумное, доброе, вечное». Я долго домогался её взаимности, но был отвергнут по той причине, что она «еврейской нацией не порчена». Кроме этого недостатка – отказа от моего ухаживания – у неё была масса и других «пороков»: она допускала непарламентские выражения, охрип-

ла из-за множества лекционных часов и... перемиывания косточек друзей. В её охотничьей сумке были скальпы многих побеждённых мужчин.

Вот эта амазонка ежегодно, в середине июня, в пятницу (дабы загулять можно было не боясь опоздать на следующий день на работу) устраивала день открытых дверей. Это был её день рождения, на который приходили её коллеги – врачи и медсестры Москвы – человек 200, а может, и больше. Гуляли на даче, в одном из самых прекрасных мест Подмоскovie. Дача принадлежала её отцу – одному из последних настоящих профессоров – красавцу в пенсне. Праздник проходил на улице (ни разу не было дождливой погоды). Накрывались деревянные столы. Питья хватало, так как в качестве подарков обычно привозили разнообразные вина, коньяки и водки (было это до «лигачевской эры»). Рассаживались так, как кому хотелось. Но всё же 1 (один) стол был «профессорский». Вспомнить молодость приходили старые профессора, лауреаты всяческих, и даже Нобелевской, премий – П. Л. Капица.

Кстати, о Капице. Его сын Сергей – он всегда бывал на этих тусовках – пару лет назад горько сетовал в «АиФ» и на ТВ об ужасах современной жизни. О беспризорниках и нищих (вот, Дзержинского сбросили с пьедестала, а он заботился о детях), о том, что «новые русские» не жаждут общаться с аборигенами, коим он является, Николиной горы. Я написал ему письмо. Ответа не получил. Вот выдержки из этого письма:

«1. Сам вопрос о том – вернула ли бы жёсткая власть «на место» памятник Дзержинского? – свидетельство чуждой любому нормальному человеку идеологии. Полагаю, что настоящий учёный – Эйнштейн и Петр Капица, Бор и Сахаров – ответил бы так: место любого палача – Малюты и Торквемеды, Джугашвили и Шикельгрубера – на помойке, а не в центре столицы России.»

Чекистам нужны были кадры, и они их успешно готовили из молодёжи [ленинский призыв в ВКП(б)], из садистов типа Лёвки Задова и генерала Слащева. Ещё удобнее было зомбировать детей. Это ведь были дети не уголовников и алкоголиков, а золотой генофонд – дети лучших людей России – рабочих и крестьян, разночинной интеллигенции и дворян. А сегодняшние беспризорники – дети маргиналов – того генетического «отбора», который совершили Дзержинский и его наследники.

Да и объективная картина не такая мрачная. Не знаю, как Вы, а я в 95% (биологическая достоверность) случаев перемещаюсь городским транспортом: на метро (не люблю), на троллейбусе и автобусе (терпимо), на трамвае (замечательно), на электричке (ужасно). Нищие в транспорте – профессионалы. Их заработок (сам видел, как они подсчитывали барыши) больше моей пенсии и мизерных гонораров за мои книги.

2. Неправда, что мусульманство «не допускает нищеты». В те «баснословные года» мне довелось с вашей родственницей – Леной Дамир – читать лекции в среднеазиатских республиках. Тогда в столице нищих не было видно. Их просто выслали в места отдалённые. А вот в этих республиках – Узбекистан и Таджикистан, Киргизия и Туркмения – их было больше, чем в послево-

енные годы на железнодорожных станциях (в 46-м году, после войны с Японией, мне довелось 10 суток добираться в отпуск до Москвы из Владивостока).

Бомжи – это тот же искалеченный за годы советской власти генофонд. Это следствие уничтожения науки, создававшейся великими русскими учёными Кольцовым и Серебровским. Да и вообще генетики.

3. Вам повезло: Ваша дача находится на Николиной горе. Мне повезло меньше: за 57 (а теперь – за 59) лет после Победы я – ветеран Великой Отечественной войны (Балтика, Тихий), д. м. н. – с 1964 г. и профессор – с 1967 г. не смог получить даже 6 соток в приличном месте. Да что я! Анна всяя Руси с огромным трудом получила «будку» в Комарово. Да и то ей постоянно грозили выселением (см. Л.К. Чуковская). Да и почему кто-то должен предписывать кому-либо – иметь ему забор или не иметь? «Тишины я хочу, тишины! Нервы, что ли, обнажены?» Зря вы обижаетесь на людей, которые наверняка заняты своим делом, и «пассажиры I класса» (вспомните рассказ А.П. Чехова) для них на одно лицо. Вы ведь не Алла Пугачева, даже ежели относитесь к публичным людям.

4. Вы пишете: «Простой человек не попадёт в игорный дом». Попадёт. Достоевский не был богатым. И Германн тоже. Да и мы с супругой – люди самого нижнего уровня среднего класса. А волею случая – были. Я не был в гостях у катарского эмира, как Вы. Но был в гостях у очень богатых людей во Франции (75-й год) и в США (после 88-го года). Разные они, богатые. Есть действительно блюдущие протестантскую мораль, кстати, осуждаемую иерархами в золотых одеждах нашей Православной Церкви. Видел и демонстрировавших роскошь. Довелось ездить на лимузине длиннее, чем подаренный Киркоровым супруге. И... «Не судите, да не судимы будете». Зависть – смертный грех.

У нас с супругой нет ни акций, ни «фикций». Есть наши пенсии, есть наши дети и мои ученики. Но мы счастливы, что дожили до главного – свободы выбора.

Но вернусь на Николину гору. В один из дней её рождения я решил отличиться, заготовив песенный тост на мотив и темы знаменитой «Нинки» Высоцкого. Мы с приятелем немного опоздали и прибыли, когда гости уже были подшофе. Наше появление, как положено, было встречено требованием распития кубка «Большого Орла» и тоста. Не сориентировавшись, став лицом к профессорскому столу (там сидела хозяйка), я спел следующий опус.

Публикуется в сокращении:

Я тринадцатого, в пятницу,
Оторву от стула задницу,
Раз у Ленки день рождения –
К ней приду на угощение!

Сегодня вы меня не пачкайте.
Другие девки мне до лампочки,
Всегда хочу одну лишь Ленку я.
Пусть получу под зад коленкую.

Постой, чудак, она же точно
Еврейской нацией не порчена,
Постой, пускай она завкафедрой.
А ведь ругается всё матерно.

Так 20 лет меня ругают
И все о том предупреждают,
Но пусть, как Нинка, что наводчица,
А мне ещё сильнее хочется.



Это не на даче у Лены Дамир, а в 1983 году в ресторане «Прага» на 30-летнем юбилее 1-го выпуска Рязанского мединститута: «Дадут вторую жизнь, мы всё начнём сначала!»

(форель)! Каков аромат вод Лагидзе в сочетании с тающими во рту хачапури по-аджарски в моём любимом Тбилиси!

Робинзон Крузо

И консультации, и лекции были нужны. Но главным был всё же мой отдел. А в нём – кадры, которые, как известно, решают всё. «Затыкание» дыр в первые годы – брал на работу любых врачей, лишь бы соглашались «вкальывать» в непрестижном и малоодоходном отделении – увеличило «баланс». Ищите и обрящете (было бы время!). Переманивал из других клиник. Неинтеллигентно, но совесть успокаивал, что «не корысти ради...», а только для пользы больных. Пытался переманить из Русаковки Олю Полякову. И сама заменяет дюжину даже просто хороших врачей, и с ней удавалось протащить Лёню Глазмана. Препятствием был его 5-й пункт. Но отказать в приёме тандему «Полякова – Глазман» не мог даже партийный босс Гасанов. Скрипя, пропустили. Ольга, в конце концов, отказалась, но Леонид был зачислен. Вскоре стал «в авторитете», а потом, уже после моего ухода, – «в законе»: он главный врач института.

Уже в середине я понял, какой я со-творил «пук». Но всё же «поздравление» допел до конца. Воцарилось гробовое молчание по типу немой сцены в «Ревизоре». Но что значит старая школа российской интеллигенции! Отец именинницы, смотря на меня через пенсне как на пустое место, громко и чётко, лекторским баритоном заключил: «Леночка, я полагаю, что в присутствии глубокоуважаемых профессоров петь такие песни неприлично».

Больше я никогда, даже после смерти отца хозяйки, не ездил на эти праздники, но продолжал ездить с ней на выездные сессии. Надежда умирает последней.

Полёты на консультации и чтение лекций всегда заканчивались одним: родные больного или наши коллеги «накрывали стол». Ах, какую строганину я ел на Колыме! Каким пловом нас угощали в Гарме (предгорье Памира, где в конце века шли бои)! Как вкусен севанский ишхан

Увы, большую часть времени отнимали неотъемлемые глупости наших НИИ – громадьё планов, отчётов, партийных и профсоюзных собраний, политинформаций и политзанятий. Приходилось присутствовать, маскируясь в задних рядах, чтобы читать и писать хотя бы «рыбу» своих работ. Я уж не говорю о повседневной текучке: вечной нехватке мест для больных (ежедневно в институте, включая пятницы, оперировали от 12 до 20 больных!), вечной нехватке сестёр (в плановых отделениях работать было значительно легче, чем в нейрореанимации), вечном дефиците необходимых медикаментов, растворов и крови. Всего не перечислить. Наш институт и, особенно, наше отделение ничем по дефициту не отличались от всей страны.

Я устал. Сегодня, отвечая на вопрос, почему же я ушёл на пенсию ровно в 60 лет, я начинаю мямлить о расхождении по принципиальным вопросам с дирекцией, о несогласии с «презумпцией согласия», о перекрытом запасном выходе из отделения, об отключении кислорода. На самом же деле я выдохся. Воздух ушёл, как говорят, «на свисток». И я за 5 лет до пенсионного возраста начал зачёркивать в календаре отработанные дни.

Даже тогда, когда я уходил в свой последний двухмесячный отпуск 24 августа 1986 года и уже подал заявление об увольнении, это было сочтено моим очередным «взбрыкиванием». Но сделал я это на трезвую голову, после долгих и мучительных раздумий и подготовки плацдарма для отступления.

18 лет после

В день своего рождения я не вышел на работу в институте, а пришёл в поликлинику УХЛУ, в которой уже лет 10 консультировал ежемесячно 12 больных (на дому). Единственный человек, поддерживавший меня, была моя жена. Для мамы мой уход с профессорской должности в престижном институте в поликлинику был ещё большей глупостью, чем мой уход в армию в 43-м году.

Но я-то и не думал расставаться с институтом!

Отлучение

Я собирался остаться профессором-консультантом. Но не в своём отделении, а в отделении нейротравматологии, коим руководил мой ученик, тогда ещё кандидат, а теперь тоже кандидат, но уже в действительные члены медицинской академии (теперь действительный член двух академий – РАН и РАМН!). Много лет назад, когда нужно было «укрепить» нейротравматологию, я оторвал его от сердца и бросил на оголённый участок фронта. Честно говоря, очень я хотел бы закрыть этот участок сам (всё же хирургия!), но тогда нужно было бы получать так называемый «доступ»: нейротравматология связана с разработками для войны. Кто знает, может быть, я бы сейчас разделил участь с Пацко? А я дорожил и дорожу свободой. В пределах её максимальных возможностей в моей стране.

Я мог бы остаться консультантом в своём отделе. Но я был убеждён тогда и убеждён сейчас, что это только вредит делу. Мифы о том, как хорошо было при предыдущем начальнике (вожде), живучи. У Юрия Олеси была такая пьеса – «Список благодеев». А вот перечень совковых благодеев (мифов), опубликованных в «АиФ» (слева). А справа – мои реплики, которые были посланы в эту газету, но, разумеется, опубликованы не были.

МИФ

Сплочённость, стремление к общей цели, вера в то, что «завтра будет лучше», а «государство о нас всегда позаботится».

Всеобщая занятость, небольшая, но стабильная зарплата и пенсия. Освоение казахстанской целины и месторождений нефти и газа в Сибири, строительство новых городов и заводов. Рекордное производство чугуна на душу населения, создание конкурентоспособного оружия (танк Т-34, автомат Калашникова, межконтинентальные ракеты, самолёты МиГ и Су, «Катюши», «Грады»). Дешёвые продукты (водка – 2 руб. 87 коп., колбаса – 2 руб. 20 коп.).

Бесплатные: жильё, здравоохранение и образование, отдых в профсоюзных здравницах. Детсады и пионерские лагеря, отсутствие массовой наркомании, проституции.

Покорение космоса, достижения в области прикладной математики, химии, ядерной физики, создание лазера и проч.

ПРАВДА

Миллионы эмигрантов, миллионы властителей (ни в одной оккупированной фашистами стране такого не было!), миллионы кухонных диссидентов и миллионы политзаключенных.

Мина экологической катастрофы, урожай – один раз в 7 лет, закупка зерна за рубежом (это в России!). Ненужный вал. Низкое качество стали. Дерьмовые легковые автомобили. Жизнь за счёт истощения недр – нищета будущей России. Ликвидация идеи князя Голицына о замене крепких напитков хорошим лёгким вином. Очереди за хлебом, за куревом, за той же водкой.

Хирургия под «крикаином». Исключение из партии «за пропаганду буржуазных методов интратрахеального наркоза». Ни одной нобелевской премии по медицине. Пионерская организация и пионерские лагеря – полигоны для воспитания вертухаев, сексотов, пушечного (точнее «ракетного и фугасного») мяса для Афгана, Анголы. Анаша в Среднеазиатских республиках. Девочки по вызову для комсомольской элиты. Гостиница «Юность». Коммуналки, бараки, оптимум – хрущобы.

Да разве же американцы должны были высадиться на Луну? Если бы не разогнали ГИРД, не убили Лангемака? Не изуродовали Королёва?

МИФ

Лучший в мире балет. Высокое качество музыкального образования, советская композиторская и исполнительская школа (С. Прокофьев, Д. Шостакович, Д. Ойстрах, Л. Коган, С. Рихтер). Новаторство в театре («Современник», «Ленком»). Любимое народом кино. Телевидение без порнографии, насилия и рекламы. Огромные тиражи литературы; «СССР – самая читающая страна в мире».

Видимость отсутствия межэтнических конфликтов, смешанные браки. Всесоюзная помощь братским республикам в ликвидации последствий катастроф. Дни национальной культуры, создание национальной письменности ряда малых народов.

СССР – одна из двух супердержав с мощной армией и ядерным щитом. Его боялись во всем мире.

*(«Аргументы и факты»
№ 45, 2001 г.)*

Таковы и мифы «местного значения». Волей-неволей новый руководитель, особенно если ученик, будет искать одобрения (или неодобрения) своих действий учителем-консультантом. Поэтому в 1985 году, за год до моего ухода, я начал готовить руководителя своего отделения. Им должен был стать и стал Эдуард Борисович Сировский (уличная кличка – Эдик). Был он талантлив, контактен, уважаем и любим (в отличие от меня) большинством сотрудников не только нашего отдела, но и всего института. Ровно год и в 08:15, и в 13:00 обход делал он, а я, стоя за спиной участвующих в обходе, молчал, даже тогда, когда Эдуард

ПРАВДА

Благо до 17-го года в России были Петица, Иванов, Фокин, Горский! Можно было их наследие эксплуатировать и ещё лет 10. Но разве такой бы был наш балет, если бы не вынуждены были эмигрировать Фокин и Бенуа, Балачин и Нуриев, Барышников и Годунов? Неужто России мешали Рахманинов, Стравинский, Шаляпин?

На одного «Ивана Грозного» сколько бездарных лент? Миллионные тиражи? Макулатуры протоколов съездов, кожевниковых, грибачёвых и «киже» с ними. Росли поколения, не знавшие «Нагорной проповеди». Да все эти исаевски-кумачевские вирши не стоят одной «Поэмы без героя», одного «Театрального романа», одного «Доктора Живаго», одного «По ком звонит колокол».

Когда распалась Британская империя, то даже в Индии английский язык остался языком общения. А у нас даже Татарстан мечтает перейти на латиницу. Дали язык малым народам? И сполнили их.

Так и Бен Ладена боятся. И серийных убийц. Мощная армия? Это ежели против чехов и венгров. Стыдно, но не такова она в Афгане и в Чечне. Я не о солдатах и ротных. Да и наши потери в 41–45-м гг.!

говорил явные глупости (по моему мнению). Потом, уединившись, мы разбирали его обход. Так что Эдуард был готов принять «пост у знамени», а я мог уйти «на свободу с чистой совестью».

Но для того чтобы на законных основаниях работать в этой поликлинике, я должен был не только отдать туда трудовую книжку, но и стать на партийный учёт. Без санкции партийной организации оформить меня даже в поликлинику (топ-секретность!) не могли.

Пришлось сняться с партийного учёта в институте. Траурный митинг состоялся в партийном бюро. Вздыхал партийный секретарь, вздыхал мой ученик – его заместитель, вздыхал мой друг – научный заместитель директора. Они выражали надежду, что я не разорву швартовы, связывающие меня с нашим институтом. Я клялся и божился в верности. Меня открепили. Я стал на учёт в поликлинике и начал осваиваться в роли консультанта не только на дому, но и на амбулаторном приёме. Вот тогда я по-настоящему понял разницу между работой в клинике и в поликлинике. Я мог располагать временем только тогда, когда я консультировал больных на дому. А в поликлинике моё время было жестко лимитировано: 20 минут на больного, трое больных в час, 9 больных за трёхчасовой приём. Задержаться я мог и задерживался. Но это могла быть лишь последняя троица больных. Первые 6 больных приходили в назначенное время. 20 минут на неврологического больного с оформлением хоть и краткой истории болезни, написанием рекомендаций и выпиской рецептов – нонсенс. Но таковы правила, по которым приходилось работать. И я учился этому. Не боги горшки обжигают.

Человек я обязательный. Поэтому в дни учёных советов, а их в институте два – рабочий и по защитам диссертаций – я не назначал ни приёма в поликлинике, ни консультаций на дому. Обычно мне или звонили, или присылали повестку (не в суд). Несколько раз я получил повестку на учёный совет по защитам. О назначенном заседании рабочего совета, на котором, кстати, должен был быть заслушан годовой отчёт, в том числе и о работе моего отделения, я узнал случайно, от моего «наследника».

Придя на заседание, я сообщил учёному секретарю, что не получаю повесток. И учёный секретарь в присутствии моего друга Фёдора ответил: «А.З.! Мы исключили вас из рабочего совета. Вы же и так неуправляемы, а теперь, когда вы снялись с учёта в нашей парторганизации...»

Я повернулся. Ушёл. И с тех пор в институте за 18 лет был 3 (три) раза. Пришёл попрощаться с замечательным нейрохирургом и ещё лучшим человеком – Сергеем Николаевичем Фёдоровым (это он спас Ландау). Я нанёс ответный визит директору института после его прихода ко мне. Эдуард не выдержал и пяти лет и в начале 90-х годов уволился. Наследника он подготовить не успел. Отделение разваливалось. Нужно было пытаться наладить его работу. Не убеждён, что мы тогда приняли правильные решения.

В третий раз я пришёл в 2000 году, когда в новом корпусе открывали новое, оборудованное с иглолочки отделение нейрореанимации.

Не пришёл я даже 25 октября 2001 года, когда в институте прошла конференция, посвящённая автору этих воспоминаний. Об условиях, на которых соглашался почтить её своим присутствием, я уже рассказал. Выполнить их было, увы, невозможно, так что юбилей мы отлично отметили дома в кругу родных, друзей, учеников и даже – благодарю ещё раз – Александра Николаевича Коновалова. Хороший всё же человек, не без доли сарказма, почти наглухо скрытого воспитанием.



Юбилей «на дому». Ученики и примкнувшие к ним А.Н. Коновалов и Э.М. Николаенко. Стоят (слева направо): к.м.н. А.Ю. Островский, проф. Э.М. Николаенко, академик А.Н. Коновалов, к.м.н. А.М. Сафин, к.м.н. Л.Ю. Глазман, чл.-корр. РАМН (теперь академик обеих академий) А.А. Потапов, к.м.н. (теперь д.м.н.) С.В. Мадорский. Сидят: 75-летний юбиляр, проф. Э.Б. Сировский, проф. С.А. Маркин.

(Прошли годы, и теперь я снова прихожу в институт, увы, не всегда по научным проблемам: чаще, когда спасают мою жену).

Носитель **СПИДа**

У Маяковского: «Выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни...». Меня – в район Измайлова. Надо было по-настоящему вживаться в поликлиническую жизнь. Через месяц я структурировал контингент больных. Больных с корешковыми синдромами я знал превосходно (на себе изучал) – врачу: «Исцелился сам!» Больных с нарушениями мозгового кровообращения я лечил в институте ежедневно. Хуже было с лечением последствий таких на-

рушений. Извечный вопрос: что делать? Ульянов ответил: «Учиться, учиться, учиться!» И я начал учиться. Тем более что теперь свободного времени было более чем достаточно. Засел в библиотеку. В новую, не на площади Восстания (ныне – Кудринская площадь, как во времена моего детства), а на Профсоюзной. «Профессорский» читальный зал сузился до одной не очень большой комнаты. Лимитирована выдача – одновременно только три названия. Да и ждать часами. И, увы, не мои «старухи» той старой библиотеки, как я называл их, подражая Светлову, а воплощение образов гестаповок из наших фильмов. В зале был телефон. И хранительница зала прокурорным баритоном обсуждала с бесчисленными подругами проблемы: где и что дают? Работать можно было только в те счастливые минуты, когда надзирательница уходила курить или... Однажды я услышал, как она приглашала кого-то: «Пошли хавать».

Работать в этом зале было невозможно. Уходил в общий зал, а чаще – в зал периодики. И, как поётся в любимой песне детства: «Кто ищет, тот всегда найдет».

Я натолкнулся на любопытную статью поляков. Они писали о том, что слабоумие может быть вызвано СПИДом, что какая-то знаменитая (для них, не для меня) певица Мадонна дала благотворительный концерт в память своего друга, умершего слабоумным от этого заболевания. Попался на крючок. Начал изучать СПИД. Увлёкся. Написал обзор. Случайно от одного из самых остроумных и порядочных людей в нашей профессии – от Виктора Николаевича Цыбуляка – узнал, что нести его нужно не в какой-нибудь журнал, а в Общество «Знание». Знакомые у Виктора – он был лучшим специалистом по аку- и другим пунктурам – были везде – от Москвы до Кубы. Коллективу этого общества я прочитал «пробную» лекцию. Удовлетворил чисто женский коллектив (только лекция!) и начал ездить по городам и весям нашей необъятной Родины. Это было необременительно. Платили за лекцию немного, но профессору полагался билет в вагоне СВ, а в пункте назначения прочитывалось несколько лекций. К тому же на периферии можно было найти книги, кои я не мог приобрести и в Москве.

Читал везде: в медицинских училищах и в обеденный перерыв – на шахтах Донбасса, в каких-то райкомах и горкомах, и в школах. Была одна организационная трудность: место, дни и часы лекций назначал не я и даже не центральный офис. Это определялось запросами с мест. Очень часто «бутерброд падал маслом вниз» – время и место совпадали с днями моего приёма в поликлинике. А это вам не справка о том, что я «нигде не учусь и не работаю!» Нужен был больничный лист. Иногда удавалось. Благо, в моём анамнезе был и сломанный позвоночник, и туберкулёз.

Я бы читал эти лекции долгие годы, а может быть, кто знает, и переквалифицировался на «спидолога». Но по мере расширения географии и количества слушателей в центральный офис стали поступать письма трудящихся о моей подрывной деятельности, разрушающей основы морали строителей коммунизма. Как известно, секса в нашей стране не было. Да и СПИДа ведь не было. В 1987 году, когда я начал читать лекции, был один больной! Рассказывать же о СПИДе без секса у меня не получалось. Да и было противно выслушивать

нотации уже не девушек, выписывавших командировки, а власть имущих этого общества. Плюнул. Ушёл. Борьба с глупостью мне надоело и в институте.

Чем закончилось это «отсутствие» СС (секс и СПИД) в нашей стране, известно всем. Но не мог я тогда предположить масштабов этого бедствия.

Я — гомеопат

Долгие годы гомеопатия в нашей стране проходила под реестром лженаук, как генетика, кибернетика и прочие бяки. Уж не помню почему, но, ожидая поступления заказанных книг по проблемам СПИДа, я наткнулся на какой-то гомеопатический журнал. Разумеется, не наш. Французский. Используя остатки моего бытия во Франции – до поездки три недели изучал французский язык по какому-то болгарскому методу! – я пролистал журнал. Французские врачи – люди нехорошие: они часто пользуются не латинской, а своей терминологией. Стало обидно. Поискал журнал по гомеопатии на английском языке. Читал до закрытия библиотеки, так и не взяв заказанных книг.

И на следующий день стал искать заведение, в котором можно было бы обучиться этой лженауке. Был уже конец 87-го года прошлого века. Гомеопатия вышла из подполья. Появились какие-то курсы. Разумеется, платные. Выбирать пришлось наугад. Даже великий фармаколог Михаил Давидович Машковский посоветовать не мог, да и мало верил в её методы. Выбрал по местоположению – в здании МГУ. Прямая дорога от моего дома на 34-м троллейбусе. Три месяца, не пропустив ни одного дня, ни одной лекции, практически стенографируя оные, я учился на этих курсах. Сравнить их мне не с чем. Но фундамент они заложили.

Я начал использовать гомеопатические препараты. Их выбор оказался труднее, чем выбор привычных мне медикаментов. Некоторые больные даже избавлялись от хронических недугов. Но лучше всего я помогал собакам и кошкам. Узнав о моём хобби, мои друзья, владельцы оных животных, названивали и настойчиво требовали избавить кошечку от перхоти или собачку от паралича задних лап. Мой печальный опыт в студенческие годы общения с овчарками стал «внутренним цензором»: консультировал я только по телефону, избегая непосредственного общения (с животными, не друзьями!). И, к удивлению моему и сына, коего я увлёк и в человеческую, и в ветеринарную гомеопатию, животные поправлялись.

Разумеется, я провёл глубокую литературную разведку. Обнаружил непаханую целину с небольшими оазисами. Как всегда, решил облагодетельствовать и человек, и их братьев меньших. В конце 80-х годов прошлого века литература по гомеопатии в нашей стране была дефицитом. Планов громадьё реализовалось в тощенькую брошюру нашего наибольшего гомеопатического опыта – лечения кожных болезней у кошек и собак. Созданию монументального руководства помешали Чазов, США и издательство «Медицина».

На вольном хлебе

Министром здравоохранения в 1988 году стал Чазов. Не знаю его как врача, судя по тому, как в его шикарном институте лечили моего ученика, организатор он отменный. Но его преобразования вышли, по крайней мере мне, боком. Новый министр издал приказ, по которому консультанты в УХЛУ (расшифровку – см. выше) приравнивались к обычным врачам. Нужно было отрабатывать все 160 часов в месяц, т.е. ежедневно по 8 часов. На х... козе баян?

Немедленно из этих поликлиник ушла профессура. Ушёл и я, став «частно- (и честно!) практикующим» врачом. Разрешение нужно было получить от районного медицинского начальства по месту моего официального местожительства. На удивление разрешение было получено не более чем через пару месяцев. Но зато я полной мерой ощутил прелесть общения с налоговыми органами. Человек я дисциплинированный, поэтому немедленно разыскал эту организацию. Общаться мне пришлось с совершенно очаровательной миниатюрной женщиной. Мои попытки завязать дружбу – видит Бог, не для уклонения от налогов – потерпели полное крушение. Она была официальна и строга. Я выполнил все указания: завёл тетрадь учёта больных, их адресов, сумм гонорара и... диагнозов. Мои попытки объяснить, что тем самым я нарушаю врачебную тайну, оказались безуспешными. К счастью, среди моих больных не оказалось ни сифилитиков, ни страдающих гонореей. Больных эндогенной депрессией я фиксировал под термином «акцентуация характера астеноневротического типа». Обошлось.

Мама опять переживала. Её не утешало даже то, что мой заработок увеличился на порядок. Но ведь у меня не было «оклада жалованья» – неперменного атрибута благополучного советского человека.

А я получил, наконец-то, почти полную свободу. Больные выбирали меня, передавая по цепочке, но и я выбирал и больных, и удобное для меня время визитов. Неудобства были. Я честно информировал своих пациентов, что мой рабочий день начинается в 07:00, а заканчивается в 22:00, когда выключается телефон. Иногда выключать телефон забывал. Забывали и мои пациенты. Обычно звонок раздавался в полночь. Обычный вопрос: «Лекарство купил. Принимать его до или после еды?» Утверждаю, что ни разу я не забыл, расписывая назначения, указать время и способ приёма, включая метод использования лекарств per rectum. Увы, среди моих пациентов большинство страдало атеросклеротическими поражениями сосудов головного мозга. Но, как говорил Элья Исаакович Маргарите Прокофьевне: «Каждый человек имеет свои неприятности...». Это было терпимо. Бог терпел и нам велел.

Америка, Америка!

Весной 89-го позвонил Витя Саломоник. Мой коллега. Прекрасный анестезиолог-реаниматолог, работавший в нейрохирургии Боткинской больницы. Попросил о свидании на «нейтральной территории». Объяснить причину столь таинственной встречи отказался. Анекдот того времени: телефонный звонок: «Читал сегодня «Правду?» – А что там? – Это не для телефона». Встретились с Витей в Доме учёных. Посидели. Попили кофейку. Благо, там он ещё был. Под столиком Витя передал мне письмо. Мой бывший сотрудник, эмигрировавший в 76-м году в США, приглашал меня прочитать лекции по нейроанестезиологии в Южно-Калифорнийском университете. Оплата на месте. Витя с супругой через несколько дней уезжал туда на ПМЖ (постоянное место жительства). И моё благосклонное согласие на просьбу принимающей стороны было передано. К октябрю и консул США понял, что только мои лекции остановят деградацию здравоохранения в его стране.

Дело было за малым: наша великая страна к этому времени резко сократила обмен рублей на их зеленеющий от стыда за свою капиталистическую страну доллар. А на наши кровные билет можно было купить только на рейс «Москва – Нью-Йорк». Выручили, как всегда, мои боевые подруги из «Медтехники». Они мобилизовали какого-то фирмача, который оплатил мне билет «Нью-Йорк – Лос-Анджелес», и договорились с подругами, работавшими тогда в ООН, что они встретят и примут меня на несколько дней в Нью-Йорке.

Долетел. Встретили. Привезли в арендованную на Манхэттене комнату в двухкомнатной квартире (\$1000 за каждую комнату!). Хозяйка, оставив ключ, мгновенно убежала на работу. Это было первое, но не последнее, запечатлённое отличие США от моей родины. Какой настоящий москвич бросит компатриота в первый день приезда? Да гори она – работа – ярким пламенем! Уж Красную площадь, уж Большой театр, уж ГУМ, ЦУМ, могилы Есенина и Высоцкого москвич бы показал!

Так и в день отлёта из Лос-Анджелеса мой друг дико извинялся, что не может меня проводить в аэропорт. Он организовал и оплатил провожающего, но сам, как всегда, в 05:30 отбыл на работу.

Что ж, язык, даже мой «пиджин-инглиш», довёл меня до музея Гугенхайма, а потом до «Метрополитен-музея». Я не заблудился. Я увидел то, что мечтал увидеть: невероятно удобный для осмотра музей Гугенхайма. Но уж импрессионистов в нашем музее изящных искусств было больше, а уж наш Матисс, наш Марке, наш Гоген «забьёт Мике баки» ихним. В общем, за три дня в Нью-Йорке я понял, что это очень хороший город, но моя Москва удобнее и лучше (для меня!). Небоскрёбы меня не поразили, наверное, потому что я и в жизни-то редко задираю голову. Обычно смотрю прямо, а теперь чаще под ноги.

Не поразило и не вызвало чувства зависти (мы и во Франции бывали!) изобилие всяческих благ, хотя я приехал из нашего 89-го. Денег у меня всё равно не было. Хорошо хоть в рестораны меня сводил мой московский коллега Герман Липовецкий. Мы редко встречались с ним, когда он жил в Москве, но его сын учился в одном классе с моим сыном. Герман встретил меня так, как будто я был родным братом его кровной четвероюродной сестры. Какими хрустящими «шримпами» он угощал меня в ресторане над Гудзоном! Как лихо он провёз меня по всему Нью-Йорку (кроме Гарлема)! И уж совсем по-родственному разорился, купив мне лучший по тем временам «видак».

Но он-то и дал мне второй урок различия наших менталитетов. В подарок Герману я вёз, отрывая от сердца, однотомник в мягкой обложке избранных, самых-самых, перестроечных статей. Как мне хотелось, чтобы Герман почувствовал ветерок свободы. Увы, Герман даже не раскрыл этот эпохальный том, сказав: «Лёха, у меня нет времени даже для чтения специальной литературы. Я даже наши (он имел в виду американские) газеты читаю по диагонали, и то – только по воскресеньям».

Миссионер

На самолёт в Лос-Анджелес мои хозяйки проводить не смогли. Добрался сам. Ночной рейс. Сна ни в одном глазу. Начался мандраж. Всю ночь готовился к лекции. Представлял, как я в огромной аудитории, ну минимум Политехнического музея, с непринужденностью Станислава Долецкого буду учить их современной анестезиологии-реаниматологии. Поймут ли? Не слишком ли сложные те глубинные философские проблемы саногенеза, коим я тогда увлекался?

«Только прилетели, сразу сели». Встретил нанятый провожатый. Довёз до собственного (!) дома (не провожатого) моего бывшего сотрудника. Его тёща приютила, накормила и уложила спать, не пустив меня немедленно осуществлять свою великую просветительскую миссию. Поздним вечером появилась супруга владельца дома, а потом и сам хозяин. Усталые, как после двух суточных дежурств. Как и немосквичи вовсе. Даже не перемыли косточки всем нашим общим московским знакомым. Душу отвели только в воскресенье.

Мои попытки узнать о дне и часе начала моей миссии оказались безрезультатными. Было заявлено, чтобы я не торопился. Мои заверения, что моё присутствие в Москве в этот переломный момент истории абсолютно необходимо, что я должен к 1 января 1990 года сдать в издательство свою часть учебника для медсестёр, успеха не имели.

Сработал аргумент еврейского менталитета: 9 ноября, т.е. через 12 дней, моей маме исполнялось 85 лет. Если возвращаться через Нью-Йорк, на миссию остаётся не более недели. На следующий день секретарь Володи – ах, какая рыжеволосая Нана! – организовала изменение билета на «Лос-Анджелес –

Москва». Полагаю, что только для того, чтобы я мог выполнить сыновний долг, авиакомпания «Пан Ам» и организовала этот рейс. На том и разорилась. Правда, не сразу.

Дни бежали. Я мандражировал. Даже тогда, когда наслаждался чудесами Санта-Моники: огромными пустынными и вычищенными пляжами, чистыми туалетами на них с десятками рулонов туалетной бумаги, которые никто не брал на память, бомжами над пляжами, кайфовавшими под калифорнийским солнцем в ожидании бесплатных обедов, доставляемых специальными авто. А миссия откладывалась и откладывалась. Я уж и перестал вопрошать, боясь, что меня заподозрят в меркантильности – получении гонорара. Если честно, то было и это. Опять же – «не корысти ради, а токмо...» ради сувениров для мамы, жены, сына, друзей и Джоя. Впрочем, ему-то подарок я купил – баночку консервов. Джой – пудель в семье моей институтской подружки, увы, совсем не вовремя ушедшей из жизни.

На последние оставшиеся доллары съездил в Диснейленд, поучаствовал в воскресном пикнике на полпути в Сан-Диего. Поразило таинство распития привезенной мною из Москвы 1 (одной) поллитровки нашей «Столичной». Маскировались, как профессиональные шпионы, передавая пластиковый стаканчик под столом, на века установленным в этом уютнейшем месте на берегу Тихого океана. Новые граждане США утверждали, что таковы суровые порядки этой страны, хотя, насколько я знаю, Лигачев никогда не был избран в конгресс США. Вот оно, всемирное влияние ума, чести и совести нашей эпохи.

Наконец, за три дня до отлёта мне была сообщена дата моей первой лекции (как оказалось, и последней в этот мой визит). Лекция была назначена на 7:30 утра. О её продолжительности я узнал по прибытии в госпиталь, где практиковал и преподавал мой бывший сотрудник.

Прибыли мы, проделав километров 50, задолго до торжественной минуты. Я лихорадочно перебирал конспект. Наконец секретарь Володи препроводила меня в аудиторию – комнату размерами с гостиную моего детства, около 20 кв. м. И в этой комнате было 11 человек. Кажется, на одного больше, чем минимум евреев – миньян – для того, чтобы начать молиться в синагоге. Володя представил меня как самого-самого «корифея и основоположника», прервав мою попытку начать лекцию на языке Шекспира. Показав слайд, на котором была изображена схема моей главной теоретической концепции анестезии в нейрохирургии, я было попытался развить её – концепцию – вглубь и вширь, но председательствующий, прервав меня, спросил слушателей: «Есть ли вопросы к профессору?» Вопросы были. Главным образом, о том, как мы лечим отёк мозга. Отвечал, ожидая, что после вопросов сумею развить и убедить слушателей в стройности и глубине моей концепции.

Но через 25 минут мой бывший сотрудник предложил слушателям поблагодарить докладчика за его вклад в развитие анестезиологии-реаниматологии в США и начать претворять мою теорию в практику – идти на наркозы. Три

минуты аплодисментов, усилившихся после того, как председательствующий вручил мне диплом на почти пергаментной бумаге о присвоении мне звания почетного члена ихнего университета (конверт с гонораром мне был вручен поздно вечером дома).

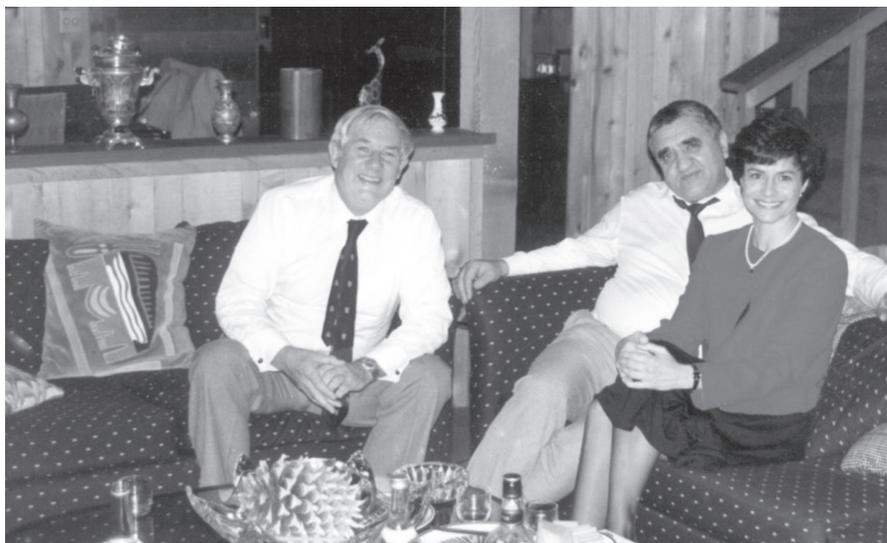
День я провёл, переодевшись в операционное зелёное бельё, в этой клинике. Рядом с комнатой для переодевания и шкафчиками, закрытыми висячими цифровыми замками – всё же приятно, что и у них не изжито воровство, – была комната, оказавшаяся пещерой Али-Бабы и 40 разбойников. В этой пещере были стеллажи. На них стояли коробки. В коробках были стерильные одноразовые эндотрахеальные трубки всех мыслимых размеров, одноразовые катетеры для внутривенных вливаний и для прямого измерения артериального давления. И кое-что ещё, о чём я не мог и мечтать. Врачи свободно заходили в сокровищницу, брали, не расписываясь, трубки, катетеры, ларингоскопы, батарейки к ним, переходники к трубкам, одноразовые шланги к наркозным аппаратам и расходились по операционным.

Всё. Я понял смысл гётевского афоризма о разнице между мертвящей теорией и вечнозелёным деревом жизни. Я не завистник, не Сальери, но тут я позавидовал белой завистью не этим врачам, а этим больным, которым не грозит разрыв технологической цепочки во время анестезии.

Лос-Анджелес – Москва

На этом в этот мой приезд просветительская миссия закончилась. В следующие приезды мне всё же удалось более продолжительно осуществлять свою миссионерскую деятельность. Но в этот раз я через два дня улетел. 25 часов полёта по маршруту «Лос-Анджелес – Лондон – Франкфурт – Москва» пытался понять: почему они богатые, а мы – бедные? Я – не политик, не социолог, не философ. Да и был я тогда в этой стране всего две недели. И в семьях коренных американцев не был. Только на вилле профессора Вильюна, первым осуществившего анестезию при пересадке сердца Бернаром. И праздник видел только один – Хэллоуин, хотя, если судить по радостным приветствиям незнакомых мне людей, у них всегда праздник.

Мне казалось тогда, и я убеждён теперь, что понял причину. По крайней мере, несколько важных причин. Первая – законопослушность. В мелочах. Ишагав пешком, как когда-то в Париже, большой кусок Лос-Анджелеса, я понял, что, зазевавшись, я не попаду на пешеходном перекрёстке под колёса автомобиля. Даже если по московской привычке начну перебежать его на красный цвет. Я понял, что мне никто не уступит место в автобусе, приходящем на остановку по расписанию с точностью швейцарских часов. Но я понял, что не дай мне Бог занять место, предназначенное инвалиду. Будь это место в автобусе, будь это место парковки автомобиля. Я не видел полицейских. Но когда мой



У профессора Вильюна в Лос-Анджелесе. Он провёл анестезию при первой в мире пересадке сердца. Увы, это его, а не мой секретарь.

знакомый, «наш человек!»), желая похвастаться новым авто, посадил на переднее сиденье внучонка и проехал едва ли метров 500, его остановил полицейский. Это нарушение закона обошлось ему, кажется, в 200 долларов.

Я понял, что законность начинается с мелочей. Большую часть жизни я ездил и езжу городским (муниципальным) транспортом. Раньше, чаще всего, ездил в метро. Теперь предпочитаю наземный транспорт. Нет, взрывов я не боюсь. Тот, кому суждено быть повешенным, не утонет. Просто московский метрополитен стал символом несоблюдения прав гражданина нашей великой страны. Везде во время толкучки на эскалаторе (одна из лестниц или на ремонте или закрыта для экономии электроэнергии) раздаётся трубный глас, предупреждающий и угрожающий об обязанностях пассажиров, о запрете их противоправных действий. Но никогда и нигде не сообщается о том, что обязан метрополитен сделать, чтобы пассажирам было удобно.

Какой-то ветеран-чудак (на букву «м») как-то написал в одной из газет, что вот благодаря совету ветеранов (самая полезная организация самообеспечения) в метро появились надписи о том, что эти места предназначены для... Кто-нибудь, когда-нибудь подсчитал: сколько тратит метрополитен на эти надписи и сколько людей соблюдает эти правила? Чёрта с два! Наш особенный менталитет, видимо, не пропускают турникеты. Впрочем, он остаётся и за дверьми автобусов и троллейбусов.

Но ещё важнее – пиар нашей ортодоксальной церкви, страстно проповедующей примат души над грешным телом, бедности над богатством и даже

просто над достатком. Карауловы, доренки, леонтьевы и «киже» с ними зомбируют даже хороших людей. В последний день апреля, когда я заканчивал писать эту книгу, супруга дала мне прочитать интервью с очень хорошенькой женщиной и неплохой актрисой – Еленой Яковлевой. Прочитал вопрос интервьюера и её ответ – типичный пример внедряемого упорно представления об идиотах-американцах и о нас – носителях высших духовных ценностей. Цитирую: «В Америке и не мог возникнуть такой писатель, как Достоевский». Милая актриса! В XX веке именно Америка подарила миру Фолкнера, Хемингуэя, Фицджеральда, Сэлинджера. А мы – панфёровых, бубённовых, шевцовых, пахановых. Вот так-то!

Много о чём я передумал за эти 25 часов полёта и пересадок. Заключение: в США я работать бы не смог. Они живут хорошо потому, что трудятся хорошо. Я бы так трудиться не мог (неужто Ильюша Обломов всё же соблазнил какую-то из моих прабабушек?). И не потому, что работу нужно начинать раньше, чем у нас, а потому, что эта прекрасно организованная работа противоречит тому принципу, который вместо меня точно определила Марина Цветаева: «Не окриком, всё той же барской блажью тебе работа задана». Я пишу только о себе. Большую часть жизни я делал работу «не по душе». Но делал «с душой». Это была моя «барская блажь».

Вот и теперь, вернувшись в Москву, я должен буду доделать работу, превращающую моё хобби – увлечение гомеопатией.

Кошке под хвост

Не знаю, откуда пошло это выражение. Во фразеологическом словаре не нашёл, но весь 90-й год потратил на создание учебника для медицинских училищ по той специальности, от которой, полагал, ушёл навсегда. В середине 89-го года меня достали звонки из издательства «Медицина» и моего постоянного соавтора, умолявших написать такой учебник. Видит Бог, сопротивлялся, как школьница-девственница 60-х годов. Уговорили. Поставил условие: не буду первым автором. Я теперь невролог и не хочу светиться по своей неамбулаторной профессии. Уговорили. Соавтор упросил меня добавить к своей половине ещё четверть объёма будущей книги. Где наше не соглашалось на оплачиваемые добрые дела? Вкалывал, как папа Карло. Уполовинил консультации. Сдал в срок в издательство свою часть; компоновку по договоренности должен был осуществить соавтор.

Через полгода узнал, что мой соавтор наши части не объединил, ибо свою часть не написал. Поставил ультиматум: или соавтор заканчивает и сдаёт всю рукопись через месяц, или я ищу другого соавтора. Но в любом случае: мои разделы – мои, соавтора – соавтора. За месяц сделать все разделы единообразными я бы не смог. Ультиматум подействовал. Учебник был издан. Увы, это был пло-

хой учебник: одни главы противоречили другим. Думаю, что эти противоречия неинтересны неспециалистам. Вот тогда я задумал написать свой учебник. Но в 90-м году тяжело заболела мама, а меня свалил рецидив туберкулёза.

Мама

Она была святой. Терпела все увлечения моего отца, все мои «зигзаги», все мои болезни и болячки, всех моих женщин (не только жён), все двойки моего сына и её внука. Работала она «от зари и до зари», печатая 10 пальцами слепым методом бесконечные страницы любого смысла и любой сложности.

Каким бы она была миротворцем! В любой стране, как и в любом обществе. Мы часто переезжали. Говорят: с глаз долой – из сердца вон. Только как бы далеко от прежнего местожительства не уезжала мама, прежние соседи выбирали её плечом, на котором можно поплакаться, и верховным арбитром всех своих неурядиц.

Кто бы и когда бы ни пришёл в её дом, он уходил умиротворённый и накормленный. Даже в войну, даже в 80-е годы прошлого века. Мама умерла ночью во сне с потухшей «беломориной». Чудом не сгорев. Последние годы она очень тяжело болела, но в её доме не было ни одной невыстиранной и невыглаженной тряпочки. Она раздавала всё, что заработали они с отцом. Плакалась моей нынешней супруге: «Люсенька, мне ведь даже нечего тебе подарить!» И всё же подарила свои последние драгоценности: серебряный половник (Люсиной внучке на совершеннолетие) и серебряную ложечку для солонки. Всё.

Хоронили её 25 мая. Но и её последний путь был долгим и тряским. Разразилась гроза. Вырубилось электричество в крематории на Донском. И автобус помчался сквозь ливень куда-то на окраину Москвы. И только у самого погоста природа смирилась. Ливень прекратился. Выглянуло солнце. А когда мы вернулись в её дом, в комнату влетела бабочка. Наверное, это была её душа, прилетевшая утешить нас и после смерти.

Те, что открыл Кох

Это строчки из моих виршей: «... и палочки стрелок на наших часах – те, что открыл Кох... Если прорвут, хлынет кровь из горла – у нас с тобой». Не первый раз – кровохарканье. Не первый раз лечили меня в любимом институте туберкулёза на Яузе. Добираться на электричке. Потом пешочком через лесок. Старое здание. Старенькие палаты. Стареющие друзья-врачи. Настоящие врачи школы великого хирурга Богуша. Особенно сильно болезнь обострилась после смерти мамы. Кровохарканье то прекращалось, то возобновлялось с ещё

большой силой. Через бронхоскоп «прижгли» кровоточащий сосуд. Оклемаюсь – тяжела ты, местная анестезия! Разрешил себе пару дней побыть дома. Добрался. В день, когда мне нужно было вернуться на Язу, разбудил грохот с проспекта Вернадского: к центру Москвы шли танки. Начался путч.

Все мои документы – паспорт, удостоверение инвалида войны – были там. Добрался к вечеру. Регистратура закрыта. В полдень на следующий день получил документы. Задавили кашель кодеином (благо, тогда ещё кодеин был доступен). Добрался до дому поздним вечером. Кодеин не только задавил кашель, он свалил меня в царство Морфея. А утром танки шли в обратный путь. Я проснулся в другой стране, не зная, как она будет называться, но веря (увы! 2014 г.) в то, что она будет лучше и счастливее.

93-й

Дневник я вёл только на флоте. Да и тот уничтожил. Весь 92-й год лечился сам, лечил больных, писал заявления, о коих ниже, в прокуратуру Союза, а потом России. Ходил на какие-то митинги и заседания в Моссовете. Переживал. Преимущественно у телевизора.

1 Мая увидел озверевшую черносотенную толпу, рвавшуюся то ли к мэрии, то ли к Кремлю. И увидел задавленного мальчишку-милиционера. Понял, что у него черепно-мозговая травма. Услышал, что госпитализировали его в 1-ю Градскую больницу. Поехал и пробилась в отделение. Дежурные врачи не с очень большой охотой разрешили осмотреть раненого. Юноша уже не дышал сам. Он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Понял, что даже нейрохирургическое вмешательство вряд ли поможет спасти ему жизнь. Но надежда умирает последней. Дозвонился до своего института и упросил дежурившего Толю Соколова прислать нашу выездную нейрохирургическую бригаду. Спасти пострадавшего не удалось.

Поздним вечером возвращался по Ленинскому проспекту на троллейбусе домой. На нём же ехал один из похожих на тех, кто убил этого юношу. Даже в полутёмном салоне этот тип узнал инородца. Наслушался я оскорблений. Не вытерпел. Дал по морде. К моему удивлению, пассажиры высадили из троллейбуса не меня, а его. Это обнадеживало. Всё же такое случилось не в первый раз. Пару раз в метро, пару раз в автобусах приходилось прибегать к кулачному праву. Драться-то я научился ещё в Комсомольске-на-Амуре! Запомнилась потасовка в день 45-летия Победы. Добирались с женой до друзей-фронтовиков, живших на Беговой. Пара форсистых мальчишек закурили в салоне. Попросил погасить сигареты. Отматюгали. На остановке попытался вытолкнуть их из автобуса. Я был тогда немного моложе. Но – двое на одного. Вытолкнули бы меня, если бы не пассажиры. Дружными усилиями выкинули мерзавцев. На память мне остался небольшой синяк на скуле. Больше пострадал добровольный помощник:

во время потасовки у него упали и разбились вдребезги часы. Хотели возместить ущерб. Но юноша гордо отказался. Значит, прав «...Коля – сын покойного Алеши», сказав: «Сила с неправдою не уживается...». Русь – это не рыгозины, мудашёвы, бурляевы и иже с ними. Вот поэтому осенью 93-го москвичи, а среди них – мой сын, вышли на баррикады к Моссовету и не дали тогда страну и народ на расправу этим нелюдям.

Ах, если бы в 17-м году был не Керенский, а такой вот, как Ельцин, как Гайдар! Убеждён: не было бы Колымы и Бабьего Яра, не повесилась бы Марина и не стояла у тюремных ворот Анна вся Русь.



Ему не было 59 лет, и у него не было даже амбулаторной карты

Бессонница

Так случилось, что тогда, когда писал последние страницы «мемуаров», я взял в библиотеке Дома учёных две книги: «Крутой маршрут» Лидии Гинзбург и «XX век как жизнь» Александра Бовина. Воспоминания Бовина только-только вышли. Книга Гинзбург вышла давно. Я даже слышал, что в «Современнике» она стала замечательным спектаклем. Но, увы, я её не читал и спектакля не видел. А мог бы! Всё же супруга одного из ведущих актёров этого театра – моя ученица. Но с 80-го года, когда её с мужем и меня (без супруги) допрашивали в консульстве США, я и не подумал попросить не только контрамарку, но даже оставить билетик в кассе.

Я – «жаворонок». Не голосом, тут я скорее – павлин. По времени пробуждения: всегда в четыре-пять утра. Но после «Крутого маршрута» началась

бессонница. И уснуть не могу, и просыпаюсь уже не в пять, а в три утра. И очень стыдно за то, что делал не любимое дело, а карьеру.

Ночами хорошо слушать музыку. В моём приёмнике диапазона «Орфей» нет. ЛЧД (как говорили в эпоху чёрных репродукторов – лопал, что дают) на многочисленных станциях FM. Но для меня – это был белый шум. Не слышал почти ни одного имени. Оказалось, что в моём образовании – сплошные дыры. Я знал, что есть музыка «Битлов» и «АББА», но я никогда не слышал их. Я знал, что есть такой знаменитый питерский поэт Бродский. У приятелей даже видел его большое фото в книжном шкафу. Но даже не подумал о том, что, может быть, стоит прочитать хоть пару его стихов. Дыры можно перечислять до бесконечности. Сейчас, когда у меня появилось свободное от обязательных забот время, я пытаюсь заштопать прорехи. Не получается. Пытался слушать рок и попсу. Разницы не понял, и никто толком объяснить не смог. Впрочем, говорят, что и дикие бразильские обезьяны звереют, как и я, слушая эту музыку. Это вовсе не значит, что это плохая музыка. Ведь для ждановых и Прокофьев, и Шостакович сочиняли «сумбур вместо музыки».

Я совершенно не знаю современную литературу. И даже не очень современную. Во всяком случае, мои попытки вчитаться в прозу Татьяны Толстой, Саши Соколова и десятка других современных модных авторов закончились провалом. Дочитывал в лучшем случае до середины, бросал и в энный раз перечитывал «Воспоминания об Ахматовой», «Генерал и его армия», 4 тома Довлатова. Почему эти книги стали мне такими же родными, как томики «Переписка Пушкина». «Жизнь двенадцати цезарей» или «Декамерон», да и сотни других без конца перечитываемых книг, не знаю.

Неудачей кончились и попытки приобрести к современному театру. Купил билеты в знаменитую «Табакерку». Самые дорогие. На самый модный спектакль. Кажется, «На всякого мудреца...». Ушли после первого акта. Скучно. Пошли на «Норд-Ост». Любимая книга. Хорошая музыка. Прекрасные актеры. Ушли в антракте, хотя очень хотелось ещё разок взглянуть на Бориса Николаевича, почтившего в этот вечер спектакль. И так оканчивались все наши попытки.

Понимаю, что это не вина современной музыки, не вина современной литературы. Это моя беда. Я ведь не знаю и множества других вещей, которые знают моя жена, мои друзья, мои дети, и даже моя 8-летняя внучка. Читая Бовина, я вдруг узнал, что он долгое время вёл передачи на телевидении. И не только на 3-м канале, который я смотреть брезгую. Я ведь не читал ни одного его обзора, а, судя по выдержкам в мемуарах, они того заслуживали.

Кстати, мемуары Бовина избавили меня от необходимости излагать своё политическое «кредо», они практически полностью совпадают (ещё более они совпадают с кредо Александра Николаевича Яковлева!). Жаль, что у меня, в отличие от Бовина, нет архивов. Даже большинства своих книг. Разве что вирши и эпиграммы.

Наверняка у нас много различий. Точно совпадают нынешние габариты. Но ни усы, ни борода у меня не прижились. Было. Пришлось сбрить. Говорили, что я походил на Троицкого. А был это 48-й год. Сами понимаете. Борода досталась сыну, усы – моему ученику Саше Островскому, основателю аж двух долгодействующих фирм, обогащающих и медицину, и их наёмных работников. Вероятно, самые мои существенные идеологические (о таланте и говорить нечего) отличия от Бовина – Чечня и Ельцин. Он, кажется, в Чечне не был. Я по глупости согласился лететь на консультацию в октябре 94-го. Еле выбрался. Сам видел: было страшнее «холодного лета 53-го года». Не знаю, кто – Бог или случай – не дали мне совершить такую глупость ещё раз: когда нелюди в Чечне обезглавили сотрудников Красного Креста, я предложил себя в замену им. Долго на моё письмо никто не отвечал. Наконец позвонили. Поблагодарили, но отказались от моих услуг, так как якобы закрыли в Чечне представительство Красного Креста. Не знаю, так это или не так, но убеждён, что если бы мой бессмысленный порыв осуществился, то ни этих строк, ни этой книги бы не было.

А под прозрачным пластиком на моём письменном столе – несколько фото: мама, жена, сын, младшая внучка и Борис Николаевич. В самые тяжёлые дни я ставил свечку за его здоровье, за то, чтобы Бог дал ему силы удержать тягу земную и не повернуть историю вспять.

И мемуары Лидии Гинзбург опубликованы не сегодня. И я ведь слышал о них. Не в одиночной камере жил годы. И ведь не только лечил больных (подсчитал: около 40 000 за полвека), не только оперировал, наркотизировал, реанимировал. Не только лечил свои болячки. Я ведь находил время для любви и секса, для отдыха у моря и трепотни на так называемых конференциях и симпозиумах.

Откуда же эти «дыры»? Я ведь обучаемый. Мне под 80, но уже лет 15 на моём письменном столе работает компьютер, я пользуюсь Интернетом и электронной почтой, слушаю музыку, записанную на компакт-дисках, и даже переписываю её на диски для мини-плеера, подаренного учениками.

Я ведь хожу в консерваторию. И не только на концерты классической музыки. Не меньшую радость доставили концерты джаза. Ведь ходим мы с женой, хоть не часто, в кинотеатры. И не только на прекрасно снятые голливудские фильмы, но и на наши. И есть ведь наши фильмы не только хорошие, но просто самые-самые – «Кукушка», «Возвращение».

Хорошо вот таким, как Татьяна Толстая (уценённый, но пополневший вариант Антона Крайнего). Вот у них хватает времени и сил дочитывать, досматривать любую мерзость. Но это ведь сродни образу жизни клошаров. Впрочем, ведь сказано у Маяковского: «Рось в сегодняшнем окаменевшем дерьме...». Но читать сделанный ими реестр желания нет.

Почему же мне так трудно даётся любимая миллионами современная музыка, современная литература? Рискую разделить искусство всех времён и народов на созидательное и разрушительное. Хотя в любом есть драгоцен-



«Чёрт с вами! Высылайте машину! Но дайте хоть полчаса с внучкой побыть!»

ные камни «магического кристалла». Река времени размывает абсолютное большинство произведений сиюминутного искусства, уносит их в Лету, где они и исчезают. Убеждён, что и в сегодняшней музыке, и в сегодняшней литературе есть нерастворимые магические кристаллы. Но это в будущем. А в настоящем – массовое искусство типа «Зайки» – эмбрион массовой инфернальности: «Распни его!», «Врачи-убийцы!», погром на Охотном ряду, костры из книг в фашистской Германии, унитаза «идущих вместе». Всё это разновидности поп-культуры. Магические кристаллы и кристаллики есть и в ней. «Когда б вы знали, из какого сора...» Время не упустит ни одного самого маленького кристаллика, и он может стать основой драгоценной жемчужины. Но на это нужны годы и годы. Распознать их в мути поп-культуры могут только очень талантливые люди – Щукины, Мамонтовы. Увы, мне этого не дано.

Чечевичная похлёбка

Я не нахожу ответа. Скорее, ишу оправдания. Неужто это плата за чечевичную похлёбку – профессорство в нелюбимой профессии? Не любил, но ведь работал *quantum satis* (полной мерой). Создал или, скромнее, был не последним в создании двух новых для нашей страны специальностей – анестезии в педиатрии и анестезии в нейрохирургии, в написании первых учебников. Правда, сам

REGENS



DEFENDO

создал только одну «концепцию», как говорил мой учитель, один девиз и один символ.

Концепция – деление компонентов (составных частей) анестезии и интенсивной терапии на общие и специфические. Вряд ли это стоит объяснять, наверное, это интересно только специалистам. Да и они, кроме Юрия Николаевича Шанина, весьма скептически относятся к этому моему «достижению».

Придумал я и девиз специальности – *Regens defendo*, что означает: «Управляя, защищаю». Но нынче это воспринимается, скорее, как девиз «вертикали власти», нежели смысл анестезиологии-реаниматологии.

Не повезло и с символом. Много лет многие мои коллеги делали аналогичные неудачные попытки. Обычно это была рука, защищающая, в зависимости от узкой специализации, то сердце, то мозг, то почки. Не видал, правда, защиты детородных органов. Я попытался объединить всё. Смешно, но я очень дорожу этим рисунком.

Его центр – деформированный «игрек» – абстракция – и кисти человека, и чаши, в которую можно налить и лекарство, и яд. Три вектора, расходящиеся веером от начала катастрофы (вот тут-то и нужна анестезиология-реаниматология), – разновелики. Короткий, идущий вверх (большой палец) означает самый благоприятный вариант – выздоровление. Длинный – долгое выздоровление, невозможное без методов этой специальности. Самый короткий – *exitus letalis* (по-простому – смерть), идущий вниз, – символизирует безуспешность наших усилий. Обвивает чашу (руку, векторы) классическая змея, она же – знак бесконечности, правда, поставленный на попа. Заканчивается этот современный знак намёком на главный объект защиты – головной мозг и на символ надежды наших усилий – эмбрион человека.

Может быть, оправданием мне послужит моя последняя книга, завершившая второе тысячелетие? Я попытался впервые в нашей специальной литературе соединить несоединимое – интенсивную терапию, реаниматологию, анестезиологию с поэзией. В книге 29 глав. И каждую главу я начал с поэтического эпиграфа от Евангелия до Высоцкого. Разошёлся весь тираж – 1000 книг. Слышал много добрых отзывов о её профпригодности, но ни одного доброго слова о том, что хоть кого-то эпиграфы побудили перечитать Пушкина и Лермонтова, Ахматову и Цветаеву. А я ведь включил даже «не моих», хоть и великих поэтов – Гумилёва и Мандельштама.

Мания первая

Впрочем, никто не отозвался и на её главную (для меня) страницу – о современных пределах реанимации, а точнее – о её беспределе. На моё решение уйти из клинической медицины во многом повлияло несогласие с утверждённым приказом Минздрава «принципом согласия». Точнее, «бессогласия» родных на изъятие органов для трансплантации, если поставлен диагноз «смерть мозга». Вот я написал в этой своей книге:

«В настоящее время существует термин «смерть мозга», иногда используют термины «теологическая» и «социальная» смерть. Фактически это сигнал для прекращения борьбы за жизнь пациента. Но серийному убийце сохраняют жизнь, приговаривают к пожизненному заключению, тратят огромные средства на его содержание и охрану.»

«Нам представляется целесообразным заменить термин «смерть мозга» термином «ноологическая смерть» (Noo – по-гречески «разум»). Это будет означать, что погибла, по современным представлениям, лишь возможность получения и передачи разумной информации. Жизнь, даже при полной гибели головного мозга, с помощью современных методов искусственного замещения функций жизненно важных органов и систем может продолжаться очень долго. Нужно направить все усилия науки XXI века на воссоздание мозга, на возвращение пострадавшего к жизни как Homo sapiens (человека разумного), ибо «мыслящий человек есть мера всему» (В.И. Вернадский).»

«А смерть – «биологическая смерть» – это невозможность естественного или искусственного обеспечения обмена органических веществ тела человека с окружающей природой. Результатом этого является прекращение функций жизненно важных органов, а не только мозга. Мы убеждены в том, что успехи науки позволят не остановиться в борьбе за жизнь человека даже тогда, когда сегодня это кажется безнадежным.»

Увы, я смотрел кусочки дискуссии (на большее не хватило: начался приступ стенокардии) по этой проблеме в шоу Светланы Сорокиной. С тупым упорством трансплантологи отстаивали принцип «презумпции согласия». Было безумно стыдно за нашу медицину. Среди присутствующих была женщина с сыном, ждущим в институте Шумакова пересадки почки. Мама с сыном приехала не из провинции, а из Санкт-Петербурга! Из города, где работали Николай Иванович Пирогов, Владимир Андреевич Оппель, Юстин Юлианович Джанелидзе, Пётр Андреевич Куприянов и сотни, тысячи других лучших хирургов России. Я не понял: почему? Если потому, что Москва, как курица, сгрэбла всё под себя, то это – беда, но не трагедия? Если же потому, что врачи Санкт-Петербурга – приверженцы принципа «презумпция только согласия», то ещё не потеряна надежда, что кто-то, когда-нибудь всё же осуществит мою несбывшуюся мечту: создаст отделение для спасения больных, у которых поставлен диагноз «смерть мозга». Ведь создали же хосписы. И

первые именно в Санкт-Петербурге. И там их в несколько раз больше, чем в Первопрестольной.

Мания Вторая

На старости лет (завидую Бовину!) у меня появился архив. В компьютере. Поэтому привожу точную копию. Суть моей второй мании, полагаю, понятна из приведенного:

«Заместителю Председателя ВГТРК, главному редактору телеканала «Культура» Т.О. Пауховой.

Уважаемая Татьяна Олеговна! Если найдете время, прочтите, пожалуйста, небольшой фрагмент из моего письма, адресованного В.В. Путину (письмо переслали в РАН), ответ академика-секретаря (прилагаю) и мой ответ ему.

Убеждён, что сегодня самой главной задачей для нас является восстановление достойного генофонда. Судя по ответу из РАН, евгеника – наука расистов. Мне кажется, что это важнейшая тема для «Культурной революции».

Вот эти фрагменты:

1. Из письма Путину В.В.:

...Россия заплатила и платит за свою миссию невероятно дорогой ценой – растратой генофонда. В 1994 г. мне довелось написать и опубликовать (единственную ненаучную) книжку, в которой я писал (извините, что цитирую себя): «Ведь сейчас только-только восстанавливается генофонд из остатков лучших и смелейших рабочих и крестьян, большинство из которых уничтожены, начиная с августа 14-го; дворян и рабочих, погибших в 18-м, 20-м и 30-х годах, подлинных революционеров, убитых в 37-м, миллионов тружеников-патриотов, раздавленных танками, умерших от холода и голода в 41-м. Погибли не только они, но погибли их неродившиеся дети и дети неродившихся детей».

Необходимость восстановления генофонда понимали замечательные русские учёные, особенно Н.К. Кольцов, создавший науку евгенику, уничтоженную сталинизмом. Ибо только утверждая фатализм и уничтожая благородный генофонд, можно было подчинить себе русский народ.

Чтобы и дальше выполнять свою историческую роль, России необходимо восстановить ГЕНОФОНД. У нас избыток НИИ. Но убеждён в том, что необходим институт евгеники. Это близко не лежит с идеями расистов. Бог или случай смешали гены, и Россия дала миру Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Мечникова. Важно избежать рождения цесаревича Алексея (его наследственность – немаловажная причина октября 17-го года). Люди с дефектными генами – 20% (по Шмелёву) – вместе с нами, пенсионерами, стали непосильной для России «ношей крестной». 10% (опять по Шмелёву) таких, как Пересвет, Кулибин, Суворов, Павлов, Вернадский, – это слишком мало.

Разумеется, создание такого института (я работаю в совсем другой области медицины, да и слишком стар) – лишь капля в море решения этой глав-

ной проблемы. Но восстановление положительного генофонда – для нас главная проблема XXI века, так как в отличие от невосполнимых потерь России – нефти, газа, золота, – она может быть решена и стать основой её доброго будущего.

Хотим мы или не хотим, но Россия будет выполнять свою миссию, «вне и независимо от нашего сознания». Лучшие – осознать. Любое техническое новшество не решит проблему, пока не будет восстановлен положительный генофонд».

2. Ответ академика-секретаря Отделения биологических наук, академика А.Н. Григорьева: Г-ну А.З. Маневичу.

«Уважаемый, имярек! Ваше беспокойство по поводу последствий тех человеческих потерь, которые понесла Россия в XX веке, безусловно, оправдано. Верно и то, что генетика может и должна внести свой вклад в решение сложных демографических проблем, стоящих сейчас перед нашей страной.

Что же касается евгеники, то это учение об улучшении наследственной природы человека, возникшее в начале XX века, не располагало строго научной базой для решения задач сохранения и «улучшения» человеческого генофонда. Как результат, ряд предложений, сделанных евгениками, были необоснованными и вызвали протест общественности. Кроме того, это направление, независимо от субъективных воззрений его сторонников, оказалось связано с идеями и практикой «расовой гигиены» нацистов. Именно поэтому сейчас подавляющее большинство специалистов не считает нужным восстанавливать евгенику как научное направление или как общественное движение. Реальные, стоящие перед человечеством проблемы в области изучения и охраны генофонда человека разрабатываются в рамках таких направлений, как медицинская генетика, генетика популяций человека, демографическая генетика.

Несмотря на ограниченное финансирование, эти научные направления достаточно успешно разрабатываются в ряде учреждений России – в Медико-генетическом центре РАМН, Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН и некоторых других. Разумеется, изучение генофонда человека, протекающих в нём негативных процессов заслуживает поддержки, в том числе существенного увеличения финансирования. Создание же сейчас специального института генетики не является обоснованным».

3. Мой ответ Чемберлену, то бишь академику:

«Не сомневался в том, что ответ будет именно таким. Поэтому не обращался в РАН. Она как была совковой, так ею и осталась. И порох, и динамит, и атомную энергетику можно использовать для добра и зла. А идеи расовой гигиены использовали и используют нацисты именно потому, что им не противопоставлены идеи людей доброй воли. Проблема же может быть решена только в коллективе, объединённом общей главной идеей. Отвечать не нужно».

Эта моя мания не зашла слишком далеко. Я – дилетант. Да, человек я старый и непубличный. Но, может быть, кто-нибудь, когда-нибудь, став настоящим академиком, ну как Иван Петрович Павлов, как Николай Иванович Вавилов, как Пётр Леонидович Капица, как Андрей Дмитриевич Сахаров, создаст такой институт, не побоясь назвать его институтом евгеники имени Николая Константиновича Кольцова.

Теснейшим образом с этой проблемой связана проблема национальной идеи. У каждого народа, у каждой страны есть своя миссия. У России, у русских – всех живущих в России – это перепплав восточного фатализма и западного волюнтаризма. Россия выполняла и выполняет эту свою миссию. Дорогой ценой – сдвигом нормальной кривой гауссовского распределения генофонда в отрицательную сторону. Сейчас речь идёт о выживании. Но если у страны, у народа нет миссии, он уходит на задворки истории. Поэтому, убеждён, главная задача – восстановление здорового генофонда нации.

К сожалению, определение термина «здоровье» нет в энциклопедическом словаре. Да и определение, данное ВОЗ, вряд ли может удовлетворить. Поэтому привожу собственное определение: «ЗДОРОВЬЕ – это такое качество жизни, при котором организм способен самостоятельно устранить последствия внешнего или внутреннего повреждающего воздействия, обеспечивая себе наилучшие условия психического, физического и социального существования».

Мания третья

Порфирий Петрович говорит Раскольникову: «Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» Насчёт Наполеона не знаю, разве что президент (росточком одинаков), а вот литератором – многие. Ведь и Ленин, отвечая на вопрос о профессии, ответил не как Николай II – «хозяин земли Русской», а скромно – «литератор».

О том, как мы с Вилем Шерстобитовым заключили в 5-м или 6-м классах договор о «венке сонетов», я написал выше. Дальше договора «о намерениях», как и о союзе с Лукашенко, к счастью, дело не пошло. Но на двадцатом году жизни, когда я начал заочную учёбу в пединституте и овладевал хрестоматией по древнегреческой литературе, меня поразил глагол «дождить». Уж не помню, то ли у Алкея, то ли у Архилоха прочитал: «Дождит отец Зевс с неба ненастного». И, получив известие о замужестве Марты, начал писать рифмованные строки, принимая их за стихи: Апрель дождил. И мокрый снег / Нам падал на лицо, / И влага у опухших век. / И влажное кольцо / Сняла ты с пальца – и огнём, / На влажное лицо... / Была весна... Сберёт кольцо, / Но юность не вернём. / И старость будет. А апрель / Опять будет дождить, / И кто-то, как и я, шинель / Попробует носить... И т.д. «Стихов» было много. О любви, о море, но больше всего – о мировой несправедливости. Я далеко не сразу понял, что мои рифмованные строки к поэзии отношения не имеют. Тем более что для охмурёжа девиц они вполне годились. К их чести (девиц, не виршей), до недрёманных органов вирши не дошли. Я остался жив. Продолжал рифмовать, а потом, в зависимости от профессий моих знакомых женщин и жён, пытался писать то киносценарии (моя краткосрочная жена Наташа Лозинская была редактором на «Мосфиль-

ме»), то либретто балетов (жена-балетмейстер Вера-Мадлен-Николь), то стихи для детей (кто-то из «Детгиза»).

К счастью, основная профессия не оставляла времени для «промоушен», а жанры литературы менялись, когда возникала новая любовь. И всё же всю жизнь меня преследует навязчивая идея: писать не профессиональные тезисы, не статьи, не монографии, а что-нибудь этакое, более вечное, ну как «Исповедь» Жан-Жака Руссо или как «Мойдодыр» Корнея Ивановича. Ну хоть как «Малая земля» Леонида Ильича. А так как за меня никто не писал, даже работ по профессии, то снова и снова, пытался сам. Даже издал иждивением друзей и учеников две книжицы. Даже пытался навязать их незнакомым россиянам через пару книжных магазинов. Так они и затерялись на полках. Убеждён, что судьба книг Марины Ивановны им не грозит. В раритеты стоимостью драгоценных вин они не превратятся. Но ведь на то она и мания! От неё не избавиться.

Вот я и сижу у компьютера, пытаюсь излечить эту манию. Клины клином вышибают.

Моя, моя вина

(вместо эпилога)

Э то – Галич. Я слышал эти стихи в его исполнении. Но тогда не отождествлял себя с Кузьмой Кузьмичом. А чем я лучше? Не доносил властям предержавшим? Но – вольно или невольно – верно служил бандитскому режиму, пользовался обедками с барского стола. Я ведь НЕ вышел в 68-м на площадь, наоборот, оправдывал этот режим, представляя «советскую науку» за рубежом.

Я очень долго оставался членом партии. Верил, что есть в ней и порядочные люди и что я принадлежу именно к ним. Окончательно разуверился после событий в Литве. Только тогда написал в партийную организацию, в коей состоял на учёте, что больше не могу и не хочу быть соучастником её преступлений.

А, как написал Киплинг, «...каждый грех, совершённый двумя, и тому, и другому вменён». Поэтому с этого времени каждому новому генеральному прокурору, хоть для меня – они все на одно лицо – двуликого Януса (интересно, от этого бога – отчество генерального прокурора 30-х годов?) – я посылал вот это официальное заявление:

Генеральному прокурору России
ЯВКА С ПОВИННОЙ

Я, Маневич Алексей Зиновьевич, по национальности – еврей, родной язык – русский, признаю себя виновным в том, что с мая 1945 г. по 11 декабря 1991 г. был членом преступной организации, именованной ВКП(б) – КПСС.

Я лично принимал непосредственное участие в следующих преступлениях:

- 1. Оправдании «павломорозовщины» не только в пионерском, но и в сознательном возрасте.*
- 2. Публичном и даже «поэтическом» осуждении великих русских музыкантов, обвинённых в 1948 г. в «формализме».*
- 3. Активном участии в осуждении «формальной» генетики в 1948 г.*
- 4. Активном участии в осуждении учёных – «космополитов», в том числе моих учителей в 1952 г.*
- 5. Осуждению «врачей-убийц» в 1952 г.*
- 6. Крохоборстве – пользовании незаслуженными «благами» в годы правления Брежнева.*
- 7. Молчании во время травли великого русского поэта – Бориса Пастернака.*
- 8. Защите агрессии в Чехословакии в 1968 г.*
- 9. Оправдании агрессии в Афганистане.*
- 10. Молчании при высылке А.Д. Сахарова – 1983 г.*
- 11. Сохранении членства в КПСС после побоища в Тбилиси 1985 г.*

Я не пытаюсь соизмерять свои преступления с преступлениями других преступников этой организации – преступник не может судить других преступников. Но убеждён, что мой отказ или протест против указанных выше преступлений мог хотя бы на миг укоротить её злодеяния. Тем самым могли быть спасены и жизни, и души других людей, ещё не замаранных в преступлениях.

Я сужу себя сам. Скоро мне предстоит предстать перед судом Всевышнего. Но я верю в необходимость суда надо мной на Земле. Может быть, осуждение меня предостережёт других заблудших от преступлений – атрибута двух преступных идеологий коммунизма и фашизма.

*Маневич Алексей Зиновьевич, проф., д.м.н.,
ветеран Великой Отечественной войны.*

Конечно, ответов я не получил. Конечно, никакого суда над коммунистами не будет. А судя по отклонению Думой «Закона о противодействии фашизму», эти две тождественные идеологии будут ещё очень долго заражать нашу Землю. А это страшнее и ящура, и коровьего бешенства, и СПИДа!

Вот почему я написал эту книгу. Может быть, кому-то, кто только начинает «делать жизнь», она поможет избежать самого страшного суда – суда над самим собой.

С ярмарки

100

лет тому назад великий еврейский писатель Шолом-Алейхем так назвал повесть о своей жизни. Единственное, что равняет меня с ним – моё еврейское происхождение. Да ещё то, что мы родились на Украине. Он в маленьком местечке в годы старой России, я – в последние годы нэпа, в большом «столичном» городе Николаеве, почти «В большом столичном городе Каховке».

Шолом-Алейхем гениален. Во всяком случае для меня. А я – «солдат в шеренге миллиардной», как писал мой самый любимый поэт Владимир Владимирович Маяковский. Даже если на какое-то время мне приходилось командовать подразделением, равным по значению по крайней мере дивизии (отдел в академическом НИИ), я не был учёным по «гамбургскому счёту». Это не уничижение, кое паче гордости. Это трезвая оценка на старости лет прожитой жизни. Её я уже описал в предыдущих главах. Добавлю вирши, написанные недавно:

*И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди.
Саша Чёрный*

Я – старый ночной горшок,
Редко был личный «толчок».
Чаще лилась в меня
Разных людей струя.

Но вот проржавело дно,
И счастье пришло само:
Положили в меня земли,
Посадили в неё цветы.

Но помню голодный год,
Когда бедовал народ;
Варились во мне тогда
Крапива и лебеда.

Теперь я стою на окне,
Солнце приходит ко мне
К первому, в самую рань,
И цветет из меня герань.

Так не будем, друзья, тужить,
Будем сколько отпущено жить.
Знать, не зря и я сохранён,
Как царицы предсмертный трон.

Надеюсь, что читатели знают о том, как умерла наша Екатерина Великая. Ничего в тексте, кроме опечаток, сделанных не по моей вине, замены буквы е на ё и замены одного фото, менять не буду. Но неожиданно долгий съезд

«с рмарки», я попытаюсь описать. Первое издание этой книги увидело свет 10 лет назад. Ещё 6 лет были обычными годами благополучных (даже очень благополучных) стариков: немного болели, немного работали, немного отдыхали. Благо и пенсии, и небольшие подработки позволяли пару раз в году бывать у Средиземного моря, а зимой – в Подмосковье (дорого, но зато не болели, как после поездки зимой на юга). В эти годы я даже подытожил свой вклад в специальность, написав «Итарологию» (моя аббревиатура интенсивной терапии, анестезиологии и реаниматологии). Мой ученик, создавший издательство (и не только его), терпя мои капризы и свои убытки, шикарно издал сей опус.

Но, как написал Блок: «нас всех подстерегает случай». 19 октября 2008 года в три часа ночи к дому подъехало такси. Мы отправлялись на Кипр. Через 15 минут по дороге в аэропорт авто въехало на улицу Строителей, и на её середине наперерез выскочил чёрный «Лексус». Дальше – институт Склифосовского, выхаживание (спасибо коллегам, ученикам и друзьям), месяцы реанимации и реабилитации, операции травмированного глаза жены. Было тяжело, но всё же лучше, чем у Бубликова. Почти оклемались и отправились в мае 2011 года в очередной весенний вояж. К Средиземному морю, в любимую Испанию. Правда, у жены появилось и постепенно усиливалось двоение, немного опухла травмированная скула, но обследование супруга откладывала «на после отдыха». И дочерна загоревшая, вернулась в Москву. 6 июня 2011 года она, наконец, посетила окулиста. Спасибо, коллеге, назначившей срочно рентгенограмму. Опухоли (да не одна, а две, к тому же, в разных органах), злокачественные опухоли!

Разумеется, подключились все. По мировым стандартам хирургия была здесь бессильна, лечить эти опухоли можно было только химиотерапией со всеми её опасностями и осложнениями. Нужно было решить главный вопрос: как будем лечиться? И это уже выбор не врача, а выбор больного, выбор между современной научной медициной и медицинской народной (традиционной). Нам было не до обсуждения этих терминов. Нужно было решать.

Решать такую же проблему и почти в это же время пришлось и моему ученику и наследнику. Человек он был талантливый, увлекающийся, с неординарным мышлением, уверовавший в эзотерику с её октавами, монадами, кундалинами. За год-полтора до болезни он написал и с помощью своих учеников, родных и единомышленников издал вначале один том «Духовная анатомия человека», а потом, будучи уже тяжело больным, ещё два тома. К первому тому он попросил, а я написал предисловие. Вот выдержки из него.

«С автором мы знакомы 37 лет. 16 лет работали вместе в знаменитом Институте нейрохирургии им. академика Николая Ниловича Бурденко. Собственно говоря, ему (Эдуарду, а не Бурденко) я, уйдя на пенсию, и оставил в наследство отдел анестезиологии-реаниматологии. Эдуард Борисович Сировский – настоящий врач и учёный. Один из лучших профессионалов в нашей специальности. А уж в знании её самой трудной проблемы – отёке-набухании мозга – ему не было равных. Но пути Господни неисповедимы. Через несколько лет он (не Господь,

а Эдуард) «заболел» идеями, изложенными в своей книге. Мне эти идеи чужды, как и их различные варианты – Блаватской, Фоменко, Мулдашева и «киже» с ними. И хотя в моей долгой жизни были события, рационально необъяснимые, я убеждён, что когда-нибудь самым «мистическим» явлениям будет дано строго научное обоснование.

Поэтому, признаюсь, что эту книгу я лишь прочитал, не пытаясь осмыслить непонятые мною её разделы. Могу лишь удивляться огромности труда автора, оригинальности его гипотез и смелости выводов. В одном я полностью согласен с автором: прошлое, настоящее и будущее настоящей медицины – в профилактике. Только начинаться она (профилактика) должна тогда, когда будущие родители только-только замыслили дать новую жизнь. А когда человек рождается, будет сделано всё, чтобы проявились лучшие качества этой индивидуальной комбинации генов. Сегодня есть наука – психоиммунология. Но ещё важнее создать новую науку – психогенетику.

Но пока этой науки нет. Пока многое мы не можем объяснить современными научными методами. И многие на земле, пожалуй большинство, верят в чудеса. Убеждён, что для них эта книга станет настольной, источником для размышлений и поисков истины».

А в дополнение к предисловию я написал вирши, воспользовавшись маршаковским переводом английской потешки «Дом, который построил Джек»:

Вот книга, которую создал Эд.
А это октава,
Которая это творение прославит
Книгой, которую создал Эд.
А это монада,
Которая славу октаве добавит,
Которая это творенье прославит
Книгой, которую создал Эд.

А вот кундалини,
Который для Эдика ныне святыня,
Которая славу октаве добавит,
Которая это творенье прославит
Книгой, которую создал Эд.

Вот тело ментальное,
Которое этой монаде лояльное,
Которая славу октаве добавит,
Которая это творенье прославит,

Монаде и Троице славы прибавит
Книгой, которую создал Эд.

А это, конечно, монада сознания,
Которая нашей души состояние,
Которое этой монаде лояльное,
Которая славу октаве добавит,
Которая это творенье прославит,
Монаде и троице славы прибавит
Книгой, которую создал Эд.

А это, мозг Эдика генный,
Который основа нашей вселенной,
Который, нашей души состояние,
Которое этой монаде лояльное,
Которая славу октаве добавит,
Которая это творенье прославит,
Монаде и троице славы прибавит
Книгой, которую создал Эд.

А это наш славный талантливый Эдик,
Который сей книгой воочию бредит,
Мозгом своим гением, навеки нетленным,
Который основа нашей вселенной,
Который этой монаде лояльный,
Которая в книге его эпохальной,
Которая славу октаве добавит,
Которая это творенье прославит,
Монаде и Троице славы прибавит
Книгой, которую создал Эд.

Выход его книги, точнее I тома и день рождения автора праздновали в ресторане на Патриарших прудах! Именно в эту ночь мы с женой должны были улететь на Кипр. Именно после этого праздника мы попали в реанимацию. А вскоре Эдуард заболел. Примерно через год после праздника выхода первого тома у него возникла опухоль. Другая, чем у моей жены, но не менее злокачественная. Одна из самых злокачественных. Доктор медицинских наук, профессор Э.Б. Сировский отказался от современной научной медицины. Правда, согласился после долгих уговоров на иссечение опухоли, но категорически отказался от химиотерапии. Посещал ли он свои любимые пирамиды, использовал ли какие-либо «мантрагоры» или благовония, не знаю. Но уж точно не изменил вегетарианству.

Умирал он тяжело. Появились метастазы. Первый – в мозге. Но даже тогда, когда он не мог говорить, Эд сохранял чёткое мышление и оптимизм. Умер он весной, завещая развеять свой прах над Москвой-рекой.

Выбор моей жены был сделан в пользу современной научной медицины, т.е. химиотерапии. Так бы решил и я, если бы это несчастье случилось со мной. Все мои болячки и болезни я отдавал в руки профессионалам-врачам, а не чумакам, кашпировским, малаховым. Поэтому прожил долгую жизнь и пока могу не только нажимать клавиатуру компьютера, писать вирши и эти строки, но и снабжать семью продуктами из «Ашана» (мой рекорд – 17 кг в тележке городским транспортом). Правда, это было год назад. Теперь и 5 кг мне тяжело.

Решили лечить по протоколу, по мировому стандарту. Можно было лечить в Германии, Израиле, США. Но обсудили и решили обследовать и лечить у нас. Протокол одинаков. Терапия была обеспечена брендовыми препаратами, не дженериками. Моя любимая племянница (великолепный врач и организатор здравоохранения) добыла квоту, и Люсю госпитализировали в наш самый специализированный институт, в специализированное отделение и, может быть, самое главное, – с лечащим врачом, в которого поверили все, прежде всего Люся. В НИИ необходимых препаратов для срочного начала первого курса химиотерапии не было, но на следующий день их опять доставила моя любимая племянница. Она, как и её родители Виктор и Мила, – настоящий

врач – и чётко знала, что в медицине «промедление смерти подобно». А уж потом её супруг, один из лучших клинических фармакологов нашей страны, обеспечивал всеми необходимыми консультациями по оптимальной фармакотерапии.

Увы, современная химиотерапия зачастую (не всегда и не при всех опухолях!) сродни мукам, придуманным инквизицией, гестапо, ГУЛАГом. И возникли тяжелейшие осложнения, а 25 августа («ах, если бы только не август, не чёртова эта пора!») Люся умирала: возник некроз поджелудочной железы, сопор, кома. Помогали все. Больше всех – коллеги.

Пытался хоть чем-то помочь и мой сын, её пасынок. Его помощь могла понадобиться: всегда бывает нужно что-то достать, кого-то и что-то привести, с кем-то посоветоваться. Но в шесть часов утра его жена, теперь вдова, позвонила и сказала, что Саша внезапно умер. Накануне он звонил с дачи, сказав, что едет в Москву, может чем-то сможет помочь. Но вечером он (по словам вдовы) неплохо поужинал, уснул и не проснулся.

А Люся умирала, и я был с ней. Сыну я уже помочь не мог, а в то, что Люся не должна, не может умереть, я верил. И мои коллеги делали всё. Я не вмешивался. Только, если было нужно, организовывал доставку каких-то препаратов, каких-то растворов. Состояние Люси было крайне тяжёлым, но «стабильно тяжёлым».

А в это время, уже через день после смерти (до сих пор не могу понять этой спешки), были назначены похороны сына. По православному обряду. Сын был крещён ещё в Чкаловске, когда мы с ним остались вдвоём. Он даже был обручён со второй своей женой в церкви. Меня привезли в зал прощанья 4-й градской больницы. Я спросил у вдовы: «Что на вскрытии?». На что она ответила: «Вскрытия не было, ведь мой шеф (вдова работала в отделе аспирантуры и ординатуры второго мединститута) – главный патологоанатом РФ, и он договорился, чтобы вскрытия не было». На вопрос жены сына Люси: «Почему?» – я ответил, что теперь это не имеет значения: отменить отпевание? Смерть не совместима со скандалом. Воскресить сына я не мог, а сил мне должно было хватить, чтобы помогать лечить Люсю.

Из-за тяжелейших осложнений решено было прекратить химиотерапию Люси и проводить симптоматическую терапию дома. Вот тогда мои друзья-ученики создали клинику на дому. Но дома Люсе становилось всё хуже и хуже. Вот такие послания рассылал я моим друзьям и её родным:

Дорогие друзья! Я вынужден был обратиться к лечащему врачу Люси – руководителю отделения химиотерапии Института гематологии, так как понял, что 15 ноября она не сможет выдержать исследование ПЭТ. Её ответ я и посылаю всем вам. Восстановление сил у Люси происходит очень медленно и плохо. Часто она отказывается от еды, жалуясь на тошноту. И действительно, например, вчера тошнота закончилась рвотой. Могу только предположить, что тошнота – эквивалент её мигреней, которые у неё всю жизнь продолжались иногда по трое суток. Немного улучшается её состояние, когда удаётся

её лучше покормить, тогда, когда кто-то приходит. Дорогие друзья! Вы сделали всё возможное и невозможное, чтобы помочь в лечении Люси. Я очень прошу всех вас: кто может, пожалуйста, приходите хоть ненадолго! Всё остальное мы сделаем с сиделкой. К сожалению, вылечить свои болячки я не могу, но пока мне удаётся избежать вынужденного отсутствия и делать всё, что в моих силах, для её восстановления.

10.11.11 ответила её замечательный лечащий врач:

Глубокоуважаемый Алексей Зиновьевич! Один месяц после химиотерапии является минимальным сроком, необходимым для получения достоверных данных по ПЭТ, то её можно сделать позже, а раньше нет. Точно такая же ситуация с лучевой терапией: мы проводим через 1–3 месяца. Поэтому у нас с Вами есть время для восстановления состояния Людмилы Викторовны. Лучевая терапия в случае Людмилы Викторовны не является принципиальной мерой, а скорее всего это для нас с Вами, как успокоительная таблетка. Почему? Потому что её заболевание относится к агрессивным лимфомам, требующим интенсивной химиотерапии, в связи с чем ей и была проведена такая терапия, но с тяжёлыми осложнениями и не до конца. В результате проведенного лечения получен хороший, но не полный ответ, поскольку по данным КТ и МРТ опухолевидное образование сохраняется. Но мы не знаем, это опухолевая ткань или фиброз. Если бы её состояние позволяло, мы бы выполнили повторную биопсию оставшегося опухолевидного образования и доказали, что из себя представляет остаточная опухоль. Поскольку нам этого сделать не удалось, приходится гадать на кофейной гуще, а именно проверять временем и результатами ПЭТ: если это опухоль, то будет быстро прогрессировать, и лучевая терапия ни к чему, придётся в таком случае назначить паллиативную терапию; если нет, тогда закрепим достигнутый результат лучевой терапией. Роль лучевой терапии при агрессивных лимфомах как закрепляющей терапии в настоящее время подвергается сомнению. Поэтому я говорю, что это успокоительная таблетка для нас с Вами.

Я прошу Вас набраться терпения, перенести ПЭТ на 20–25 декабря, может быть, к этому времени состояние улучшится, ещё раз прошу Вас не суетиться, мы с Вами сделали всё, что можно было, остальное в руках Всевышнего.

Но состояние становилось всё хуже и хуже.

Дорогие друзья! Третий день у Люси продолжается тошнота и отказ от еды. Сейчас мы провели консилиум с Леонидом Юрьевичем, Додо Батуевой и Иваном Анатольевичем (он консультировался по телефону с Галстяном – руководителем отдела анестезиологии и реаниматологии Гематологического научного центра РАМН. Именно он спасал Люсю от осложнений химиотерапии). Решили на некоторое время (5–7 дней) перевести Люсю в отделение реанимации Института нейрохирургии. Там обследуют и устранят дефицит и жидкости, и белков, и т.д. Другого выхода мы не видим.

И 13 ноября Люсю перевезли в отделение реанимации института. Перевозка прошла, слава Богу, вполне благополучно. Из письма друзьям:

К Люсе меня сегодня не пустили, чтобы я не «давил» своим присутствием на врачей. Завтра пойду к 12, так как в отделении сохранился мой традиционный по-

рядок обходов – в 8:15 и в 13:00. Как я понял из беседы с Леонидом, алгоритм такой: 1. Несколько дней она будет в реанимации (обследование, выбор метода питания и коррекции водно-электролитных нарушений). 2. Затем, когда у Потапова освободится одноместная палата (дня через три), Люсю переведут в его отделение.

Саша Потапов, мой ученик, а теперь – Александр Александрович Потапов – руководитель нейротравматологического отдела института, академик большой и медицинской академий, лауреат Государственной и других премий, и прочая, прочая. Он сделал всё возможное и невозможное, чтобы выводить мою жену. Нормализовалось дыхание, кровообращение, появился аппетит и маниакальное стремление домой. Но опухоль дала метастазы:

02.11.11. На сцинтиграммах всего тела, выполненных в передней и задней прямых проекциях визуализируются костные структуры, интенсивно и симметрично накапливающие ^{99m}Tc технефор. Выявляется значительной интенсивности повышенное патологическое накопление препарата в левой гайморовой пазухе с распространением в носовые ходы.

Отмечается повышенное накопление радиофармпрепарата в проекции клювовидного отростка левой и правой лопатки, неоднородное распределение препарата в шейном и грудном отделах позвоночника. Отмечается неясной этиологии накопление препарата в области средостения. Визуализируются очаги повышенного патологического накопления в области передних отделов XII ребра слева и подвздошно-лонного сочленения слева. Выявляется очаговое накопление в области верхнего полюса правой почки и меньшей интенсивности очаги в левой почке. Остаточное накопление препарата в почках и мочевыводящих путях соответствует времени исследования. Выявлено очаговое накопление препарата в (лимфоузлах?) забрюшинном пространстве, с большим распространением справа.

Т.О. по данным исследования имеется подозрение на прогрессирование основного заболевания.

Вот письмо, написанное в тот окаянный день:

02.12.11. Дорогие друзья! Посылаю результаты обследования Люси на гамма-камере и УЗИ. Всё ужасно. Что делать, не знаю. Принимаю любые советы вплоть до нетрадиционной медицины. ПЭТ Люся не выдержит, но даже если сделаем ПЭТ, то ведь главное – как лечить?

Мы, мои коллеги и я, искали нестандартные методы лечения опухолей Люси. И я нашёл его – химиопрепарат, не разрешённый в РФ, но применяемый за рубежом. Я давно знал и писал об этом препарате, но по другому поводу. В 1977 году в нашей стране вышел первый учебник анестезиологии-реаниматологии для медицинских институтов. Я был одним из его авторов, автором его первой главы, посвящённой истории нашей специальности. И в ней я резко осудил использование этого препарата, рекомендованного в 50-е годы прошлого века, как лучшее седативное средство. Этот препарат принёс много горя, став причиной уродств у новорождённых детей. Прошли годы, были обнаружены его противоопухолевые свойства. При терапии почти таких опухолей, которая

поразила жену и теперь распространилась, несмотря на проведенную химиотерапию, по всему организму. И, как всегда ночью, я написал моим коллегам:

04.12.11. Вот нашёл такой препарат! Коллеги и друзья! Ваше мнение? Допустимо ли и как это обосновать? Я ещё посоветуюсь, изучу возможные осложнения и сразу сообщу. Наверное (99%), он понадобится.

Этой же ночью ответила Виталина:

Я готова заказать его за рубежом. Только дайте команду.

А днём лечащий врач подтвердила, что она знает о применении этого препарата при подобных опухолях, но...

Самое главное, нам бы с Вами Людмиле Викторовне не навредить. Я любое назначение делаю с очень большой тревогой. У этого препарата много побочных эффектов и что...

Из инструкции к препарату: Пациентов необходимо информировать, что упомянутый выше продукт не зарегистрирован для лечения. Необходимо разъяснить рациональность его применения с исчерпывающими ответами. Перед началом лечения пациент или его уполномоченный представитель, находящийся в здравом уме, должен дать письменное информированное согласие на лечение указанным препаратом...

Решение было за Люсей. Она его уже делала в пользу химиотерапии «по протоколу». Но теперь нужно было делать ещё более сложный выбор – выбор фактически экспериментальной химиотерапии с огромным числом возможных осложнений и непредсказуемыми результатами. Думаю, что решающее значение имело то, что жена была из поколения врачей, которое не ждало разрешений. Её покойный брат Витольд много лет назад испытал на себе первый отечественный мышечный релаксант дитилин. О том, какие боли может испытать человек при его неправильном применении, я уже рассказал. Да и мы, Виктор, Омар и я, испытали на себе флюотан, когда уже знали об остановках сердца при его использовании.

Я не называю этот химиопрепарат, хотя теперь его аналог вроде бы применяют и в России. Могу только предупредить, что осложнения были тяжелейшими. Преодолевать их (и не до конца), удавалось только с помощью самых крутых специалистов – кардиологов, неврологов, энтерологов, диетологов, артрологов, аллергологов, онкологов, офтальмологов.

Это была долгая и тяжёлая терапия. Падало артериальное давление почти до нуля, терялось сознание, вновь требовалось переводить Люсю в реанимацию, а потом надолго в стационар. Да и как причину обострения её ревматоидного полиартрита я не могу исключить этот препарат. Но 29 мая 2012 года было всё же проведено ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). Вот это заключение:

На серии томограмм всего тела (от верхнего края глазниц до верхней трети бедра) патологических очагов гиперметаболической активности, а также измененного состояния лимфатических узлов изученных групп не обнаружено.

Заключение: на момент исследования данных о наличии активной специфической ткани не получено.

К сожалению, в июле резко обострился её полиартрит. Усилилась деформация пальцев. Болевой синдром не удавалось купировать ни обезболивающими мазями, ни ненаркотическими анальгетиками, ни трамалом. Консультант-артролог назначил терапию гормонами. На этом фоне специалисту удавалось даже проводить сеансы лечебной физкультуры.

Но 27 января было воскресенье – традиционный день получасового визита её сына, невестки и внучки. После их ухода Люся отказалась от ужина, но всё же выпила немного отвара кураги и приняла «вечерние» лекарства. Катастрофа началась утром: возникла рвота кровью, а артериальное давление упало почти до нуля. Спасибо Леониду и Ивану: уже в полдень Люсю удалось перевести в отделение реанимации института гематологии. Наш замечательный коллега, руководитель этого отделения сделал всё, чтобы не было проблем ни с госпитализацией, ни с экстренной гастроскопией. Были обнаружены и коагулированы две язвы на малой кривизне желудка.

Post hoc non est propter hoc. Не могу исключить, что причиной язв могли быть и нестероидные анальгетики (наш любимый – и Люсин, и мой – препарат – диклофенак), и гормоны. Но не могу исключить и стресс – от запрета внучке общаться со мной.

Вот так закончился первый месяц 2013 года. Две недели в реанимации продолжалась инфузионная терапия, эрадикация язв, борьба с болевым синдромом внутривенным введением анальгетика, который, увы, нельзя было использовать дома. Но были мобилизованы все организационные ресурсы и в выписке рекомендована современная нетравматичная система длительного обезболивания.

А это, да простит меня читатель, заслуживает подробного описания. Значительную и наиболее плодотворную часть своей жизни я посвятил проблемам обезболивания. В меру моих литературных способностей (или неспособностей) я это уже описал в предыдущих главах. Один из таких новых методов непосредственно относится к борьбе с болевым синдромом Люси. В 1959 году был разработан оригинальный метод общего обезболивания – нейролептанальгезия. Детали его хорошо известны специалистам. Одним из главных лекарственных его компонентов был наркотик, отличавшийся от других наркотиков кратковременностью действия и наименьшей отрицательной способностью привыкания к нему. Придуман был этот метод и препараты в Европе, но очень скоро начал широко применяться и у нас. А так как в эти годы я разрабатывал методы общего обезболивания у детей, то вскоре в подвале больницы, на базе которой был мой научный отдел, появились коробки с десятками тысяч ампул препаратов, необходимых для нейролептанальгезии. Убеждён, что это была одна из лучших научных работ нашего отдела педиатрической анестезиологии-реаниматологии. Мы разработали дозировки для детей разных возрастов и с разными заболеваниями, требующими хирургического вмешательства под общей анестезией. И дол-

гие годы, во всяком случае до моего ухода на пенсию, этот метод общего обезболивания был одним из наиболее востребованных.

Но теперь был другой век – век борьбы с наркоманией. И главной «злокачественной язвой» этой пандемии в нашей стране стали врачи. Получить любое наркотическое вещество дипломированному врачу-профессионалу стало не только трудно, но практически невозможно. Я убеждён, что половины смертей от инфаркта миокарда можно было бы избежать, если бы у больных со стенокардией была бы наготове ампула с морфином и шприц для его введения при болевом синдроме. Разумеется, больной был бы обучен, а ампула с морфином пусть бы хранилась как нарезное оружие в маленьком домашнем сейфе. Наверное, тогда не погиб от инфаркта академик, мой друг и соавтор.

Система длительного обезболивания всё же была получена, и в ночь на 23 февраля Люся спала и проснулась без болей. Я немало сделал в медицине, но получение мной для Люси этой системы обезболивания стало предметом моей наибольшей гордости. Мне ведь шёл 87-й год. Волнения и поездки в реанимацию к Люсе, малоэффективная борьба на дому с её болевым синдромом не улучшали мою стенокардию и гипертоническую болезнь. И я по своей наивности полагал, что, пригласив её лечащего врача, вручив ему авторитетное заключение, немедленно получим необходимый препарат. Увы, лечащий врач, отвечающий за жизнь больного, был лишён этого права. Единственное, что он мог, это сделать заявку на визит онколога. Но онколог посещал онкологических больных лишь раз в неделю. Пришлось на перекладных добираться до онкодиспансера. Полученное предписание должно было быть доставлено лечащему врачу, который должен был согласовать выписку рецепта с заведующим.

А ваш покорный слуга еле смог добраться из онкодиспансера домой: гипертонический криз уложил меня на сутки. Поэтому предписание в поликлинику было доставлено лишь через пару дней с помощью социального работника. Сотрудник пришёл через сутки, но без этого препарата, объяснив, что взять на себя ответственность за оформление и ответственность за его использование он не может. Выхода не было. Пришлось, наглотавшись нитроглицерина, идти в поликлинику. Путь неблизкий, да ещё в гору. Как в эту отлично работающую поликлинику добираются старики-инвалиды, я не представляю. В поликлинике сделали всё, чтобы оформить необходимые документы, и рецепт, наконец, был получен. Но зато получить по этому рецепту препарат мог уже любой человек, коего грабануть мог и мало-мальски информированный наркоман! Хотя вряд ли наркоман получит кайф от этого пластыря!

Трокажённый

*В моём изгнание позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны – если буду
Тобой оправдан, Аристид.*

Александр Пушкин

В декабре 12-го года Шура (внучка моей жены) перестала звонить мне, но всё же, когда раз в неделю навещала вместе с родителями бабушку (обычно вечером в воскресенье), на минутку заходила и ко мне в спальную комнату. Ждал я её и 16 декабря. Но она не зашла, а потом и перестала звонить, наверное, из-за запрета её отца. Кто-то из моих друзей сказал, что причина проста: я не дал умереть моей жене и обременил её сына – отца Шуры – необходимостью заботы о матери в случае моей смерти или тяжёлой болезни. Но при всём моём неуважении к нему, поверить в такое я не могу.

Мне горько и обидно. Но всё равно Шурка – моя внучка. Ей посвящена моя первая и лучшая (по моему мнению) сказка «Мышка заболела». Когда Шурка родилась, мне было 70 лет, но я приезжал с пересадками, чтобы вывести её в парк. И не так, как её мама, – через громахающее Рублёвское шоссе, а обходным далёким путём через подземный переход. На тех же перекладных я ездил в самую рань, чтобы занять очередь в детскую поликлинику, дабы Шурка была первой к врачу и не контактировала (профилактика инфекций) с другими детьми. Мне Шурка показывала свои первые сочинения, и у меня хранится её стихотворение:

Если ты пришёл учиться
И забыл тетрадь в постели,
То пиши на партах, стульях,
У соседа на лице,
И тогда учитель важный
Вас заметит непременно,
И оценит безусловно
Ваши знания на 5.

Саша 22.03.09

Значит, запала в её красивой головке моя еврейская ирония. А Шурка, когда станет жить самостоятельной жизнью, всё поймёт. Она с золотой медалью окончила гимназию и поступила, куда и хотела, в «Вышку» на факультет государственного и муниципального управления. Я надеюсь, нет, я убеждён, что Шурка, какой бы потом пост она не займёт, останется добрым хорошим человеком и, надеюсь, придёт на мою могилу.

Хотелось бы всех поимённо назвать

Т ак завещала Анна вся Руси в своём великом «Реквиеме». Мои друзья и мои коллеги – люди великого нравственного закона, который, как и звёздное небо, так поражал Канта. Только благодаря им Люся жива и будет жить столько, сколько ей определено её природой, её генами. Мои друзья разной веры. Есть среди них и атеисты, и христиане, и иудеи, и мусульмане. Для них нравственный закон определён истиной, которую Николай Гаврилович Чернышевский, перефразировав Гегеля, определил так: «Отвлечённой истины нет; истина конкретна». И такой истиной для моей племянницы, друзей и коллег была реальная, максимально быстрая помощь: и когда нужно было срочно провести диагностику, и когда нужно было достать квоту для госпитализации, и когда нужно было достать дорожные лекарства, и когда нужно было транспортировать Люсю в стационар и из стационара. И это было в любое время суток по завету Михаила Аркадьевича Светлова: «Дружба – понятие круглосуточное».

Где мне найти слова благодарности моим друзьям и коллегам? Не обижайтесь за последовательность или, точнее, непоследовательность моего низкого поклона всем вам! Не обижайтесь за то, что здесь я называю на ты и тех, с кем мы всё ещё «выкаем» друг другу. Не обижайтесь и за то, что я, может быть, испортил мою благодарность своими виршами. Писал я их по разным поводам, но всегда с искренней любовью ко всем вам.

Дорогая Аминат, Вы сделали всё, что могли: поставили самый точный диагноз, выбрали оптимальную терапию, обеспечили лучшую палату рядом с собой, приходили раньше всех и уходили позже всех; всегда, приходя и уходя, навещали прежде всего Люсю. Вы приезжали к нам домой, хотя живёте от нас очень далеко, и всегда, в любое время суток немедленно решали все проблемы диагностики и лечения. Дай Бог здоровья и счастья Вам и Вашей дочурке Пати.

Спасибо тебе, Саша, что ты нашёл и обеспечиваешь уже столько лет круглосуточную сиделку для Люси. За то, что ты терпел мои капризы, когда издавал мои и наши творения, за то, что тебя Люся всё же слушается, за то, что у тебя есть Маша, с которой мне так хорошо работается:

Служил Островский в институте,
Больных Островский оживлял,
Но на душевном перепутье
Усы и ОМБ создал.
Потом расширил он палитру:
И походя, создал ИНВИТРО.
Хотя завистников не счесть, -
ИНВИТРО быть! ИНВИТРО есть!

Вита, дорогая! «Только дайте команду!» – так говорила ты, когда нужно было достать лекарство из-за рубежа, когда нужно было срочно сделать анализы.

Умна, красива, элегантна –
Не перечислить все таланты! –
Политкорректна: друг – еврей
Маневич, хоть и Алексей.

Спасибо вам, Лёня и Додо, обеспечившие много раз всё: и госпитализацию, и необходимый транспорт, и исследования вне забитых очередей на эти исследования, и просто дружбу:

Не то беда, что ты еврей –
Евреем был Альберт Эйнштейн!
И что главврач – то не беда:
Средь них есть люди... иногда.
Беда в другом (все говорят),
Что на грузинке ты женат,
Так что пока не надоест,
Неси, еврей, на шею крест.

Валентин! Спасибо тебе за самую современную дорожную функциональную кровать у Люси, за то, что доживать жизнь я буду в перестроенной тобой квартире – удобной, уютной и тёплой.

Где ты сегодня в день рождения?
В Малаховке или в Снегирях?
Быть может, в Мюнхене, в Женеве?

Или в заоблачных краях?
Коль присмотреться, со спины
И крылышки уже видны.

Спасибо тебе, Ольга, что ты выбрала самую лучшую функциональную кровать для Люси, организовала её доставку и монтаж. Спасибо за то, что ты постоянно ликвидировала мою генетически языковую малограмотность, что у меня всегда работает компьютер и Интернет:

Сегодня я с большой охотой
Подарю свой опус Котовой.
Ведь она читала первой,
Не жалея свои нервы.
Так что, если будет суд,
Нас обоих призовут.
Может перед наказаньем
Уступить моим желаньям?

Спасибо тебе, Оля, что ты была со мной в самые трудные минуты; что в холод и в дождь ты была связующим звеном между всеми нами – мною, ИНВИТРО и ОМБ:

Оле Лукоие и Оля Чукреева –
Оба они из страны Берендеев;
Только и в этой стране Берендеев
Оля себя жалеть не умеет.

Спасибо тебе, Дима, за помощь в дни похорон сына и за защиту от всяких проверяющих на работе. Этим виршам был предпослан эпиграф – «С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемо-хвостатых»:

От имени всех крокодилов –
Мой хвост, увы, длинён! –
Желаю: быть таким же милым,
Здоровья, радости и силы,
Удач – всегда, во всём.

Спасибо тебе, Володя, что у Люси, когда она приехала домой, было всё необходимое для ухода за ней.

Профессор, муж, отец, а впрочем,
Лауреат – многостаночник,

Чтоб обеспечить всю семью,
Но исключительно свою.

Спасибо тебе, Саша, что ты, став академиком двух академий, остался просто человеком, выделил лучшую палату в твоём перегруженном отделении, сделал всё, чтобы Люся смогла вернуться домой и перенести тяжёлую химиотерапию.

Менял профессии и жен;
Наверно в этом есть резон,
Коль сможешь, усмирив стихию,
Возглавить нейрохиргию.

Андрей, у меня всегда в порядке все необходимые бумажки, без которых я, как и все, – букашка; за то, что у меня всегда работает Интернет, всегда работает компьютер и всегда можно быстро согреть еду.

На память Андрею от автора книжки.
Книжка – сказка при бедную мышку.
Мышку спасли. Ведь была аналогия:
Прежде ты спас “Итарологию”.

Спасибо тебе, Эдуард! Я посвятил тебе даже оду, но рад, что, всё же, ошибся в первой эпиграмме, и ты уже много лет доктор наук и профессор:

Всё может проверить, измерить, наладить,
Все книги прочесть и всех женщин погладить,
Киев, Тбилиси и всё на бегу,
Но диссертацию кончит в гробу.

Спасибо вам, Иван, Валюша, Марина, Нино, Константин, консультировавшие и помогавшие Люсе в любое время суток.

Спасибо вам, мои дорогие соседи, решавшие наши бытовые проблемы, никогда не забывавшие в воскресный день после посещения церкви позаботиться о наших нуждах.

Нина и Лариса, спасибо за то, что Люся предупреждает возможные перемены, так как ежедневно ест привезенный вами отличный рыночный творог. А ведь путь к нам от вас неблизкий!

И ведь в это время у всех у вас были свои сложнейшие семейные и рабочие проблемы! Но вы помогли нам, потому что ваш нравственный закон выше и главное протоколов и законов.

Сегодня много сетуют на отсутствие у современных россиян сострадания, пишут и показывают мерзости эгоизма, жестокости, садизма. И мне, увы, это пришлось испытать во время наших бед и горя.

Ничем нам не помогла вдова сына, хотя практически всё, что у них с моим сыном было, а у вдовы осталось – квартира, обстановка, дача, авто – подарено было Люсей и мной. Вдова считает себя православной христианкой. Она даже венчалась с моим сыном. «Коемуждо по делом его». Ей зачтётся и корыстолюбие, и ложь, и мошенничество, и воровство (присвоение наших семейных реликвий и немалого долга), а главное – нарушение заповеди «Не убий».

Я убеждён, что мой сын или был отравлен, или ему не была оказана помощь. Иначе, зачем было запретить вскрытие сына, у которого даже не было поликлинической карточки. Подтверждает это фрейдовская оговорка вдовы. Я спросил её на поминках: «Почему нет соседей по даче, которые так любили Сашку?». На что последовал ответ: «Они ПРАЗДНУЮТ там, на даче».

Я атеист, хотя христианин, так как считаю Нагорную проповедь высшим нравственным заветом. Но всё же, может быть, есть Божий суд, который страшнее Басманного суда.

И ещё раз о моих друзьях и коллегах, спасших Люсю. Да, современная медицина не всесильна. Поэтому в отчаянье люди бросаются к знахарям, колдунам, экстрасенсам. Но мой учитель был примером борьбы до конца в самых безнадежных ситуациях. Да и моё поколение, создавшее итарологию в нашей стране, находило нестандартный выход. Поэтому мы смогли ликвидировать опухоль. И я верю, что Люся всё же встанет и выйдет из дома. Пусть этот мир несовершенен. Но это тот мир, в котором мы жили и живём. И другого мира, другой страны, другого города у нас не будет.

Прощание еврея

В годы войны на плацу в Кронштадте я маршировал под «Прощание славянки». Теперь мне больше подходит Marche funèbre Шопена. Но, учитывая мою генетику, наверное, нужно на моих похоронах играть похоронный марш Мендельсона (такой есть). Хотя, может быть, подойдёт мелодия старого похоронного марша В.И. Агапкина (горжусь, что мой текст на эту горькую мелодию можно найти в Интернете):

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

А. Архангельский (Антон Амосов)

*Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат...*

Сергей Орлов

*Воркута, Инта, Магадан!
Кто вам жребий тот нагадал?!*

Александр Галич

Вы жертвою пали в той битве святой,
Любви беззаветной к России,
В боях за Берлин, в лагерях под Интой
Вы смертью Победу свершили.

Огонь ваших душ у кремлёвской стены
В ночи сиротливо мерцает,
А там за углом в ряд стоят палачи,
И звёзды их грудь украшают.

Смерть смертью поправ, вы Россию спасли.
Победа простого народа –
Вы отдали всё за неё, что могли,
За правду, за честь, за свободу.

Мой 88-й год начал отсчёт. Я стал совсем стар. Мне бывает очень трудно утром встать и привести себя в порядок. Много, много сложностей в жизни стариков.

Да и моя страна за эти годы похужела. Я не ходил на Болотную. И не только потому, что не мог это сделать физически. Как бы мне ни были неприятны путины и медведевы (миздюлины, вассерманы, нарочницкие и им кижелёвоподобные шариковы), но ещё противнее шелупонь руссоарийцев типа бортковых.

Какой-то депутат из ЕР растоптал на думской трибуне белую ленточку – «символ предательства» России. Её надевали митингующие на Болотной. Теперь я всегда ношу такую ленточку под значком ветерана ВОВ. Да простит меня Булат Окуджава, но я позволил себе изменить его стихи.



*Красавица и Чудовище
C'est la vie*

*Нынешний же пламенный юноша
отскочил бы с ужасом, если бы по-
казали ему его же портрет в старо-
сти. Забирайте же с собою в путь,
выходя из мягких юношеских лет в
суровое ожесточающее мужество,
забирайте с собою все человеческие
движения, не оставляйте их на до-
роге, не подымете потом!*

Н. В. Гоголь

Поднявший на свободу меч,
Подвергнут будет страшной каре;
Презренья стоят те тогда,
Кто голосует с ним на пару.
Как вожделенно ждут они:
Вот будет брешь у нас в цепочке...
Возьмёмся за руки, друзья,
Наденем ленточки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
И белых ленточек, друзья,
Нас свяжет – мы одна семья,
Нас не сожрут поодиночке.

Среди нам чуждых нелюдей
И сверху утверждённых мнений
Возьмёмся за руки скорей,
Возьмёмся за руки скорей
И ленты белые наденем.
«Покуда полоумный жлоб
Сулит нам дальнюю дорогу
Возьмёмся за руки, друзья,
Возьмёмся за руки, друзья,
Возьмёмся за руки, ей-богу».

Мы верим, что придёт тот час,
Когда мы возвратим свободу,
И ленты белые у нас,
И ленты белые на нас –
Сегодня – маяки народу.
Пока нам не связали рук,
Пока ещё мы вместе,
Возьмёмся за руки, мой друг,
Возьмёмся за руки, мой друг,
И будем жить, друзья, по чести

29.10.12

Я 100%-ный русский еврей? Именно – русский. По-русски мне пела мама колыбельную Моцарта. Моей первой и самой любимой нянюшкой была бабушка Дуняша, и запах рязанских ржаных лепёшек, которые она привозила, навсегда остался для меня символом счастья. Сказки Пушкина и русские песни нашей соседки Екатерины Степановны были, да и остались, основой моих эстетических пристрастий. На выпускном вечере в Рязани подшофе я, забравшись на стол, запел «Дубинушку». Самая любимая мной песня – «Среди долины ровныя...».

Только сейчас вспомнили, что в 1612 году Россия окончательно избавилась от чужеземного господства. А я 20 лет назад назвал этот год годом Отечественной войны. В 1954 году вышла моя первая ненаучная книжица «Автобиография в 5 пунктах». Одну из страниц я посвятил светлой и радостной женщине – Валентине Шайдаковой. Вот эти строки: «Мы встретились в больнице. Не как коллеги, а как пациенты. Прошли десятки лет, но если во мне и остались крохи веры в бескорыстную доброту, то только благодаря той, которая по «счастью», как и я, страдала туберкулёзом, но вдобавок тяжелейшей непереносимостью всех лекарств. Но и помирая после пробы нового антибиотика, она держалась как ратница Отечественной войны 1612 года, недаром она из нижегородцев. А когда её отпускала аллергия, она создавала центр оптимизма в нашем печальном мире». Уж не знаю и не помню откуда у меня убеждённость в том, что на Руси Минин и Пожарский всегда олицетворяли первую Отечественную войну. Увы, многим вставшим на защиту родной земли крестьянам и их потомкам эта война не принесла свободы, как и две другие Отечественные войны.

Но я очень люблю «7.40» и «Хава нагила». Ещё в детстве я навсегда впитал от отца самоиронию еврейского анекдота, помогавшего выживать в самые трудные периоды моей долгой жизни. Да, мои самые любимые поэты – русские. Но мне «внятно всё: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». В годы войны я зачитывался Шиллером. А если бы мне на необитаемый остров нужно было бы взять только одну книгу, то я бы выбрал или Рабле, или сказки Андерсена. Но, всё же из зарубежных классиков теперь мне ближе всего Гейне с его иронией, прежде всего к самому себе, а из литературных героев – Тевье-молочник. Ведь это он, переживший, как Иов, тяжкие горе и беды, закончил исповедь: «Давайте поговорим о чём-нибудь более весёлом. Что слышно насчёт холеры в Одессе?».

Я горжусь победой России над фашисткой Германией, но я горжусь и тем, что евреи внесли, как бы ни злобствовали антисемиты, огромный вклад в современную цивилизацию. Я даже написал такие вирши:

Торжество антисемита

Знаем мы

эти

жидовские штучки —

разные

Америки

закрывать и открывать!

Владимир Маяковский

Скончался последний еврей!
Теперь на земле просторно,
Больше не будет людей,
Которые «обло, озорно».

Не приведёт Моисей
Через пустыню к Синаю,
Скроет тропу репей,
Мхом прорастут скрижали.

И Гавриил не придёт
К Деве с благою вестью,
На гору Он не взойдёт,
Снятый с креста, не воскреснет.

Стереть бы на компасе румб,
Европы б закат не продлился,
Когда бы марран Колумб
В Америку не прокатился!

Маркс подсчитал капитал,
И стало всем очевидно,
Что кризис всех обобрал —
Аристократов и быдло.

Сердца любовный пыл
Рыцарь влагал в канцоны,
Пока доктор Фрейд не открыл
Либидо в наших кальсонах.

Падало яблоко вниз,
Всегда повинуюсь закону,
Пока Эйнштейна каприз
Закон не сменил Ньютона.

Теперь настанет покой!
Слава Богу, их не осталось!
Вернёмся в палеозой
Иль в первозданный хаос.

Царит везде тишина,
Новаций страшиться нечего...
.....
Падает снег, как всегда,
Звездой шестиконечной.

Много, много раз я мог уехать из России: и во Францию (лет пять был женат на поданной этой страны), и в США (где-то в Филадельфии есть потомки моего дедушки по маме), и, разумеется, в Израиль. Хотя, как ни странно, но там, увы, у меня нет даже отдалённых родственников. Может быть, и надо было бы? Ведь все мои надежды 90-х годов, надежды на возрождение цивилизованной России начали исчезать, когда в армии возродили кровавый флаг и стали говорить «товарищи офицеры», когда депутаты замычали михалковским гимном, когда в школах светского государства ввели уроки богословия. Что уж говорить о государственном



«Доктор говорит: не трус!»

и московском ТВ. Мерзко. Но жить надо. И не только потому что я убеждён в собственной нужности для тяжело больной жены, но так бывает хорошо, когда правнук прижмётся к «деду» (так он называет меня), ища защиты от мамы или няни, или захочет в который раз перечитать мою сказку про большую мышку.

В эти тяжёлые годы я спасался работой. Благо бессонница позволяет без помех работать за компьютером. Мой рабочий день начинается в 4 часа утра. И в 2012 году (на 86-м году моей жизни) нам (мне и Маше с Сашей) удалось сделать неплохой справочник «Лабораторная диагностика для всех». В нём более 700 страниц, т.е. по странице в день, точнее в ночь. Но ведь тогда бессонница не так мучительна. Надо ли говорить, что я не борюсь с бессонницей снотворными. Может быть, это идефикс, но я убеждён, что даже самые лучшие снотворные медленно убивают память.

В мае 2012 года я даже сделал программный доклад на 1-м Международном симпозиуме по нейрореанимации. Вот некоторые выдержки из него:

Этот симпозиум посвящён важнейшему разделу фундаментальной медицины и биологии – методам защиты и спасения мозга человека. Позволю напомнить, что реаниматология зародилась фактически в институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Именно в нём С.Н. Фёдоровым было совершенно для тех лет невероятное – длительной респираторной поддержкой, особой инфузионной терапией после тяжелейшей травмы были спасены жизнь и мозг академика Ландау. Этим было доказано, что оживление (жаль, что этот русский термин заменён на термин «реанимация») возможно только при условии временного искусственного замещения жизненно важных органов и систем. На основе анализа и оценки всего комплекса жизнеобеспечения после нейрохирургических вмешательств на самых «запретных» отделах мозга, разбор успехов и осложнений послеоперационного периода позволили впервые сформулировать определение термина «интенсивная терапия» как сочетание методов этиопатогенетической терапии с методами временного искусственного замещения или управления жизненно важными функциями организма. Замечательным результатам современная нейрохирургия во многом обязана не только себе, но и современным методам нейроанестезиологии и интенсивной терапии. Теперь летальные исходы в институте после операций на самых труднодоступных отделах головного мозга – менее 2%. Но при черепно-мозговой травме они всё ещё в самых лучших клиниках не ниже 20%. А ведь каждая жизнь бесценна!

Улучшить и эти результаты возможно. Для этого нужно изучить отличия конкретных методик итарологии в нейрохирургии от этих методик в других областях хирургии. Эти различия, полагаем, обусловлены различиями в «норме патологии» для разных заболеваний, разного ответа на заболевание и оперативное вмешательство. Значения этих оптимальных изменений различных показателей при конкретной патологии и конкретном оперативном вмешательстве могут быть определены и свидетельствовать об успешном действии механизмов саногенеза. И наоборот – показывать их недостаточность и необходимость поддержки или замещения недостаточно эффективных жизненно важных функций. Мы сформулировали это так: *Regens defendo* – управляя, защищаю.

Оптимальные значения показателей необходимых защитных реакций могут быть различными у больного с патологией мозга и с патологией эндокринной системы, у ребёнка и старика, при операциях на полушариях и на глубинных структурах мозга.

Но эти реакции зависят не только от макроорганизма. Человек живёт не в гнотобиокамере, а в биоцинозе – в теснейшем контакте с микроорганизмами. Многие микробы необходимы человеку, как кислород. Эти микробы защищают человека от вредных микроорганизмов. Принцип Клода Бернара о необходимости постоянства внутренней среды организма как условия его независимого (т.е. здорового) существования должен быть распространён и на необходимые для него микроорганизмы. Оптимальное состояние системы «человек – микроорганизм» – эубиоз. Многие факторы его нарушают: это само поражение мозга, гормоны, антибиотики, гиперосмолярные растворы. Дисбиоз создаёт благоприятные условия для приживания патогенной микрофлоры, для избыточного размножения условно-патогенной флоры. При выраженном дисбиозе сопутствующая или оппортунистическая микрофлора распространяется в свободные от них органы и ткани, вызывая нагноение, вплоть до сепсиса. Поэтому необходимо наряду с определением традиционных жизненно важных показателей крови и мочи внедрять дооперационную лабораторную диагностику дисбиоза.

Для меня абсолютно бесспорно, что дальнейшее улучшение результатов нейрохирургических вмешательств возможно только на путях персонализации медицины, прежде всего, на основе учёта генетической индивидуальности конкретного больного. Например, учёт особенностей генов тромбозитарного гликопротеина, гена протромбина F2, гена коагуляционного фактора V позволит лучше предупреждать тромбоэмболию лёгочной артерии. Генетические факторы (мутации) выявляются у 50% больных венозным тромбозом. Некоторые из них (лейденская мутация, мутация в гене протромбина, дефицит антитромбина III) являются факторами высокого риска развития венозного тромбоза. Полиморфизм, обуславливающий синдром гипер-IgD, может стать причиной необъяснимой послеоперационной лихорадки, а полиморфизм гипер-IgG – синдрома повторных тяжёлых инфекций, особенно у онкологических больных. И т.д., и т.д.

Я считал и считаю важнейшей проблемой медицины спасение мозга человека. И меня не останавливает то, что сегодня «смерть мозга» – основа трансплантологии. Сегодня это действительно так. Но такая трансплантология – временный, тупиковый путь. Будущее нейрореаниматологии – это теоретическая и практическая генетика, иммунология, теория и практика саногенеза. На путях эволюции человек утратил способность регенерировать органы так, как ящерица восстанавливает свой хвост. Но это вовсе не значит, что возможность регенерации полностью утрачена. Саморегенерируются многие органы. Убеждён, что возможно воссоздание погибшего мозга. Только с нашей помощью. Для этого нужны долгие годы упорного труда, соединение фундаментальной науки и высокотехнологичной практики, организация особого научно-практического отделения нейрореаниматологии. Конечно, восстанавливать любой мозг, ну например мой, не стоит. А если это мозг ребёнка? Будущего Леонардо! Гёте! Арины Родионовны! Пирогова! Линкольна! Эйнштейна! Ахматовой! Войтыны! Сахарова! Я убеждён: восстановить «умерший» мозг ребёнка и даже взрослого можно. И это будет. Вопреки утверждению чеховского героя в письме учёному соседу: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Я закончил свой доклад строками из поэмы Маяковского «Про это»: ...Воскреси! Сердце мне вложи! Кровищу – до последних жил. В череп мысль долбил! Я своё, земное, не дожил, на земле своё не долюбил.

Я убеждён, а теперь это доказано, что концепция о том, что нейроны не восстанавливаются, ошибочна. Нейроны восстанавливаются.

Перед новым 2014 годом я написал руководителю Минздрава профессору Сковрцовой. В письме я повторил окончание этого моего доклада.

Много раз я обращался с предложением, смысл которое сформулировал ещё в 1994 году в моей книжице «Автобиография в 5-ти пунктах». Смысл предложения – в нескольких абзацах (см. выше «Мания вторая») другой моей монографии «Итарология» (2007).

Накануне Рождества я прочитал Ваше интервью «МК» и надеюсь, что и Вы верите в то, что сегодня, даже если диагностирована «смерть мозга», он может быть восстановлен. Мои ученики готовы решить эту самую великую этическую и научную проблему современной медицины. Нужно только, чтобы Вы благословили и выделили какое-то помещение, которое оборудуют и будут содержать мои ученики, убеждённые в том, что «смерть мозга» – не конец борьбы за жизнь.

Я не знаю, сколько дней мне отпущено генами или Богом, но я готов в меру моих сил, способностей, знаний, опыта сделать всё возможное, чтобы участвовать в создании такого независимого самофинансируемого центра воссоздания мозга.

А в феврале был получен и ответ:

«Департамент научного проектирования (далее – Департамент) рассмотрев Ваше обращение от 10.01.2014 о создании центра (лаборатории) воссоздания мозга, благодарит Вас за активную гражданскую позицию и, в пределах своей компетенции, сообщает следующее.

Лаборатории представляют собой структурные подразделения научной организации. В соответствии с Федеральным законом от... «О науке и государственной научно-технической политике» «органы государственной власти... в пределах своих полномочий определяют соответствующие приоритетные направления развития науки и техники, обеспечивают формирование системы научных организаций...»

Однако Минздрав России создает лаборатории не по просьбе физических лиц, а в соответствии с нуждами здравоохранения и медицинской науки.

Проблемы, поднимаемые в Вашем письме, очень интересны. Однако, несмотря на Ваши опыт и знания в области нейроанестезиологии и реаниматологии, высказываемые вами предположения, являются спорными. Публикации, подвергающие сомнению необратимость состояния смерти мозга, в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют. По мнению специалистов ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А.Л. Поленова» Минздрава России, констатация смерти человека на основании диагноза смерти мозга научно обоснована.

Вот мой ответ на сию отписку:

Было время, когда наука утверждала, что мир покоится на трёх китах, что операции без боли невозможны (Теодор Бильрот), а совсем недавно – «кибернетика – лженаука», «Мичурин – ака, Мендель – кака». А земля всё-таки вертится. И в нашей стране создана современная анестезиология. Продуктами «лженауки» пользуетесь даже вы.

*Да, сегодня общепринят диагноз «смерть мозга». Но никто не доказал, что воссоздать мозг конкретного человека невозможно. Ещё в 2000 году я написал, что жизнь, даже при полной гибели головного мозга, с помощью современных методов искусственного замещения функций жизненно важных органов и систем, может продолжаться очень долго. И задача современной науки – воссоздание мозга, возвращение пострадавшего к жизни как *Homo sapiens*. Успехи науки позволяют не остановиться в борьбе за жизнь человека даже тогда, когда сегодня это кажется безнадежным. Это утверждение я повторил в 2007 году (монография «Итарология»), и в 2012 году на I-м Международном симпозиуме по нейрореаниматологии. И никто из более чем двухсот нейрореаниматологов не возразил этой надежде.*

Я, как физическое лицо, не просил Минздрав создавать лабораторию. Мои ученики готовы сами за свой счёт создать такую лабораторию. Весьма возможно, что Минздраву в нашей стране она не нужна. Но она нужна людям, теряющим своего единственного ребёнка, свою любимую женщину, своего любимого мужчину.

Когда-нибудь, когда в другой стране будет воссоздан умерший мозг, напишут: а вот в России это предсказали ещё в... (значительно раньше, чем в 2014 году). У Владимира Владимировича Маяковского есть такие строки: «Думаю, что надпись надолго сохраните: на таких мозгах она, как на граните».

Ну а Вам хочу напомнить то, что написал Теодор Бильрот: «Нравственный мировой строй не вне тебя. Он создаётся тобой. Сознай это, и ты будешь содействовать его созиданию».

Отвечать не нужно.

Сегодня, когда так называемый институт реаниматологии занимается не воссозданием мозга, а обоснованием критериев его смерти для прекращения реанимации – это типичный символ нашего лицемерия и двуличности. Всё перевернуто с ног на голову.

А уж как лицемерны были 4 года президентства Медведева! Всем было ясно, кто на самом деле правит страной. Но в кабинетах чиновников всех рангов висели портреты формального президента. Даже некоторые (немногие) мои интеллигентные знакомые надеялись на очередную оттепель. Я к ним не относился.

Мы живём под собою не чуя страны...

Осии Мандельштам

Алло, алло! Какие вести?
Как отдохнули в Новый год?
Надеюсь, шеф-премьер на месте?
И всем доволен мой народ?

Всё хорошо, наш президент народный,
Дела идут и жизнь легка;
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка:

Так, ерунда, пустое дело,
Валюта наша похудела,
А в остальном, наш президент народный,
Всё хорошо, всё хорошо!

Алло, алло! Я огорчён ужасно!
Как неприятен сей пример!
Буш виноват, сказали вы прекрасно,
И я согласен, шеф-премьер!

Всё хорошо, наш президент народный,
Всё хорошо, как никогда;
К чему скорбеть: для нашего народа –
Ведь это, право, ерунда!

С валютой что – пустое дело,
Хоть из России улетела,
Но на счетах в офшорных наших зонах
Всё хорошо, всё хорошо!

А кто посмел на Дальнем на Востоке
Покой нарушить наших душ?
Кто ссорит нас опять со всей Европой?
Мой шеф-премьер, конечно, Буш!

Всё хорошо, наш президент народный.
И хороши у нас дела,
Но вам судьба, как видно из каприза,
Ещё сюрприз преподнесла:

Не покупают нашу «Ладу»,
И безработных мильон душ,
И с несогласными нет сладу,
А виноват, конечно, Буш!

Алло, алло! Скажу Вам прямо
Ещё не всё так тяжело:
Вот Буш уйдёт, его сменит Обама,
И наше время не ушло:

Наш срок продлён, он будет вечным,
Никто нам снова не указ,
А кто в России нам посмел перечить,
Я подпишу такой Указ:

«Я заявляю, президент народный!
Наш рейтинг выше не поднять,
Кто недоволен, тех могу свободно
Я к Ходорковскому послать!»

А в остальном, наш президент народный,
Всё хорошо, всё хорошо.

Прошло 4 года президентства Медведева. Много изменилось в мире. Президентом США, действительно, стал почти социалист, один диктатор в

Северной Корее сменил другого, цветные революции в арабских странах возвести о грядущей исламизации человечества. Но в нашей стране всё вернулось на круги своя и всё ближе 2037-й год. А о президентстве, вероятно пожизненном, Путина точно сказал Артемий Троицкий: «в стране, где гангрена вместо власти, будут вечные сумерки».

Юзу Алейшковскому

Товарищ Путин! Президент народный!
Друг Лукашенко, Кастро и т.д.
Все голосуют, как тебе угодно,
Хоть мочат нас в Беслане и в Чечне.

Растет ВП, пускай хоть на бумаге,
Страна встаёт под михалковский гимн,
И рядом с Ходорковским кто-то сядет,
И этот «кто-то» будет не один.

Вам лижут зад послушные холопы,
Стремясь избрать на новый третий срок,
Чтоб вновь пугать Америку с Европой,
Бен Ладен с Ким Чен Иром вам помог.

Живите сотню лет, товарищ Путин,
Вас славит колокольный перезвон,
37-й сейчас уже по сути,
И на путях тюремный эшелон.

2005-2006 гг.

Стучат часики моего восемьдесят восьмого года. 88 для меня – число особое: четыре года моей юности я был радистом. Сочетание «88-С» по коду радистов означает «люблю, целую». «Вот и я молчание не в силах терпеть! И в холодную небесную просинь сердцем выстукиваю тебе: «Милая! Восемьдесят восемь...» Слышишь? Эту цифру я молнией шлю. Мчать ей через горы и реки... Восемьдесят восемь! Очень люблю. Восемьдесят восемь! Навеки». Это отстукивал радист Роберта Рождественского.

И я многое и многих любил и люблю до сих пор. Я очень, очень любил маму, я любил (был влюблён) многих женщин, даже тех, которых никогда не видел и не мог бы повидать: Наталью Николаевну Гончарову, Марину Ладынину и Одри Хепбёрн. Я любил своих учителей, сына и люблю своих учеников и друзей. Люблю дочку, внучек и правнуков. Я люблю мою несчастливую родину. Бог или природа дали нам Пушкина и Лермонтова, Маяковского и Блока, Ахматову и Цветаеву, Герцена и Чехова, Менделеева и Мечникова, Пирогова и Гааза,



А.А. Тарбов (слева) на атомной станции в Болгарии (2012)

Брюхоненко и Жорова, Рублёва и Шагала, Шостаковича и Рахманинова, Ивана Сусанина и Льва Маневича, Колмогорова и Курчатова, Зворыкина и Королёва, Пересвета и Ослябю. Но не дали ни Джорджа Вашингтона, ни Шарля де Голля, ни Давида Бен-Гуриона.

«Но и такой, моя Россия, ты всех краёв дороже мне!» И, надеюсь, что похоронен я буду в России.

Вероятно, я доживу до выхода этой книги. Мало надежды, что черносотенное отребье объявит награду за моё уничтожение или хотя бы за лишение меня званий и наград, как Андрея Макаревича (низкий ему поклон). А хотелось бы! Но уж слишком я непубличный человек, хотя какие-то сведения обо мне и мелькают в Интернете. Но одно я знаю о себе и о моих друзьях точно, и об этом я написал своему другу, с которым мы 1 сентября 1934 года сели за одну парту и потом дружили всю жизнь.

Я горд его дружбой. Он настоящий русский человек – добрый, интеллигентный, высокопрофессиональный, трудолюбивый и очень красивый. Старше меня Саша на два с половиной месяца. Но если я, хоть и работаю (только за письменным столом), то он ежедневно в рабочие дни в 07:00 выходит из дома, едет 10 остановок на троллейбусе, затем 13 остановок на метро, затем на маршрутке и ещё идёт пешком на свою работу, связанную с атомной энергетикой.

Саше (Александрю Алексеевичу) Тарбову

Уходит моё поколение,
Поколение детей войны,
Голода и терпенья,
Ненависти и любви.

Уходит из несвободной,
Вспять повернувшей страны,
И в выборе этом «народном»
Снова виновны мы.

Но честное имя – главное! –
Мы чрез года пронесли.
Мы не увенчаны славою,
Мы просто были людьми.

2012–2014 гг.

Post mortem

В самом начале этой книги уже содержится «Ответ ученику, сделавшему карьеру». И упоминается о том, что я уж не такой бескорыстный: какой-то запас на сиделку у меня есть. И квартира в центре Москвы, как говорила у Маяковского Розалия Павловна, «это вам не бык на палочке». Да и сотни статей, десяток монографий и учебников, несколько десятков учеников, среди которых есть и академики, и лауреаты – свидетели вроде бы не зря прожитой жизни.

Но когда я сравниваю похороны какой-либо «звезды» от искусства и моих коллег, становится грустно. В 2013 году почти одновременно умерли хороший актёр Таганки и уникальный хирург Михаил Израйлевич Перельман. Соболезнование семье актёра выразили тысячи людей, включая президента. О хирурге упомянули в новостях. Хоть упомянули. А вот о смерти одного из самых лучших хирургов в нашей истории – Бориса Алексеевича Королёва – и этого не было. А ведь эти врачи подарили вторую жизнь не одному, не десяти, не сотне, а тысячам людей!

Уже даже мои коллеги анестезиологи-реаниматологи не вспоминают о моём учителе профессоре И.С. Жорове. А ведь он сохранял и сохранил гуманистические традиции российской медицины, разрабатывая методы общей анестезии, за что был исключён из партии большевиков. Зато есть горельеф хирурга, который в те годы был главным хирургом страны, радовался, что 80% операций проводят под местной анестезией, и сокрушался, что кое-где ещё используют наркоз.

У меня есть хороший друг. Она когда-то была одной из первых моих учениц, когда я работал в педиатрии. Те, кто пролистал эту книгу, знают, чего только я не менял и чему только я не изменял. А вот Зинаида Ивановна, придя в 1958 году санитаркой в Русаковскую больницу, стала замечательным врачом. Она и сегодня – врач высшей категории – работает в этой же больнице, выхаживая в реанимации самых «безнадёжных» малышей. В 2008 году исполнилось 50 лет её работы в Русаковской больнице. Теперь это больница имени св. Владимира. Ни Русаков, ни св. Владимир к этой больнице не имели отношения. По праву этой больницы можно было бы присвоить имя Кружкова, создавшего в ней одно из первых отделений детской хирургии. В прошлом году А. Н. Коновалову, первому и абсолютно заслужено присвоили звание Героя Труда. Но убеждён, что такой награды не менее достойны такие, увы, немногочисленные, Зинаиды Ивановны. Они не делали карьеру. Они были настоящими врачами и настоящими людьми.

Что уж говорить обо мне. И всё же я сделал несколько добрых дел: усыновил двух детей и помогал им долгие годы, ушёл добровольцем на фронт и

написал несколько сказок для детей. Очень надеюсь, что хоть одна сказка меня переживёт. Вот ею и закончу эту свою, вероятно, последнюю книжку.

МЫШКА ЗАБОЛЕЛА

Моей внучке Шуручке

Заболела Мышка в норке.
Может быть, от чёрствой корки?
Или много сала съела?
В общем, Мышка заболела.
«У меня болит живот!
Даже сыр не лезет в рот!».

Мама Мышь: «Пойдём к врачу!».
Дочка Мышка: «Не хочу!
Я боюсь идти в больницу,
Буду дома я лечиться!
Лучше выпью я касторки
И микстуры самой горькой!
Вот соседка тётя Белка
Все болезни лечит грелкой».

Но от этой процедуры –
Грелки Белки и микстуры –
Всё сильнее живот болит...
«Скорая! Аппендицит?».
И от норки до больницы
Скорая, сигнала, мчится.

Привезли. Дежурный врач,
Старый добрый мудрый Грач,
Осмотрел внимательно,
Диагноз окончательный:
«От грелки – осложнение:
Брюшины воспаление!
Лекарства не годятся,
Спасёт лишь операция!».

Дочка Мышка: «Ой, боюсь!»,
Доктор говорит: «Не трусь!
Будет всё в порядке,
Ты уснёшь в кровати».

И приходит очень скоро
Ворон-анестезиолог.
Дал он куклу в лапки Мышке;
Эта кукла – белый мишка;
Через чёрный мишкин нос
Мышке начали наркоз.

Свет зажгли в стерильной зоне –
Лучшей операционной.
И бобры-хирурги ждут:
Скоро Мышку привезут.

Возят Мышку сонную
В операционную,
И пока больная спит
Вылечен аппендицит.

Проснулась Мышь в палатке,
Теперь она в порядке,
Будет поправляться
После операции.
Здоровая, весёлая
Пойдёт учиться в школу.

Прочитавши эту книжку,
Знайте мышки и детишки:
***Даже через «не хочу»
Заболеет – спешит к врачу!***
Минута промедления –
Возникнет осложнение!
И вред самолечения
Ясен, без сомнения.

Если, прочитав эту сказку, хоть одна мама сразу поведёт заболевшего ребёнка не к знахарю, не к экстрасенсу, а к профессиональному врачу, я свою миссию на земле исполнил.

Москва, 2014 г.

О создании медико-генетических консультаций при ЗАГСх как важнейшем принципе обеспечения здоровья будущих россиян

Господин Президент!

Маловероятно, что сие послание прочтёте лично Вы. Но м.б. его прочтёт кто-то из Ваших помощников менее «совковых» нежели академик, переписку с которым я описал в своей непрофессиональной книге (копии этих страниц прилагаю – см. стр. 220-222 в этой книге).

Как и Вы, был рад, что теперь можно дать жизнь даже очень недоношенным крохам. Горжусь, что в этом есть капля моего труда и труда моих учеников и сотрудников. Я из поколения врачей 50-60-х годов, которое создавало в нашей стране современную анестезиологию, реаниматологию и интенсивную терапию. Мне удалось создать и возглавить первый в мире научно-исследовательский отдел педиатрической анестезиологии-реаниматологии. И в 1970 г. в моей монографии «Педиатрическая анестезиология с элементами реанимации» уже были обоснованы и внедрены принципы и методы этой новой специальности. Они – принципиальная основа современных более совершенных методов интенсивной терапии тяжелобольных детей.

И всё же это не лучший путь педиатрии. Дети должны рождаться в срок, они должны быть здоровыми, у них не должно быть явных или скрытых пороков развития и наследственных заболеваний. Здоровье и болезни запрограммированы. Увы, я принадлежу к десятками поколений советских врачей, коих лишили знаний генетики. В меру моих возможностей я восполняю этот пробел. Убеждён, что только на этом пути можно решить проблемы и демографии, и здоровья будущих россиян.

А первое место в нашем здравоохранении должны занимать не высокие хирургические технологии (хирургия – необходимый, но тупиковый путь медицины), а высокие гигиенические и терапевтические технологии. Главное в них – выявление индивидуального генетического кода. А пока сделать первый шаг – создать бесплатные медико-генетические консультации при ЗАГСх. Там молодожёнам на основе генетического анализа будут рекомендованы оптимальные методы предупреждения заболеваний и у них, и у их потомков. А согласившимся на медико-генетическое обследование даже давать преференции (свадьба в праздничные дни!).

Моё поколение, в том числе и я, прожили долгую жизнь, сохранив Россию в самые трудные годы. Но будущее России возможно только, если в стране будут жить здоровые люди.

Feci, quod potui, faciant meliora potentes.

Прошло много лет со дня этого послания. Ну, а о состоянии этой проблемы в России можно судить по выдержкам из публикации в «Газете.ру»:

Генетическое тестирование позволяет выявлять неблагоприятные мутации в геноме и рожать здоровых детей. Это гораздо дешевле, чем лечить серьёзные наследственные заболевания. Генетическое тестирование — это мировой тренд. В медицинских и социальных аспектах развития этого направления в мире и в России разбиралась «Газета.Ру».

Лечение наследственных заболеваний дорого обходится здравоохранению, они, как правило, тяжёлые, угрожающие жизни или сильно её осложняющие. Если говорить об орфанных (редких) заболеваниях, то стоимость одного курса лечения, по словам директора ИСКЧ Артура Исаева, может достигать до \$1,5 млн.

Предупредить легче, чем лечить, и для этого служит генетическая диагностика. О том, как это происходит в США, «Газете.Ру» рассказал Олег Верлинский, руководитель Института репродуктивной генетики в Чикаго. Уже при первом визите девушки к гинекологу, когда она ещё не беременна и даже не планирует, врач рекомендует ей пройти генетический скрининг на выявление мутаций, которые могут привести к рождению больных детей. Очень часто это входит в страховку, хотя и не всегда. Но если врач «забудет» рекомендовать скрининг, а у пациентки впоследствии родится ребёнок с наследственным заболеванием, то этот врач будет нести ответственность — юридическую и материальную. Как объясняет Олег Верлинский, генетическое тестирование можно проводить на разных этапах, но чем дальше, тем труднее скорректировать выявленные нарушения. Идеально тестирование ещё до беременности. Тогда в случае выявленных мутаций можно гарантированно от них избавиться, если провести ПГД и ЭКО.

Состояние здравоохранения в России сегодня практически никого не устраивает. И первое, о чём говорят специалисты, это катастрофическое недофинансирование. При этом, замечает Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения, Россия далеко не бедная страна, она занимает седьмое место в мире по ВВП. А по уровню заболеваемости из 145 стран (анализ агентства Bloomberg) Россия занимает 97-ю позицию. Плюс сверхсмертность населения трудоспособного возраста, плюс неблагоприятная демографическая ситуация, с которой страна столкнется лет через десять (доля трудоспособного населения резко упадет).

При этом современное здравоохранение становится всё более и более затратным. В условиях недофинансирования невозможно рассчитывать, что лекарственное обеспечение будет доступно широкому населению. То есть очень маловероятно, что Россия сможет вылечить своих больных. Так может быть, попробовать снизить число больных в будущем? И не за счёт аборт, а за счёт преимплантационной диагностики.

Что же до генетической диагностики, то она, как отметил главный специалист-генетик Минздрава России Пётр Новиков, в 70% случаев про-

водится ретроспективно, то есть семья приходит на диагностику, когда уже есть больной ребёнок. А надо наоборот. В России в массовом порядке делают пренатальный скрининг на 5 нозологий. Но этого недостаточно.

О технологиях, которые используются в медико-генетических центрах Genetico, «Газете.Ру» рассказал Артур Исаев, директор ИСКЧ, который российские специалисты создали в сотрудничестве со специалистами из Чикаго. Здесь выполняются преимплантационная диагностика, диагностика моногенных и хромосомных заболеваний, PGD-консультирование, пренатальная диагностика, HLA-типирование, а также генетический скрининг с помощью микрочипа «Этноген», который специалисты ИСКЧ разработали специально для выявления мутаций в российской популяции. По данным пресс-службы ИСКЧ, в настоящее время услугами Genetico воспользовались более 700 клиентов. «Знание своих генетических особенностей уже сегодня помогает людям не только управлять собственным здоровьем, но также управлять рисками и достигать зачатия здоровых детей без тяжёлых наследственных заболеваний, – говорит Артур Исаев. – Это та практика, которая есть сегодня и в России».

Увы, всего 700! (AM)

Из книг А. З. МАНЕВИЧА

Основы наркоза (с В.А. Михельсоном), «Медицина», 1964, 1968, 1976 гг.

Фторотановый (флюотановый) наркоз (с Р.А. Альтшулером), «Медицина», 1966 г.

Педиатрическая анестезиология, «Медицина», 1970 г.

Основы интенсивной терапии и реанимации в педиатрии (с В.А. Михельсоном), «Медицина», 1976 г.

Нейроанестезиология (с В.И. Салалыкиным), издательство «Медицина», 1976 г.

Анестезиология и реаниматология (с А.А. Бунятыном и Г.А. Рябовым), «Медицина», 1977, 1984 гг.

Основы реаниматологии и анестезиологии (с В.А. Михельсоном), «Медицина», 1992 г.

Автобиография в 5 пунктах, «Момент», 1994 г.

Интенсивная терапия, реаниматология, анестезиология (с А.Д. Плохим), «Триада-Х», М., 2000 г.

Явка с повинной, «Боргес», М., 2004 г.

Итарология (интенсивная терапия, анестезиология, реаниматология), «Медиздат», М., 2007 г.

Мышка заболела, «Растр НН», Нижний Новгород, 2007 г.

Сказки про мышек и про детишек, «Медиздат», 2008, 2010, 2011, 2013 гг.

Лабораторная диагностика для всех (с А.Ю. Островским, М.А. Островской), «Медиздат», 2012 г.

УДК 616-036.882-08
ББК 53.77
М23

Маневич Алексей Зиновьевич

ЯВКА С ПОВИННОЙ, или 88-С

Издание 2-е, исправленное и дополненное

Подписано в печать 22.05.2014. Заказ № 0522
Тираж 1000 экз.

Отпечатано ООО «АКСИОМ ГРАФИКС ЮНИОН»
Москва, 2014

ISBN 978-5-600-00404-7



9 785600 004047



Об авторе

Маневич Алексей Зиновьевич. Зачат в 1926 г. в Москве, а родился в том же году на Украине. Москвич с того же года. Матрос на Балтике и Тихом в войну. Заочный учитель русского языка и литературы, очный врач: хирург, итаролог (анестезиолог, нейро-анестезиолог, нейрореаниматолог), невролог.

Доктор наук с 1964 г. и даже профессор с 1967 г. Засорил медицину сотней с лишним маловысоконаучных работ, десятком монографий, учебников и более чем 30 диссертациями учеников.

Любимые поэты: Маяковский, Пушкин, Блок, Ахматова, Цветаева, Лермонтов, Гейне. Любимые писатели: Рабле, Свифт, Гоголь, Мопассан, Селинджер. Любимые композиторы: Шостакович, Брамс, Моцарт, Рахманинов. Любимые художники: Леонардо, Эль Греко, русский авангард начала XX века.